Цена свободная

23/1-94

ЖУРНАЛ "НАШ СОВРЕМЕННИК"

до конца 1992 года предполагает опубликовать следующие произведения:

Василий БЕЛОВ
Год великого перелома.
Третья, заключительная часть романа-хроники.

Олег ВОЛКОВ
Воспоминания.

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ
Куст шиповника. Повесть.

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)
Побежденные. Роман. Книга 3-я.

Александр ДУГИН
Серия статей из цикла **"Национальная альтернатива".**

Николай ИВАНОВ
Черные береты. Повесть.

Владимир КРУПИН
Как только, так сразу. Повесть.

Станислав КУНЯЕВ
Сергей Есенин.
Из серии "Жизнь замечательных людей".

Юрий ЛОЩИЦ
"UNION". Роман.

Николай ПОПКОВ
Чужая песня. Повесть.
(Предисловие Валентина Распутина).

Из архивов ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ:

Дело Сибирской бригады 1932 года
(Сергея Маркова, Леонида Мартынова, Павла Васильева, др.);

Дело Есенина – Кусикова 1920 года;

Дело Павла Васильева 1937 года;

Дело Юрия Есенина 1937 года;

Статьи Геннадия АВРЕХА, Владимира БОНДАРЕНКО, Юрия БОРОДАЯ, Петра ГОНЧАРОВА, Александра КАЗИНЦЕВА, Сергея КУРГИНЯНА, Михаила ЛОБАНОВА, А. В. МИХАЙЛОВА, Ксении МЯЛО, Михаила НАЗАРОВА, Николая СКАТОВА, Шамиля СУЛТАНОВА, Игоря ШАФАРЕВИЧА, других авторов.

НАШ СОВРЕМЕННИК №6 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№6 1992

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал "Наш современник" переживает труднейшие времена. Каждый номер выходит с неимоверными сложностями. Причины тому – непомерно высокие цены на бумагу, полиграфические работы и услуги связи. Однако и допустить, чтобы один из старейших литературно-художественных журналов России прекратил свое существование, невозможно. Но выстоять, выпустить все двенадцать номеров редакция может только с вашей помощью, дорогие читатели!

Обращаемся ко всем нашим подписчикам, к предпринимателям, богатым промышленникам, отечественным банкам, ко всем, кому дорог журнал "Наш современник", оказать нам всемерную поддержку. Кто имеет возможность и желание пожертвовать на издание, может перечислить деньги на следующий счет: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул., коммерческий банк "Пресня Банк", р/с № 2609704, МФО 201144, МП "Русло" – для нужд журнала "Наш современник". Телефоны для справок: 200-24-24, 928-32-16.

Редакция благодарит М. С. ВЫРОДОВУ из Кривого Рога, киевлянина А. И. РАДЗИЕВСКОГО, В. В. БЕЛОГО из Бугульмы, других читателей, оказавших журналу материальную поддержку.

Мы признательны нашим соотечественникам, проживающим в США, М. Г. СТОРЧИЛЛО, К. Д. АРЦИБАШЕВУ, Л. Н. УСАНОВОЙ, Е. А. КАЛИНИНУ, Е. В. ЗЕЛЕНСКОМУ, Глебу и Веронике ЛУКАШЕВИЧАМ, В. И. БАБИЧУ, Н. Е. КРЮКОВУ, Владимиру и Елене КАРБЕ, Г. ДЖОНСТОН, И. БЕЛОМУ, Л. В. ЖАДАНУ, Н. В. ВАЩЕНКО, В. В. КАРПОВИЧ, Е. Т. ФЕДУНОВИЧ, А. ЕРАШЕВОЙ, внесшим свой вклад в поддержку журнала.

Редакция журнала "Наш современник"

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№6 1992

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24, (главный редактор), 200-24-84, 200-24-83, (заместитель главного редактора), 928-32-10, (ответственный секретарь), 200-23-05, 200-23-88 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-24 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-78 (отдел писем), корректорская 921-43-50, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 11.03.92 г. Подписано к печати 18.05.92 г.
Формат 70х108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,8. Усл. кр-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,35 Тираж 177 749 экз. Заказ 644.

ИПО писателей. 103750, Москва, Цветной бульвар, 30
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

НИНА КАРТАШЕВА



ПУСТЬ РУССКИЕ ЛЮБЯТ ДРУГ ДРУГА

Домашнее

Среди скучных мирских попечений
Что-то в память из детства
вернулось,
Как бы отблеск былых
впечатлений —
Я бежала, да вдруг оглянулась.

Дом! Привычно так все и знакомо.
Мой на коврике зайчик вышит...
Мой кувшинчик лазоревый...
Дома!
Позову — и меня услышат.

Папа книжки мне вслух читает,
Мама бант мне в косе завяжет.
Ну, а бабка души не чает!
На всю жизнь мне совет подскажет.

Все любимое, все старинное.
Старший брат задачки решает.
И гравюра, как сеть паутинная,
На стене никому не мешает.

Все домашнее, все пахучее —
Апельсинами, пирогами...
Все родное, все самое лучшее,
Нежно названное словами.

Я бы их без конца писала,
Словно гладила б кошку
по спинке...
Хорошо, что от жизни отстала,
Хорошо, что живу по старинке.

✦✦✦

* * *

Ни вечера, ни ночи — все печаль.
Ни описать, ни вспомнить,
ни молиться
Во тьму, в забвенье зыбко
провалиться
И падать, падать в глубину и даль.

КАРТАШЕВА Нина Васильевна, родилась в Верхотурье Екатеринбургской области. Работает преподавателем музыкальной грамоты и сольфеджио. Печаталась в журналах и газетах. В Австралии вышла ее первая и пока единственная книга стихотворений. Живет в подмосковном поселке Менделеево.

Твою жестокость с волей не сравню,
Себя с тобой душою не сравняю,
Во тьму печаль тяжелую роняю
И ничего тебе не сохраню:

Ни вечера, ни ночи, ни печали,
Ни памяти, ни сердца, ни пути.
Вот! Слог пришел, который был
вначале.
Он до тебя, он до меня. Прости.

* * *

Приподнятый славянский нос
И детский рот неискушенный,
И легкость русая волос,
И лоб, от мира отрешенный.

Но шеи гордость и изгиб,
Плечей покатая картинность —
Не девственный, а женский тип,
Но все-таки и в нем невинность.

И взгляд души не подведен
Тенями красок и страстями,
Он чистотою огражден,
Как будто осенен крестами.

* * *

В смертный час твой я буду рядом.
И с того или с этого света
Поспешу догорающим садом
Через это последнее лето.

Я приду тебя в путь приготовить
И обмыть твою душу слезами.
Мы не будем судьбе прекословить,
В смертный час мы поможем ей
сами.

Слышишь? Кто ты там, мой
одинокий,
Кто читает, не веря слову?
Я тебе написала строки!
Прочитай их, пожалуйста, снова.

Ты не бойся, мой друг неизвестный.
Есть земной путь. Но есть
и небесный.

+++

* * *

Доброе утро, дети!
Прибрали себя, умылись.
О всех, кого любим на свете,
Господу помолились.
В вас нет сомнений, расчета,
Вы еще ангелы, дети.
Бог слышит ваши заботы —
Слова повторите эти:
Боже, спаси Россию!
Боже, спаси Россию!
Молитвами мира нетленного,
Царевича Алексия,
Отрока убиенного!
Боже Великий и Сильный,
В путях Твоих правда ходит:
Пусть власти стоят за Россию
И думают о народе.
Пусть русские любят друг друга,
В беде не бросают брата,
Пошли нам Святого Духа,
Да будет Россия свята!
Да будет Россия свята!

+++

* * *

Ну что же мне сказать тебе?
Ну что же?
С моей главы падет к ногам мой
шлем.
В одной из опрокинутых систем.
уничтожен
Мой подвиг страшным веком
Мой шлем падет. Но ведь
не с головою!
Мой образ станет тоньше и ясней,
И я твои сомненья успокою
Молитвою у Спасовых яслей.

Проходит всё: и времена, и время
Среди рождений вечно Рождество
И с нами Бог — с тобой, со мной,
со всеми.
Где плач стоял — там встало
торжество.

Мой шлем и меч, и кованые латы
Здесь не нужны. Здесь только мы
да Бог.
Ну что сказать, чтобы вместить
ты мог?
Молчание... Господь не взыщет
платы.

* * *

Березы светло-золотой
В вечернем свете трепетанье.
И прочь летит октябрь листвой —
Минувших дней очарованье.

Венчальной свечкою в руке
Дрожит звезда от слез невесты,
Еще сомненья вдалеке
И потрясенья неизвестны.

Слетело золото с берез
На лебединые озера.
Через озера перенес
Жених невесту из собора.

За двадцать лет такой тоски,
Покорной скуки листопада —
Верна до гробовой доски
Верна. А большего не надо.

* * *

Прошла гроза. Душистый вечер
светел.
Столбом в луче толчется мошкара,
Деревья ловят в лиственные сети
Веселых птиц на гнезда до утра.

Похоже небо на ржаное поле,
Последний сноп лучами солнце
жнет.
Теплом и влагой грозовой напоен,
Спокойный луг туманов сонных
ждет.

Спешу и я в домашние покои,
Чтоб обрести неведомый покой,
Родное и привычное укроет
Меня за этой призрачной стеной

Последний взгляд мне дарит
светлый вечер
И неприметно гаснет за окном.
Я в бабушкину шаль укрою плечи
И встану на молитву перед сном.

+++

* * *

Вышиваю, вышиваю,
Словно бабушка сижу.
Мужу думать не мешаю,
На цветной узор гляжу.

За окном пурга скандалит,
Тащит за косы сосну,
Елки-палки наземь валит
И шумит на всю страну.

Хорошо, что лампа в доме,
Электрический камин,
И стихи в моем альбоме,
И спокойствие картин.

Хорошо, что муж хороший,
Думу думает, молчит.
Только ветер заполошный
Головой в окно стучит.



ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

Глава двадцать третья

Хрычко уже больше чем полгода пребывал в заключении. Жена его несколько раз плакала в кухне, уверяя, что муж невиновен, что его спровоцировали на выпивку и драку с милиционером товарищи, а вот в ответе остался он один, и семье нечем жить. Мадам, взволнованная этими жалобами, прожужжавшими ей в кухне все уши, упросила Наталью Павловну предоставить Клавдии возможность заработать у них в качестве уборщицы. Наталья Павловна с некоторым неудовольствием все-таки согласилась. Она даже рекомендовала Клавдию для домашних услуг мадам Краснокутской; рекомендация эта сопровождалась, однако, секретным дополнением: за честность женщины не ручаемся, советуем не оставлять ее в комнатах одну.

Появился Хрычко в квартире неожиданно: он вошел в кухню, когда там не было никого, кроме Олега, откомандированного Асей присмотреть за кипятившимся молоком. Хрычко вошел и угрюмо опустился на табурет. Он не поздоровался с Олегом, и тот воздержался от приветствий.

Стуча когтями, вбежала Лада и тотчас завертелась у ног соседа, через минуту ее передние лапы уже легли к нему на грудь. Олег хотел было одернуть собаку, зная, что Хрычко несколько раз прохаживался по поводу нашкаанья интеллигентов с животными, но, к немалому своему удивлению, увидел руку рабочего на голове собаки.

— Лада, хорошая собака, Ладушка умница! — пробурчал ласковый басок.

В кухню вбежала Ася.

— Павел Панкратьевич? Вернулись! А Клавдия Васильевна сейчас при поденной работе, и Павлик с ней. Дверь на ключе, но это ничего — я вам, если хотите, разогрею макароны и чаю заварю крепкого.

Олег повернулся и быстро вышел.

— Ты что? Ты уже рассердился? — виновато спросила она через несколько минут, вернувшись в комнату.

— Пересаливаешь опять, — коротко, но выразительно отчеканил он.

Продолжение. Начало в №№ 1—5 за 1992 год.

— Олег, ведь ты в тюрьме был. И все-таки не ты, а собака первая...

— Постой, — перебил он, — неужели же я, по-твоему, должен был лезть к нему с соболезнованиями? Уволь! Не способен.

— Не обязательно слова. Ну, предложил бы чаю или хоть пожал руку.

В этот вечер Надежда Спиридоновна праздновала свои именины. Молодым Дашковым предстояло идти с визитом. Наталья Павловна ограничилась письмом и вместо именинного вечера собиралась ко всенощной в храм Преображения, где у нее было свое давнее местечко, тщательно оберегаемое от посторонних — мадам Краснокутской, мадам Коковцевой и прочих аристократических приятельниц, составивших в приходе нечто вроде маленькой касты и завладевших одной из скамеек.

Ася в этот вечер была не в духе.

— Не хочется идти. Там всегда скука. Заставят меня играть, а сами будут разговаривать под музыку. Я Надежду Спиридоновну не люблю. Я лучше пойду с бабушкой в церковь. Мне так теперь редко удается туда вырваться. По воскресеньям все словно нарочно подкидывают мне разные дела... — ворчала она.

— Нет уж, пойдем. Мне без тебя появляться вдвоем с твоим мужем неудобно, а я по некоторым соображениям непременно хочу быть, — вмешалась Леля, вертевшаяся перед зеркалом с тайным намерением попудрить носик, как только выйдут старшие. — Собирайся, а я в воскресенье покараулю за тебя Славчика, если это уж такое счастье — попасть к обедне.

— А ты зачем говоришь с насмешкой? — применилась Ася.

— Аська, одевайся, ведь мы тебя ждем, — торопила Леля.

Лицо Аси снова омрачилось.

— Надеть мне нечего! Белое платье уже вышло из моды, оно слишком короткое. Я в нем буду смешна! А блузки опротивели!

Тем не менее английская блузка с черной бархаткой вместо галстучка все-таки была надета, а волосы вместо кос собраны в греческий узел, и все дальнейшие возражения отложены в сторону после того, как Леля прошептала на ухо какие-то свои соображения. Олег, занятый бритьем, нимало не любопытствовал, что́ это были за соображения, тем не менее расслышал имя Вячеслава. Очевидно, восхищенный взгляд влюбленного мужчины обостряет жизнерадостность, даже если этот мужчина забракован, и особенно в случае, если другие поклонники на данном этапе отсутствуют.

Небольшое общество собралось под оранжевым абажуром: вокруг старинного круглого стола с львиными лапами на шарах. Прежний, давно знакомый Надежде Спиридоновне круг. Чаепитие ничем особенным не ознаменовалось, электрический чайник вел себя вполне корректно (не в пример своему собрату из соседней комнаты). Ася играла, и ее действительно не слушал никто, кроме Олега, которого Шопен в исполнении Аси гипнотизировал настолько, что он пропускал мимо ушей обращаемые к нему фразы и рассыпался в извинениях после того, как его призывали к порядку.

Когда гости уже расходились и прощались в кухне у двери — парадный ход оставался заколоченным с восемнадцатого года, — одна из приятельниц Надежды Спиридоновны начала объяснять, как проехать к ней на новую квартиру. Она вынуждена была устроить обмен жилплощади — вселённое к ней по ордеру пролетарское семейство не давало покоя.

— Из собственной квартиры пришлось бежать! Уж до того доходило, дорогая Nadine, что уборную кота устроили нарочно у самой моей двери, а на мои кресла, выставленные в коридор, бросали обрезки колбасы и хвостики селедки... Душа болела! — говорила она, закутывая теплой шалью свою бедную седую голову. — Приезжайте на новоселье,

дорогая. Комнатка у меня теперь самая маленькая, но милая. Пересесть на шестнадцатый номер трамвая вам придется около Охтинского моста. Знаете вы Охтинский мост?

— Тот — с безобразными высокими перилами? Знаю, конечно. Ужасная безвкусица! Петербург бы ничего не потерял, если бы этого моста не было, — сказала Надежда Спиридоновна.

Другая гостья, уже седая профессорша, надевая себе ботики у мусорного ведра, воскликнула:

— Ну что ж мой «гнилой интеллигент» опять замешкался? — И прибавила, обращаясь к Асе: — Подите скажите ему, моя милочка, что я уже одета и жду.

Все знали, что «гнилым интеллигентом» мадам Лопухина называет своего мужа, профессора. Этот последний как раз показался в дверях рядом с Лелей.

— Еще немножко терпения, маленькая фея! Как только наши милые коммунисты взлетят наконец на воздух, я свезу вас кататься на автомобиле, а после, с разрешения Зинаиды Глебовны, угощу в ресторане осетринкой и кофе с вашими любимыми взбитыми сливками.

— Профессор, как видите, не теряет даром времени, — сказал с улыбкой Олег, подавая пальто профессорше.

— Вижу, вижу! — добродушно засмеялась та. — Бери-ка лучше свою трость, мой милый, и выходим: автомобиль нас пока что не ожидает.

Еще одна гостья, вдруг спохватившись, стала рассказывать о том, как не побоялась оказать приют Владыке и как он всю ночь простоял в молитве. Надежда Спиридоновна и тут не воздержалась от нравоучения:

— Очень напрасно вы это делаете. Что знают соседи, то знает гепеу. Старая латинская поговорка.

Олег уже держал Асю под руку, Леля стояла возле них и, дожидаясь конца их разговора, оглянулась на дверь, которая — она это знала — вела в комнату Вячеслава.

«Досадно, если он так и не выйдет и не увидит меня в новой шляпке!» — думала она. Но дверь оставалась закрыта, зато в соседней с ней видна была щелка, которая становилась все шире и шире, и наконец оттуда вынырнула завитая и кругленькая, как булочка, девица, которая подошла к своему примусу и стала разжигать его, хотя был уже первый час ночи. От нее за версту разило дешевыми духами. Ткнув пальцем на дверь Вячеслава, девица фамильярно заговорила:

— Загрустил парень! Последнее время не повезло ему! Сначала одна хорошенькая девчонка натянула ему нос, а теперь, видите ли, идет чистка партии, предстоит отчитываться да перетряхивать свои делишки перед партийным собранием. Хоть кому взгрустнется!

Леля смутилась было, но сочла своим долгом заступиться:

— Вячеславу это не страшно: он фронтовик и коммунист, вряд ли найдется что-нибудь, что можно было бы поставить ему в строку.

— Прицепиться всегда можно! — возразила с уверенностью девица. — Разве у нас людей ценят? Мало, что ли, пересажали бывших фронтовиков? Кого в уклонисты, кого в троцкисты, а кому так моральное разложение припишут. По себе небось знаете, какие кровососы. Я сильно возмутимшись была, как узнала про расправу с вами.

Леля вздохнула:

— Да, со мной поступили несправедливо.

— А с кем они справедливо? — спросила девица.

Олег вдруг обернулся и окинул говорившую недоброжелательным взглядом.

— Ася, Елена Львовна, идемте! Что за разговоры у двери! — решительно сказал он.

Леля кивнула девице и пошла к выходу.

— Зачем вы разговариваете с этой особой? Отвратительная личность, которая не заслуживает никакого доверия! — сказал Олег, едва лишь они вышли на лестницу.

Почтовый ящик у входной двери стал в последнее время для Лели предметом, возбуждающим самые неприятные ощущения: она обливалась холодным потом всякий раз, когда в нем белело что-то, и спешила удостовериться, что письмо адресовано не ей. Боясь, чтобы приглашение на Шпалерную не попало в руки Зинаиды Глебовны, она бегала к ящику по нескольку раз в день.

С тех пор как в январе она согласилась на сотрудничество, ее вызывали только два раза: первый раз беседа носила самый миролюбивый характер, следователь встретил ее как добрый знакомый, улыбнулся, сказал несколько комплиментов, спросил о здоровье, спросил, как нравится ей новая служба, и только мимоходом полюбопытствовал, не имеет ли она что-нибудь сообщить. Она с виноватым видом пролепетала «пока ничего» и ушла, несколько успокоенная. Во второй визит в ответ на новое «пока ничего» следователь уже несколько строго сказал, что она обязана прилагать некоторые усилия к тому, чтобы раздобыть сведения.

— Это не может быть слишком трудным в вашем кругу. Попробуйте сами заводить соответствующие разговоры, подкиньте тему, и дело пойдет.

И вот ее вызвали в третий раз. Следователь мимоходом осведомился о здоровье и тотчас перешел к делу.

— Как, опять ничего?!

— Ничего... Мне как-то не везет... Про меня уже знают, что я советская... знают, что работаю в тюремной больнице, вот и не доверяют... Никто ничего не говорит... Остерегаются...

— Так ли, товарищ Гвоздика?

Она чувствовала, что начинает дрожать. «Господи, Господи! Вот оно, начинается!»

— Вы были где-нибудь за это время?

— Да... нет... дайте вспомнить...

— У Нины Александровны, в день именин ее тетки, вы были?

— Была... — пробормотала Леля, пораженная его осведомленностью.

— Скажите, а там, на именинах, в течение всего вечера вы тоже не слышали никаких предосудительных разговоров — порицаний правительства, анекдотов, насмешек над Советской властью?

— Ничего.

— Вы совершенно в этом уверены?

— Совершенно уверена. Ни одного слова. В нашем кругу такие разговоры не приняты.

— Так-таки ничего?

— Ничего.

— Позвольте вам не поверить! Я уже имею некоторые сведения от людей, которые исполняют свои обязательства честнее, чем вы. Мне, например, известен во всех подробностях ваш разговор с гражданкой Бычковой. Она очень резко отзывалась о происходящей повсеместно партийной чистке, а также возмущалась тем, как обошлись с вами год назад. Вы согласились с ней! «Со мной поступили несправедливо» — вот ваши подлинные слова. Казаринов прервал ваш разговор. Разве не правда?

Леля, растерянная и сбитая с толку, испуганно смотрела на своего мучителя.

— Что вы на это скажете, товарищ Гвоздика? — нажимал следователь.

— Такой разговор в самом деле был, я о нем забыла, потому что он шел не за именинным столом, а в кухне, при выходе. Я эту Бычкову совсем не знаю и очень удивилась, когда она со мной заговорила, да еще на такую тему...

— А отчего же вы не захотели мне сообщить? Ведь я наводил вас! Если вы покрываете незнакомых, мне уже ясно, что тем более вы умолчите о своих.

— Я совсем не собиралась покрывать, этот разговор у меня просто из памяти вылетел. Но я не отрицаю: он был, в самом деле был, только говорила одна Бычкова.

— После того как я вас уличил, дешево стоят ваши показания, Елена Львовна! Собственно говоря, этого умалчивания уже довольно, чтобы применить к вам статью пятьдесят восьмую, параграф двенадцать. И следовало бы это сделать. Как я могу теперь вам верить, скажите на милость? Вот вы только что заявили мне, что фамилия вашей кузины Казаринова, а не Дашкова. Могу ли я быть уверен, что вы ее не покрываете? А ну, довольно комедий! Извольте-ка говорить правду, или засажу! Отвечайте!

— Что отвечать? — прошептала Леля.

— Кто этот Казаринов, супруг вашей кузины? Гвардеец он? Как его подлинная фамилия? Или тоже из памяти вылетела?

— Я всегда слышала только Казаринов, никакой другой фамилии я не знаю, — отвечала она.

— Не лгите! Я очень хорошо вижу, что вы лжете. Я долго вам мирволил — хватит. Выкладывайте мне фамилию, или я сейчас арестую вас. Домой не вернетесь.

Леля молчала. Она вдруг увидела в своем воображении Славчика, его румяные, как грудка снегиря, щеки...

— Ну? Говорите! Я жду. Фамилия?

— Я другой фамилии не знаю.

— Врете, знаете.

— Нет, не знаю. Я знакома с ним всего три года. Если он что-нибудь о себе скрывает — откуда мне знать? В поверенные такой человек молодую девушку не выберет, сами понимаете.

— Так. А Дашкова, Нина Александровна, никогда не говорила вам о нем ничего?

— Ничего.

— Родственник он ее?

— Сколько мне известно, нет.

— С каких пор они знакомы? Что их связывает?

— Не знаю. Он, кажется, был у белых вместе с ее мужем, ординарец или денщик... Он не аристократ. Дашков не такой был бы — по-французски говорит плохо, кланяется и того хуже... Мне подметить не трудно.

— И вы ни разу ни от кого не слышали никакой другой фамилии?

— Ни разу.

Следователь встал и начал ходить по комнате.

— Ну, смотрите, Нелидова! Я этого Казаринова выведу на чистую воду, и если подтвердится, что он Дашков, вы мне за это ответите. Предупреждаю. А теперь благоволите объяснить вот что: мне сообщено, что тридцатого сентября хозяйка квартиры, ну, именинница, Надежда Спиридоновна, делала намеки, упоминала, что намерена взорвать Охтинский мост. Можете ли вы подтвердить такое обвинение? Слышали ли это?

— Мост? Надежда Спиридоновна? Что за чепуха! Кто это мог наплести? Ведь ей за семьдесят! Как взорвать? Чем? Примусом?

— Вам все шутки, Нелидова. Может быть, старуха и не запаслась взрывчаткой, почти наверное — нет, но такие слова, как «лучше бы этого моста не было», уже кое-что доказывают. Наш комиссариат полагает, что в таких случаях удалить вовремя человека благоразумней,

чем расстреливать виновного после того, как он выполнит свое злое дело, которое повлечет за собой к тому же не одну человеческую жертву. Мне важно установить сейчас одно: слышали ли вы слова «лучше бы этого моста не было». Они были произнесены при вас. Это уже установлено. Кем? Служебная этика запрещает называть имена, ведь вы же не захотели бы, чтобы я называл ваше! Итак, готовы вы подтвердить, и притом письменно, что слышали эти слова? Если нет, вы меня окончательно убедите в пособничестве классовым врагам. Итак?..

Все уже установлено, и если бы она продолжала отрицать, то ничего бы не изменила этим, только себя погубила бы. Для Олега и Аси так вышло тоже лучше: следователь убедился, что она не все огульно отрицает, и ее отрицания через это приобретают вес. Так думала Леля, стараясь усыпить свою совесть.

Она уговорилась с Олегом, и они встретились около Летнего сада. Леля передала весь разговор со следователем, умолчав только о том, что подтвердила обвинение против Надежды Спиридоновны.

— Вы должны быть сугубо осторожны теперь, Леля. Немедленно прекращайте разговоры, когда их заводят чужие, — и спросил: — А каков собой этот следователь?

— Невысокий, белобрысый, а глаза злые-злые, пристальные.

— Он извивается и ерзает на месте, прежде чем задать вопрос? — опять спросил Олег.

— Да, он иногда раскачивается, как змея на хвосте. Но самое ужасное — его глаза: у него необычайно расширяются зрачки. В этом что-то хищное и страшное! Как вышло, что мы попали к одному и тому же?

— Это не случайно, Леля, это хитрый прием, которым он готовит большую западню. Не говорите пока ничего Асе, пусть будет счастлива еще хоть месяц или два.

— Олег Андреевич, а я? Что же будет со мной? Я ведь еще совсем не успела быть счастливой! — Надтреснутый звук ее голоса и наивность вопроса укололи сердце Олега. — Вы говорите: месяц или два — это звучит как «мэне, тэкел, фарес» в Библии! Почему вы отмерили срок? Не сомневайтесь во мне.

Он взял ее маленькую руку и, отогнув перчатку, поцеловал сгиб кисти, отступив от этикета.

— Спасибо за меня и за Асю, но если даже у вас хватит мужества и хитрости втирать следствию очки еще в течение некоторого времени, это не значит, что они не найдут иного способа накрыть меня или попросту приклеить мне новое обвинение, чтобы упрятать в надежное место. Дай только Бог, чтобы это коснулось одного меня.

Они разговаривали, прогуливаясь вдоль решетки Летнего сада, и, когда простились, Леля медленно пошла вдоль Лебяжьей канавки. В последнее время было много тяжелых впечатлений. Несколько дней назад скончалась Татьяна Ивановна Фроловская. Слабая надежда, что Валентин Платонович сумеет хоть на пару дней вырваться на похороны матери, не осуществилась: он не приехал и только обменялся телеграммами со своим другом Шурой, который взял на себя все хлопоты по погребению.

Пожалуй, даже лучше, что Валентин Платонович не приехал: от него ей ждать нечего! В отставке уже двое, но что толку, если дни идут за днями, а счастья нет? Погруженная в эти печальные мысли, она неожиданно увидела себя на Гангутской перед домом Фроловских, куда ее машинально вынесли ноги. Охваченная внезапно чувством необъяснимой вины перед одинокой женщиной, которая с такой нежностью обнимала ее, она остановилась перед подъездом.

Сейчас там хозяйничают эти подлые девчонки: фотографии, конечно, выброшены в мусор, а за дорогие вещи идут ссоры и брань. Едва

она это подумала, как увидела на скамеечке у подъезда старую Агашу — опять в той же кацавейке и сером платке. На сей раз старушка не бросилась к ней, а только закивала с полными слез глазами. Леля приблизилась сама.

— Здравствуйте, Агаша! Ну как, оставил жэк за вами комнату Татьяны Ивановны? — спросила она.

— Комнату отписали за девочками, а мне никакой комнаты не нужно, барышня. Я в Караганду собираюсь. Работу я потеряла и внучкам моим теперь в тягость, а Валентин Платонович письмо прислал. Пишет: «Няня Агаша, я совсем одинок теперь». Может, я и пригожусь ему малость. Здесь-то мне делать уже нечего, дурочкой я стала: сижу этак да плачу, все барыню мою вспоминаю да сынишек ейных — кадетики маленькие с пуговичками начищенными, с погончиками и в башлычках, — вот они передо мной, ровно как живые. Я особенно Андрюшу любила, который молодым офицером от тифа помер...

Леля молча стояла перед старухой, не зная, что говорить... Поехать, что ли, и ей? Написать ему: «Я знаю, что ты любил меня. Я не боюсь бедствий. Бери меня». Этой добровольной ссылкой она прекратит домогательства следователя, а человек, к которому она поедет, любит ее, и, конечно, только из гордости и великодушия он не объяснился с ней, уезжая. Он оценит эту жертву, он ее стоит. Поехать?

«Нет, не могу! Караганда! Кибитка! Нет, не могу — не выдержу!»

Сырая мгла окутывала улицы; зажгли фонари, и свет их тускло желтел сквозь изморось. Вокруг бесконечно сновали прохожие, и каждый казался придавленным своим неразделенным горем...

«Ночь как ночь, и улица пустынна... Так всегда! Для кого же ты была невинна и горда?»

«Для кого?»

Глава двадцать четвертая

Надежда Спиридоновна получила приглашение «в три буквы» (как выражались обычно Олег и Нина), а вернулась оттуда только через три дня, на лбу ее был страшный багровый подтек, губы были плотно сжаты, веки покраснели, а в волосах исчезли последние темные нити. Аннушка так и ахнула, взглянув на свою старую барыню. Надежда Спиридоновна не стала, однако, ни сетовать, ни охать, а молча, с достоинством прошла к себе. Как только вернулась из Капеллы Нина, она потребовала ее в свою комнату: Надежда Спиридоновна была уверена, что донос сфабрикован ее домашними врагами — Микой и Вячеславом, и напрасно Нина клялась и божилась, что ни тот, ни другой не способны на такое дело и что тут безусловно приложила руку Катюша. Это было ясно всем, кроме самой потерпевшей.

Оказалось, что Надежда Спиридоновна не лишена гражданского мужества, она отказалась подписать обвинение и отрицала вину даже когда ей пригрозили ссылкой и несколько раз хлестнули смоченным в воде бичом.

— Страшные творятся вещи, Ниночка, следователь мне очень прозрачно намекал, что мне выгодней признаться в намерении взорвать... это сооружение... чем отрицать свою вину.

Слова «Охтинский мост» Надежда Спиридоновна не отважилась произносить, как будто именно выговаривание этих слов и принесло ей беду.

Надежда Спиридоновна пожелала вызвать Нюшу, которая должна была ей помочь приготовиться к отъезду, так как теперь следовало ждать со дня на день повестки с предписанием в двадцать четыре часа покинуть Ленинград. И решение не замедлило: ссылка в Костромскую область в трехдневный срок. Ехать предоставлялось не этапом. Для Надежды Спиридоновны самой большой трагедией было бросить квартиру и вещи — комната должна была немедленно отойти в распоряжение РЖУ, и, таким образом, pied-à-terre[1] в Петербурге Надежда Спиридоновна теряла уже безвозвратно. Остающиеся вещи приходилось поэтому рассовывать по родным и знакомым. Надежда Спиридоновна тщательно укладывала, запирала и переписывала свое добро. Явившаяся Нюша была допущена к этой процедуре и с вызывающим видом наперсницы перебегала из комнаты в кухню. В ее манере держаться с Ниной появилась нота ничем не оправданного пренебрежения.

— Барышня велели мне к ихнему кофорочку замочек привесить и перенести в вашу комнату — освободите уголок. Также и пальтецо ихнее велено в ваш шкаф перевесить, пока им не заблагорассудится приказать вам переслать по адресу, — говорила она.

Раз Нина вошла к тетке в комнату, когда обе женщины разглядывали мужское пальто с бобровым воротником; Надежда Спиридоновна сказала:

— Вот пальто твоего отца, Ninon, раздумываю, как лучше поступить с ним: в комиссионный магазин отнести или на сохранение в ломбард отдать? Как ты посоветуешь?

Нина почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Невеликодушная! Сколько раз она при тетке выражала тревогу, что Мика слишком легко одет и что не на что сколотить ему если не зимнее пальто, то хоть теплую куртку, но та ни разу не предложила для мальчика вещь, принадлежащую, по сути дела, ему!

— Делайте. как вам удобней, тетя!

Но когда Нюша выразила на кухне во всеуслышание опасение за свой узел, Нину прорвало:

— Объясните, тетя, вашей Дульсинее, что я не пожелала воспользоваться ничем из вещей моего отца, на которые имею неоспоримые права. А потому не могу заинтересоваться тряпками, которые вы сочли нужным ей подарить! — воскликнула она и убежала, чувствуя слезы старых обид в горле.

Много беспокойства вышло по поводу кота Тимура, которого Надежда Спиридоновна пожелала обязательно взять с собой. После долгих переговоров с Нюшей, причем на консультацию дважды вызывалась Нина, именитому животному была заготовлена глубокая корзина, дно которой выстлали мягким, а в крышке проделали несколько отверстий для доступа свежего воздуха.

Олег, разумеется, вызвался доставить на вокзал Надежду Спиридоновну со всеми ее картонками и чемоданами. Так уже повелось, что в услугах, где требовались мужская энергия и находчивость, обращались именно к Олегу. Асе казалось иногда, что здоровье ее мужа заслуживало более бережного отношения, но она знала, что говорить с ним на эту тему бесполезно, и молчала, даже когда ей случалось поплакивать втихомолку от досады.

Надежда Спиридоновна имела очень тесный круг знакомых и, в силу особенностей своего характера, большой симпатии не завоевывала; однако расправа, учиненная над семидесятипятилетней старухой, была так жестока, а обвинение столь нелепо, что вызвало волну глухого протеста в рассеянных остатках дворянского Петербурга: на вокзал откуда-то повыползли древние старухи в черных соломенных шляпках с вуалетками и в старомодных тальмах. Графиня Коковцова успокаивала их уверениями, что немедленно же сообщит обо всем происходящем «в Пагиж бгату». Полина Павловна Римская-Корсакова впопыхах явилась на вокзал с лицом, опять испачканным сажей, так как «буржуйка», оставшаяся в ее гостиной еще с дней гражданской войны, неисправимо коптила. Придерживая плащ жестом, которым в дни оны держали шлейф, дама эта, одетая почти в лохмотья, жаловалась, что подала было просьбу в Совнарком, чтобы установили ей, как бывшей

[1] Местожительство (*франц.*); буквально: временное пристанище.

фрейлине, пенсию, но многочисленные племянники и племянницы пришли в ужас от ее смелости и умолили взять обратно заявление, которым она будто бы могла подвести их. Жена бывшего камергера Моляс, грассируя, рассказывала, что начала хлопотать за мужа, томившегося в Соловках, и намерена сообщить в Кремль о заслугах его матери Александры Николаевны Моляс — первой исполнительницы целого ряда романсов и партий из опер Мусоргского и Римского-Корсакова. Все, выслушивавшие эти планы, единогласно нашли, что такое заявление несколько напоминает гениальный трюк Полины Павловны, так напугавшей трусливую родню.

Позже всех появился на вокзале старый гвардейский полковник Дидерихс, высокий, худой, с длинной шеей и глазами затравленного зверя. Олег при виде его совершенно невольно выпрямился и потянул было руку к козырьку фуражки, старый лев прикоснулся к своей и уже хотел сказать «вольно», но оба инстинктивно оглянулись по сторонам... Генеральская дочка Анна Петровна блаженно улыбнулась при виде жестов, тревоживших когда-то ее сердце и ныне изъятых из обращения... Она даже приложила к глазам платочек, вынутый из бисерного ридикюля.

«Экспонаты времен империи в будущем музее русского дворянского быта!» — думал Мика, распихивая по полкам багаж тетки и оглядывая эти призраки прошлого.

Надежда Спиридоновна выдержала характер: она не плакала, жала руки, благодарила, кивала, обещала писать и до последней минуты стояла у окна, сверкая неукротимыми глазами. Неизвестно, что почувствовала она, когда опустился занавес над трагедией, в которой она блестяще исполнила первую роль, и поезд помчал ее и «Тимочку» в неизвестные дали, которые Нина, прощаясь, окрестила словами из „Жизни за царя"».

Одна Леля не захотела проводить Надежду Спиридоновну, сколько ее ни уговаривали мать и Наталья Павловна. Когда Олег, слышавший эти уговоры, бросил на нее быстрый взгляд, она опустила глаза, и это навело его на некоторые мысли...

Через несколько дней к Наталье Павловне явился с визитом полковник Дидерихс, периодически навещавший старую генеральшу. Как только они остались вдвоем за чашкой чая, он сказал:

— Не хочется вас волновать, Наталья Павловна, но долгом своим считаю вас предостеречь: в доме вашем появился кто-то, имеющий связь с гепеу. Меня на днях вызывали в это учреждение и повторили мне там слово в слово разговор, который мы с вами вели в мой прошлый визит к вам, вплоть до тех двух анекдотов, которые я позволил себе вам рассказать. Как это могло случиться?

Наталья Павловна была поражена:

— Не знаю, что думать! Боже мой! Меня посещает такой проверенный тесный круг друзей... А впрочем, в то воскресенье как раз не было гостей, мы были в своей семье... Вы сами понимаете, что я не могу заподозрить Асю или моего зятя... Мадам? Это милейшее, преданнейшее существо... Я за нее ручаюсь, как за самою себя! Кто же?

— В тот раз еще была маленькая Нелидова, — сказал, припоминая, Дидерихс.

— Леля? Леля была, но ведь эта девочка выросла на моих глазах, она и Ася — это одно и то же.

— Да, да, я понимаю, я хорошо помню ее отца и деда... и все-таки я советую вам, Наталья Павловна, порасспросить обеих девочек. Конечно, они не являются сами осведомительницами — никто этого о них не может думать, но нет ли подруг, которым они проболтались? Молодость легкомысленна, а в наше время пустяк может иметь роковые последствия. Там завелась некто Гвоздика, которая, говорят, строчит доносы. Я беспокоюсь прежде всего о вас.

Старый гвардеец почтительно поцеловал руку Наталье Павловне.

Она обещала переговорить с юным поколением. Вызванная тут же Ася, не спуская с бабушки испуганно расширившихся глаз, уверяла, что никому никогда не повторяет разговоров, подруг у нее нет — бабушке это известно, только Леля и Елочка, но даже Елочку она не видела уже больше месяца... Так на кого же думать? Наталья Павловна обещала расспросить и Лелю, которая вечером, наверно, прибежит по обыкновению. Старый полковник удалился, оставив в тревоге и бабушку, и внучку.

Когда вернулся со службы Олег, Ася стала ему рассказывать странную историю.

— Ты ведь знаешь, милый, как я не люблю анекдотов! Я даже никогда не запоминаю их. Остроты и шутки я понимаю всегда часом позже, чем все вокруг меня, а то так и вовсе не дойдет. Ну разве похоже, чтобы я стала рассказывать анекдоты, да еще чужим людям? В музыкальной школе я тихонькая, как мышка, я ни с кем не говорю, кроме как на узкомузыкальные темы, я всегда тороплюсь к Славчику и мне даже времени нет болтать.

Олег хмурил брови, выслушивая этот лепет. Пригрозили! Запугивают девчонку, а она, щадя нас, подводит окружающих!

Олегу вдруг остро сделалось жалко Лелю, захотелось сейчас, немедленно, увидеть ее, говорить с ней строго, а втайне любоваться особенными огоньками ее глаз, совсем не такими, как у Аси, — не светлыми и чистыми, а страстными, горячими. Она невинна только в силу воспитания и семейных традиций... Олег вдруг поймал себя, что мысли его о Леле зашли слишком далеко.

Леля не появилась ни в этот день, ни на следующий. Наталья Павловна забеспокоилась и уже около одиннадцати вечера послала к Нелидовым Олега и Асю.

Отворила Зинаида Глебовна и тут же, в передней, стала рассказывать, что Стригунчик больна и пришлось уложить ее в постельку,— все эти дни она была очень печальная и неизвестно почему несколько раз плакала, а вчера на службе ей сделали просвечивание легких и обнаружили, что обе верхушки завуалированы, этим и объясняется температура, которая к ней привязалась еще с весны, вялость и убитый вид. Вот к чему приводит неполноценное питание, постоянное промачивание ног из-за отсутствия хорошей обуви и утомление на работе... В этом возрасте туберкулез в какой-нибудь месяц может принять скоротечную форму... Стригунчик в опасности! Необходимы усиленное питание и воздух, а зарплаты не хватает на ежедневную жизнь и до сих пор они не могут приобрести необходимые теплые вещи, а тут еще осень со своими дождями...

— Стригунчик, тебя пришли навестить Ася и Олег Андреевич. Сейчас мы все вместе чайку выпьем здесь, около тебя. Садитесь, Олег Андреевич.

Он сел на старое кресло в единственной комнате и бросил воровской взгляд на девушку, закрытую старым шотландским пледом, и на ее локоны, рассыпавшиеся по подушке. Ася вызвалась сбегать в булочную, а Зинаида Глебовна вышла в кухню заварить чай... Надо было воспользоваться минутой...

— Опять вызывал? — спросил он тотчас.

— Опять!

— Леля! Если причина во мне, я заявлю на себя, чтобы ваша пытка кончилась. Я не хочу, чтобы вас трепали из-за меня.

— Нет, нет! Не делайте этого, Олег Андреевич! Я вам доверилась, и вы не смеете вмешиваться без моего разрешения. Мне только хуже будет: он привлечет меня за ложное показание! — Она даже села на постели, щеки ее пылали. Она была очень хороша в эту минуту.

— Глупости, Леля! Вы отлично могли не знать о моем происхож-

дении. Я сам заявлю следователю, что скрывал свое имя даже от родственников.

— Нет, нет! Не смейте, Олег Андреевич. Я не позволю. Мне виднее! Кто вам сказал, что дело только в вас? Не в вас вовсе! Он хочет через меня шпионить за целым кругом лиц, он меня спрашивал про нашего знакомого полковника и про Нину Александровну. Он меня в покое все равно не оставит, да еще догадается, что я проговорилась о своих визитах к нему, а ведь у меня подписка. Никто мне теперь помочь не может, никто! Я больна только от этого.

— Не фантазируйте, Леля: у вас затронуты легкие, их необходимо и вполне возможно теперь же подлечить, а вот как вас из его лап выцарапать?.. Эта задача потруднее.

— Уже невозможно! Он меня как паук муху в свою паутину засасывает. Теперь до конца моих дней так будет! Я кое-что была принуждена наговорить ему. Он был доволен и обещал сигнализировать парткому нашего учреждения, чтобы тот устроил мне бесплатную путевку на юг, в санаторий. Было бы, конечно, хорошо для моего здоровья, но не знаю уж, будет ли мне теперь где-нибудь весело... Эта Катька мне очень напортила. Статья пятьдесят восьмая, параграф двенадцатый! Что это значит, Олег Андреевич?..

Путевка очень скоро была получена. Ася упросила бабушку не волновать Лелю и Зинаиду Глебовну расспросами о странной осведомленности гепеу, Олег присоединился к ее ходатайству, опасаясь, что вскроется слишком много тяжелого для обеих дам. Разговор решено было отложить до возвращения Лели. Зинаида Глебовна была счастлива возможностью поправить здоровье дочери и умилялась отзывчивости служебной администрации. Вместе с тем она очень опасалась впервые выпустить Лелю из-под своего крыла. Она не могла вспомнить случая, чтобы в дореволюционное время девушку отпускали куда-нибудь одну без сопровождения семьи или гувернантки. Робко, с виноватым видом шептала она дочери свои наставления:

— Стригунчик, послушай меня: там, конечно, будут мужчины... среди них теперь много очень дурных... Держись от них подальше, родная! Не ходи с ними гулять... Они тебе могут причинить очень большое зло. Ты этого еще не понимаешь.

— Ах, мама! Ты говоришь, как говорили Красной Шапочке «берегись волка»! Я не маленькая, мама. Мне все-таки не четырнадцать лет, — возражала дочь.

Общими усилиями перечинили Леле белье, сшили ей одно новое платье, а другое отобрали для нее у Аси и собрали ее как могли в дорогу.

Прощаясь на вокзале, Ася говорила:

— Улыбнись же, Леля! Ты увидишь море, скалы, кипарисы... Ты будешь собирать ракушки, лежать в кресле у моря... А сколько ты расскажешь нам, когда приедешь! Я уверена, что как только ты вдохнешь всей грудью солнечного теплого воздуху, у тебя внутри все заживет. Ты только дыши поглубже и не беспокойся ни о чем.

Леля печально вздохнула.

— Я не умею так отдаваться радости, как ты. Так пошло́ с детства, вспомни: ты всегда кружилась около меня и тревожилась, что я недостаточно счастлива и весела. Мы с тобой, Ася, совсем разные, и того, что может случиться со мной, с тобой никогда не будет.

— Чего не будет, Леля? Что ты хочешь сказать?

— Ничего. Я пошутила. Береги без меня мою маму лучше, чем это умею делать я.

В квартире на Моховой отъезд Надежды Спиридоновны тоже вызвал соответствующую реакцию: Катюшу стали преследовать неудачи — кастрюли у нее ежедневно подгорали, кот повадился пачкать

у самой ее двери, аппетитные булочки, положенные на стол под салфетку, оказывались под столом, кипятившееся белье пригорало в новом котле. На все претензии, обращенные к Аннушке, она получала самые различные реплики:

— Глядеть надоть! Поставишь и бросишь.

Или:

— Чего пристала? Я тебе не домработница!

В одно утро пол перед Катюшиными дверьми оказался весь вымощен котлетами, которые она готовила накануне, и притом не одними только котлетами... Объяснения, вопли и угрозы не могли пробить тот лед равнодушия, с которым ее выслушивали дворник и Аннушка. Доведенная до слез, она бросилась стучать к Нине и, когда та появилась на пороге, излила ей свое негодование. Бывшая княгиня окинула ее пренебрежительным взглядом:

— Я полагаю, даже вам ясно, что подобная проделка не в моем стиле, — надменно бросила она и отвернулась.

Выскочивший на стук Мика, которому Катюша тоже сочла возможным изложить свои претензии, разразился хохотом, упав на стул. Не удалось добиться ни слова.

Пользуясь высоким покровительством, Катюша очень быстро и легко устроила обмен комнаты. Очевидно, предполагалось, что ей, как провокатору уже разоблаченному, делать в этой квартире больше нечего. В то утро, когда она стала выносить свои тюки и корзины, все обитатели, словно по уговору, собрались в кухне, но никто не обращал на нее ни малейшего внимания: Аннушка и дворник невозмутимо пили чай, держа блюдечки на растопыренных пальцах и потягивая через сахар, Мика с ожесточением тащил плоскогубцами гвоздь, а Нина, стоя в задумчивости около примуса, смотрела поверх Катюшиной головы куда-то в окно... Пробурчав что-то себе под нос, девица стукнула с размаха в дверь Вячеслава.

— Чего нужно? — спросил Коноплянников, появляясь на пороге.

— Я к тебе по комсомольской линии: пособи вещи перетащить, видишь, уроды эти бастуют, словно английские горняки.

— Пожала, что посеяла. Ладно, дотащу до трамвая, а там — управляйся сама. — И Вячеслав забрал чемоданы.

— Еще мало им перцу задали! Вовсе бы разорить гнездо это контрреволюционное! — буркнула Катюша, забирая в свою очередь корзины.

— Но, но, но! Помалкивай! Не то накостыляю! — откликнулся дворник.

Катюша проворно подскочила к двери, но у порога обернулась и еще раз оглядела всех.

— Не жисть, а жестянка! — и с этим глубоко философским определением существующего порядка вещей Екатерина Томовна захлопнула дверь, навсегда покинув квартиру на Моховой.

Глава двадцать пятая

Ася по-прежнему считала себя счастливой и мысленно извинялась за свое счастье перед теми, кто окружал ее. Славчик уже говорил «мама, папа, баба, зай, дай» и еще несколько слов, он хорошо бегал, топая тугими крепкими ножками, ей он улыбался как-то особенно радостно и широко — не так, как другим.

Она была счастлива и за роялем — дома и в музыкальной школе. Стоило только переступить порог школы — и слышавшиеся из-за всех дверей звуки роялей и скрипок вызывали в ней уже знакомый ей трепет, как далекий прилив, который должен был окунуть ее в море музыки. Она любила сыгровки и репетиции с их повторениями и наставлениями педагогов, ей доставляло радость обязательное хорошее пение, увлекали занятия гармонией и толки о деталях исполнения между мо-

лодыми пианистами и оркестрантами, которые выползали из классов, напоминая усатых тараканов своими смычками. Немного менее симпатичными казались ей будущие певцы и певицы — они слишком уж носились с собственными голосами и слишком мало уделяли внимания музыке как таковой. Она часто слышала ученический шепот: «Говорят, могла бы большой пианисткой сделаться, да вот в консерваторию не принимают».

И часто становилось больно: не принимают и не примут! Но она утешала себя мыслью, что музыка и талант при ней останутся — отнять это не властен никто! «Не сделаюсь концертной пианисткой, сделаюсь аккомпаниаторшей, мне нравится играть в дуэтах и трио, а для себя и для друзей буду играть что захочу и сколько захочу...»

Гораздо больше она огорчалась по поводу Лели, видя, что с каждым днем сестра становится все печальнее и замкнутее. Мысль, что счастье обходит Лелю, настолько расстраивала Асю, что несколько раз она пробовала вступать в договор с Высшими Силами и просила то Божью Матерь, то Иисуса Христа взять от нее кусочек счастья и передать сестре, если возможно!

Она получила от сестры два письма.

«Дорогая Ася, — писала Леля в первом письме. — Уже две недели, как я здесь, но здоровье пока не лучше. Санаторий у самого моря, и в палатах слышен шум прибоя, но у меня такая потеря сил, что я почти не выхожу за калитку, а все больше сижу в кресле около самого дома. Первые дни мне вовсе было запрещено вставать. Один раз санитарка, подавая мне в постель утренний завтрак, сказала: «Поправишься небось. У нас чахотку эту самую хорошо лечат». Оказывается, tbc [2] и чахотка — то же самое, а я и не подозревала! Это меня испугало сначала, а теперь я к этой мысли привыкла. Очень много думаю, и в частности о тебе и о себе. Твой кузен был во многом прав, когда говорил, что воспитать молодое существо так, как воспитали нас, — значит, погубить. Сейчас, когда я уже на ногах и выхожу в общую столовую и на пляж, я вижу много молодежи, все держатся совсем иначе, чем мы с тобой. Многие тоже не обеспечены, тоже плохо одеты, но все веселы и полны жизни, они чувствуют себя дома, среди своих, а мы... Изящества в манерах и в разговоре у них, конечно, никакого; очень бойки и распущены, но им весело! Один молодой человек начал со мной знакомство с того, что спросил: «Каким спортом занимается т в о й мальчик?» Он меня так ошеломил, что несколько минут я весьма глупо на него пялилась, зато потом ответила очень дальновидно: «Боксом». Как тебе хорошо известно, боксера этого на моем горизонте не существует. Другой молодой человек спросил меня: «Почему ты одета?» Очевидно, подразумевалось, почему у меня закрыты плечи и лопатки, так как модные «татьянки» теперь очень низко срезаны. Мужчины в саду и на пляже лежат только в опоясках, первое время мне неудобно делалось. Между собой все на «ты». Палаты по ночам пустуют до 3 часов утра, и все это — вообрази — считается в порядке вещей. Уж не рассказывай маме, чтоб не смущать ее невинность. Вчера я получила еще одну реплику, которая своею дерзостью превосходит все: посторонний отдыхающий в общем разговоре в столовой заявил мне: «Не поверю, что вы остаетесь ночью на своей постели!» В прежнем обществе за такой фразой последовала бы дуэль! А здесь она вовсе не считается оскорбительной. Это опрокидывает понятия, в которых мы воспитаны, например неприкосновенность девушки, при которой не должно произноситься ни одно смелое слово и недоступность которой нельзя безнаказанно взять под сомнение. Но вот ирония судьбы: пропадать-то по ночам мне не с кем! Я, может быть, и нравлюсь, но мне самой еще никто не понравился, я еще не могу перемешаться и перезнакомиться. Оказывается, я еще вовсе не так испорчена, как думала.

² Туберкулез (*сокр. лат.*).

По секрету скажу тебе, что мне все-таки очень хочется любви и счастья, прежде чем я умру от этой самой чахотки или... сгину где-то очень далеко... Еще несколько лет, и я превращусь в такую же злую старую деву, как твоя любимая Елизавета Георгиевна, которую я, кстати сказать, терпеть не могу. Ну, да поживем — увидим! Я вспоминаю здесь всех вас гораздо чаще, чем могла предполагать. Я тебя ведь очень люблю, дорогая Ася, и недавно у меня был случай убедиться, что это не пустые слова. Твоя Леля».

«Дорогая Мимозочка! — писала она во втором письме. — Мне здесь осталась всего неделя — скоро увидимся! Здоровье мое сейчас гораздо лучше. Я начала гулять и научилась распевать залихватские песни. Но уединенных ночных прогулок по-прежнему избегаю, настолько еще сильна во мне старая мамина закваска. Не могу сказать, чтобы в здешнем, так называемом новом обществе меня заинтересовал кто-нибудь, нет! Но я немножко акклиматизировалась и попривыкла — не так уж страшно и даже весело! Здесь посвежело и на высоких горах уже выпал снег, но среди дня еще очень тепло и можно бегать в одном платье. Вчера приехала новая партия, и утром за столиком у меня оказался новый сосед, интереснее прочих и собой, и разговором. Он вызвался поучить меня игре в волейбол. Бегу сейчас на площадку. Целую тебя и твоего чудного пупса, напомни ему о крестной маме. Леля».

Когда поезд, пыхтя, приблизился к перрону и сестры увидели друг друга через окно вагона в сумраке зимнего утра, обе почувствовали себя на несколько минут счастливыми так же беззаботно и цельно, как это бывало в детстве.

— Стригунчик, родная моя! Девочка ненаглядная! Поправилась, похорошела, загорела! Ну, слава Богу! — твердила Зинаида Глебовна с полными слез глазами, обнимая дочь.

С вокзала поехали прямо к Наталье Павловне, где всю компанию ждали к утреннему кофе, у мадам уже было приготовлено удивительное печенье. Славчик был мил необыкновенно, он не забыл свою крестную, называл ее «тетя Леля» и ухватился маленькой ручкой за платье. Она посадила его к себе на колени и стала зацеловывать загривок и шейку по принятому ею обыкновению.

— Ты не бойся, Ася, у меня закрытая форма, я не бациллярная, — вдруг сказала она, что-то припомнив. Ася возмутилась до глубины души, доказывая, что у нее и в мыслях не было.

Мать и француженка не забыли осведомиться, приобрела ли Леля поклонников на волейбольной площадке и в салоне. Леля невольно улыбнулась, вспомнив грубоватых вихрастых парней с потными руками — типики эти никак не могли быть сопоставлены с силуэтами, рисовавшимися ее матери, которая невольно припоминала своих партнеров по теннису и верховой езде. И Леля предпочла не вдаваться в подробности, чтобы не разочаровать ее.

Как остро чувствовалось что-то исконно родное, свое в этих людях, в их манере говорить, в их настроенности, в их привычках! Ни бесцеремонности, всегда так задевавшей ее, ни этого странного фырканья, которое так сбивает с толку, ни внезапных обид с надутым молчанием, которое так принято в пролетарской среде... Безусловная, естественная корректность, которая уже вошла в плоть и кровь, имет такую огромную прелесть! Только в такой атмосфере чувствуешь себя застрахованной от всяких неосторожных прикосновений. Она в первый раз произвела переоценку ценностей и теперь наслаждалась, как рыба, попавшая с песчаного берега в родную стихию. Понадобилось шесть недель провести в чужой среде, чтобы оценить эту!

Но где-то в глубине сердца уже шевелился страх: узнал ли о н, что она вернулась? Неужели узнал и снова вызовет? Страх этот примешивал чувство горечи к каждому светлому впечатлению.

«Какая я была счастливая, пока не было в моей жизни э т о г о!

Но я тогда недооценивала своего счастья!» — думала девушка, пробуя замечательное «milles feuilles» и мешая ложечкой кофе в севрской чашке.

Когда кончили пить кофе и перемыли посуду, Ася увела Лелю в свою спальню, чтобы поболтать вдвоем. Тут только Леля рассказала самую интересную и сенсационную новость: у нее появился поклонник!

— Ходил за мной следом: куда я, туда и он! Глаз не спускал! Гуляли, в волейбол играли, в салоне сидели вместе, фокусы на картах мне показывал, смешил меня...

— И в любви уже признался? — спросила Ася.

— Намеки делал, а при прощании просил разрешения продлить знакомство и записал мой адрес. Он приехал за десять дней до моего отъезда и в Ленинград вернется только к Новому году. Я... знаешь, Ася, он мне понравился! Я вся сейчас точно из электричества — это со мной в первый раз! При прощании он мне сказал, что еще ни одна девушка на него не производила такого впечатления и что во мне удивительно пленительное сочетание скромности и эксцентричности, грусти и жадности к жизни. Это подмечено тонко, не правда ли?

— А кто он, Леля?

— Фамилия его Корсунский, а зовут Геннадий Викторович, отец его крупный политработник, только об этом ты пока не говори ни маме, ни Наталье Павловне. Санаторий этот для работников гепеу, но он не агент большого дома — он имеет какое-то отношение к искусству, мы только вскользь коснулись этой темы, и я не совсем поняла... Конечно, Геннадий этот — человек не нашего круга, но применить к нему мамимо любимое «du простой» все-таки нельзя: если в нем мало черточек и ухваток типично дворянских, то и плебейского мало. Взгляды его, конечно, совсем другие, чем, например, у Олега, но мне нравится в нем кипение жизни, что-то победительное, жизнерадостное. Я не люблю мужчин, которые в миноре, надломленного достаточно во мне самой.

— Я так хочу, чтобы и ты была счастлива, Леля! — сказала Ася, и обе одновременно припомнили, как в детстве отказывались вместе от сладкого, если у одной из двух болел живот.

— Счастье не ко всем так приходит, как пришло к тебе, Ася. Такого у меня не будет, а кусочек, может быть, перехвачу и я.

— Полковник Дидерихс заключен в лагерь. Его жена сама сообщила это бабушке в воскресенье у обедни, — вдруг вспомнила Ася.

Удар по больному месту! Последствие визитов в кабинет № 13!

— Я не ожидала, что так взволную тебя, Леля! Прости. Ты там, у моря, отвыкла от наших печальных новостей. Я тоже стараюсь не думать. Знаешь, я, как страус, не смотрю на опасность, чтобы она меня не увидела.

На другой же день после возвращения Лели Наталья Павловна позвала ее в свою комнату и задала вопрос совершенно прямо, воспользовавшись случаем, что ни Аси, ни мадам дома не было. Она была уверена, что получит ответ вроде ответа Аси или в худшем случае признание в неосторожности при разговоре с соседями. Не получая ответа вовсе, она оглянулась на девушку и увидела ее страшно взволнованное лицо.

— Говори мне сейчас же все, — сказала Наталья Павловна с тем самообладанием, которое ей не изменяло никогда.

В ресницах у Лели задрожали слезы.

— Говори, дитя, — повторила Наталья Павловна.

— Олег Андреевич знает все. Пусть он расскажет, — с трудом вымолвила Леля.

Наталья Павловна тотчас кликнула Олега, который был оставлен на этот час в качестве няньки при своем сыне и штудировал газету, сидя около детской кроватки. Олег объяснил все дело без комментариев, но в заключение прибавил:

— Позволю себе заметить, что не могу считать Елену Львовну слишком виновной: устоять в такой обстановке нелегко! Прошу вас извинить ей вполне понятный в молодой девушке недостаток героизма. Елена Львовна как только могла старалась выгородить меня и Асю.

Наталья Павловна молчала, глубоко пораженная.

— Не плачь, моя милая! Я не собираюсь тебя упрекать, — сказала она наконец и провела рукой по кудрям девушки. — Выйди и успокойся. Мама твоя ничего не должна знать.

Когда Леля вышла, Наталья Павловна в полуоборот головы взглянула на своего зятя, слегка закусив губы:

— Олег Андреевич, что же это? Мы не на краю бездны — мы уже летим в нее. Как спасти этого ребенка? — спросила она.

— Ее надо спасать одновременно и от предательства, и от репрессии, и я пока не вижу способа, — сказал Олег. — Заявить на себя? Но моя явка ничем Елену Львовну, по-видимому, не выручит. Этот подлец выбрал ее своим орудием и понимает, что она в его руках.

— Да, такая явка — не выход. Об этом даже думать не смейте.

На другой день Олег Дашков вернулся домой к обеду хмурый. Его уволили с работы. Воспользовались долгим отсутствием Рабиновича. Его заместитель, человек очень впечатлительный, каждый день читая в газетах о вредном влиянии «белогвардейского охвостья», в конце концов не выдержал и лихорадочно стал увольнять всех подозрительных.

В эту ночь Олег почти не спал: он ясно видел, что попал в положение человека, у которого земля горит под ногами. Угроза высылки за черту города становилась слишком реальна.

Среди ночи Ася вставала, и он слышал, как, спрятавшись за шкафом, она молится:

— Спаси, Господи, и помилуй мужа моего, Олега, и даруй ему мирная Твоя и премирная благая. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия и вдовицы, и сущия в болезни и печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и плениниих, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь.

Утром Дашков отправился в порт за расчетом, намереваясь затем начать поиски нового места. В манеже руководил верховой ездой Борис Оболенский — он обещал попытаться устроить его.

Спускаясь с лестницы, он уже представлял себе корпуса незнакомых заводов и холодные проходные, по которым ему опять суждено скитаться, за проходными — серые и скучные канцелярии и папки анкет с опостылевшими вопросами — вроде: «Чем занимались родители вашей жены до Октябрьской революции?» или: «Ваша должность и звание в белой армии?» Все это надо заполнять и вручать неприветливому, уже заранее ощетинившемуся служащему отдела кадров — сторожевого пса при грозном огепеу.

Глава двадцать шестая

Нина и Марина подымались по лестнице в квартиру на Моховой. Щеки им нащипал мороз, отчего обе казались моложе и свежее, но глаза были заплаканы и у той, и у другой.

— Сейчас согреемся горячим чаем, ноги у меня совсем застыли, — сказала Нина, открывая ключом дверь. И как только они вошли в комнату, Нина усадила Марину на диване и заботливо прикрыла ее пледом. — Отдыхай, пока я накрою на стол и заварю чай. Жаль, что у меня не топлено, но я решительно не успеваю возиться с печкой. Я

тебя сегодня не отпущу, ночевать будешь у меня: я ведь знаю, что такое возвращаться с кладбища в опустевший дом.

Через четверть часа она придвинула к дивану маленький стол и стала наливать чай.

— Не представляю себе теперь моей жизни! — уныло сказала Марина, намазывая хлеб.

— Не отчаивайся, дорогая! Первые дни всегда кажется, что нет выхода и неизбежна катастрофа, а потом понемногу силы откуда-то берутся, и снова цепляешься за жизнь. Неужели не сумеешь себя прокормить? Фамилия теперь тебе не помешает: это на наших дворянских именах проклятие, а ты уже не Драгомирова, а Рабинович, поступишь опять в регистратуру или в канцелярию... Кроме того, у тебя вещей много, можно «загнать» часы или чернобурку.

— Я боюсь, что многие вещи мне не отдадут.

— Кто не отдаст? Как так?!

— Его сестры. Если бы ты знала, что за особы эти жидовочки, особенно младшая, Сара. Пока Моисей Гершелевич был жив, обе перед ним на задних лапках танцевали. Да и как не танцевать? На курорт всегда за его счет ездили, ребенок у старшей за счет Моисея Гершелевича в пионерлагерь отправлялся и английскому языку учился — всё почему-то Моисей обязан был им устраивать! Воображаю, как обе злились, когда видели, сколько его денег уходит на мои наряды! Однако волей-неволей молчали; ну а в последнее время обнаглели до такой степени, что я при одной мысли о встрече с ними домой возвращаться не хочу.

— С тобой живет, кажется, только младшая?

— Вот в младшей-то и все зло! Эта Сарочка просто фурия: старая дева, безобразная, рыжая, в веснушках, завидует моей наружности и туалетам, сама одеваться не умеет: в вещах видит только деньги, а вкуса никакого. «Этот мех — валюта! Эти перчатки, по крайней мере, сторублевые!» — только, бывало, от нее и слышу!

— Пусть говорит что хочет, но ведь не воровка же она, чтобы присвоить твою собственность! То, что дарил тебе муж, — твое неоспоримо.

— Воровка не воровка, а интересы мои ущемить сумеет. Ты не представляешь себе ее наглости! На днях в моем присутствии говорит с сестрой по телефону и заявляет ей: «Моя *русь* присмирела, морду держит вниз». Это обо мне!

— Что?! — воскликнула Нина и ударила по столу. — И ты не дала ей по физиономии? Ты стерпела?

— Ты знаешь — я трусиха, и потом... у постели умирающего!..

— Но какая, однако, наглость!

— Вот теперь видишь, а мне с ней жить придется! Пока Моисей был жив, она не смела подкусывать, ну а теперь вознаградит себя за все годы.

— Тебе надо изолироваться от нее, хозяйничай отдельно, а дверь в ее комнату заколоти.

— Нина, какую дверь, в какую комнату? Она требует себе ту большую, в которой жили мы с Моисеем, а меня предполагает выселить в соседнюю, в проходную. Я тебе говорю: она мне житья не даст.

— Постой, постой: почему? На каком основании? И разве большая комната не имеет отдельного выхода?

— Не имеет, а права на эту комнату у Сарочки есть. Тут все напортила практичность еврейская: когда два года тому назад Сарочка эта свалилась к нам на голову из своего Бердичева, Моисей оформил большую комнату на ее имя, так как ставка ее была ниже и выходило выгодней с оплатой, ну а платил, конечно, сам, — и жили мы себе спокойно в большой комнате; ну а теперь она кричит на меня: «Пусть переезжает в проходную, большая комната принадлежит по закону

мне!» Придется ютиться кое-как, а Сара будет ходить мимо в любую минуту.

— Да что ты! Печально. Пожалуй, и в самом деле ничего нельзя сделать.

— Конечно, ничего. А как она меня третировала в последние дни жизни Моисея! Она заметила, что я с больными теряюсь и не умею... Проходит, бывало, мимо и бросает мне: «Загляни хоть на минутку к супругу, верная жена!»

— Тебе, Марина, не надо было уступать ей свои обязанности: теперь у них негодование против тебя отчасти справедливое, ты им сама против себя оружие в руки дала.

— Поверь, что если б я просиживала напролет все ночи, было бы нисколько не лучше! И разве мало мне досталось забот за эти месяцы? Я тебе, кажется, еще не рассказывала: ведь накануне его смерти — в пятницу — я осталась с ним одна на весь вечер. Врач еще заранее предупредил, что Моисей, может быть, и суток не проживет, а Сарочка все-таки ушла и оставила меня одну. Я сидела в соседней комнате, вдруг он начал стонать, и в эту как раз минуту зашевелилась гардина у двери в переднюю. Отчего-то я вообразила, что это Смерть вошла и вот проходит мимо меня к нему... Я вся похолодела, забралась с ногами на диван и дрожу; как нарочно, я одна, в квартире пусто, зажжена только тусклая лампочка, а я боюсь встать, чтобы включить люстру. Он окликает: «Марина, ты здесь? Подойди!» А я молчу — боюсь выдать свое присутствие, шевельнуться боюсь... «Она тут, она меня заденет», — думаю, и кажется, волосы шевелятся на голове. Так просидела я час или больше... только когда Сарочка зазвенела ключом в передней, я решилась вскочить и бросилась ей навстречу; как только другой, живой человек оказался рядом, сразу стало не так страшно. Я знаю, я виновата, что не подошла, не упрекай — я сама знаю, и это уже не поправить! — Она вытерла глаза. — Теперь они затевают семейный суд, — продолжала она после минуты молчания, — соберется вся их родня, и старый дядюшка, новый Соломон, явится разбирать, кому какую комнату и какие вещи. Вот еще удовольствие — являться в качестве подсудимой на еврейский кагал!

— Не отказывайся, Марина! Являться ты, конечно, не обязана, но этим ты проявишь уважение к их семье. Почем знать? Может быть, этот «Соломон» рассудит по справедливости. Мне кажется, что вещами тебя не обидят: они не такие люди... вся беда в комнате!

— Нина, тебе не кажется иногда, что все это только тяжелый-тяжелый сон, что в одно утро ты проснешься и увидишь снова счастливую радостную жизнь вокруг себя, своих родителей живыми, анфилады комнат вместо этих грязных коммунальных углов и все, чему пришел конец в восемнадцатом году?

— Я спою тебе один романс, — сказала, вставая, Нина, — это Римского-Корсакова.

Она подошла к роялю, зябко кутаясь в старый вязаный шарф, и, не подымая запыленной крышки и не открывая нот, взяла несколько аккордов и запела:

> О, если б ты могла хоть на единый миг
> Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!
> О, если бы я твой увидеть мог бы лик,
> Каким я знал его в счастливейшие годы!

И вдруг остановилась и, не снимая рук с клавишей, приникла к роялю головой:

— О, если бы и я могла хоть во сне, на минуту, перенестись в нашу гостиную в Черемухах... окна в сад, свечи на рояле, соловьиное пение, Дмитрий и наш влюбленный шепот... Ну, не плачь, Марина, не плачь! Не ты одна... у всех горе. Если тебе в самом деле станет невыносимо с твоей Сарочкой — забирай вещи и переселяйся ко мне.

Мы обе одиноки — станем жить, как две сестры, друг о друге заботиться...

Они бросились друг другу в объятия.

— Приедешь? Ну вот и хорошо!

Послышался стук в дверь и голос Аннушки:

— Лександровна! Выдь на кухню, тебя дворник дожидает! Не муж, не-е! Другой — Гриша. Бумага у него до тебя какая-то.

Нина насторожилась:

— Что такое? Какая бумага? Вот подумай только, Марина: я так издергана, что от слов «дворник» и «бумага» пугаюсь — сама не зная чего! Извини, я на минуту. — И она убежала.

Марина прилегла головой на диванную подушку и зябко натянула на себя плед. В ушах ее еще раздавались унылые речитативы кантора, поразившие непривычное воображение. Так странно: мужчины у гроба в шапках, и никто не подходит прощаться и поцеловать чело усопшего! Ей не хватало «со святыми упокой» и «вечная память». Хотелось перекреститься, но она не посмела... Она ничего никогда не посмеет. Одна она заплакала, когда закрывали гроб!

От усталости она словно погрузилась в небытие. Из дремоты ее вывело прикосновение руки.

— Что с тобой, Нина? На тебе лица нет! — воскликнула она и села.

— Прочти, — сказала Нина и протянула ей бумагу.

— А что такое? «Предписывается не далее как в трехдневный срок покинуть...» Что?! «...покинуть Ленинград... не ближе как...» Что такое? Господи! — и Марина схватилась за голову. — Стоверстная полоса! Опять твой титул вспомнили!

Нина тяжело опустилась на стул.

— Ну вот и кончено! Теперь пропали и комната, и мои выступления! Буду мыкаться в Малой Вишере или в Луге и петь по клубам за гроши Дунаевского! А Мика? Его придется оставить одного. А святая Елизавета Листа? Я должна была петь эту партию! О, недаром, недаром я так переживала арию в изгнании! Марина, я — без музыки! С искусством кончено. Сейчас я только вижу, как я была еще богата, и вот — теряю все!

— Безумие! Бред какой-то! — восклицала Марина. — Беги сейчас же в Капеллу — пусть похлопочет. Такого сопрано, как у тебя, нет! Партия разучена — увидишь, они заступятся!

— Заступится Капелла? О, нет. Ты плохо знаешь, Марина, наши административные порядки: пальцем не шевельнут, разговаривать даже не станут! Опальная — ну так убирайся! Бывали уже примеры, с Сергем тоже так было.

— А местком?

— Местком уже давно потерял то значение, которое имел в двадцатые годы, считается, что теперь администрация своя, советская, и потому политика месткома не может войти в противоречие с политикой администрации. Одна лавочка!.. Я не буду петь святую Елизавету!

У Нины не нашлось и десятой доли той практической мудрости, которую проявила в подобные же минуты Надежда Спиридоновна: на следующий день она с утра побежала к Наталье Павловне, где, согретая сочувствием всей семьи, провела весь день и, разумеется, была оставлена к обеду. На прощанье она пела всему обществу арии из «Святой Елизаветы» и домой вернулась только к вечеру, сопровождаемая Асей, которая прибежала помочь ей в укладке и разборе вещей, но дома Нину ждали две артистки из Капеллы, которые, узнав о несчастье, пожелали выразить сочувствие, и дело кончилось опять музыкой и чаепитием. Только на третий день с утра Нина побежала за расчетом; задержалась она долго и вернулась уже во второй половине дня, очень расстроенная. Марина, не дожидаясь ее возвращения и предвидя, что она ничего не успеет, самостоятельно начала складывать вещи подруги. Добрые гении Нины — дворник и Аннушка — тоже явились на выручку, и кое-что удалось наладить только благодаря им. Комната Нины — в 32 метра — была вся заставлена вещами: частично ее собственными, частично теткиными, она была ровно в два раза больше Микиной; важно было сохранить именно эту комнату. Дворник обещал попытаться устроить в жакте, чтобы лицевой счет Мике перевели на эту площадь. С такой целью Мику спешно переселяли в комнату Нины. Олег, который явился предложить свои услуги, помогал Мике передвигать тяжелую мебель. Комната скоро оказалась настолько перегружена, что получила вид мебельного или комиссионного магазина: Мике предстояло передвигаться в ней, как в девственной чаще, и бросаться в свою постель прямо с комода. Вторая комната отходила немедленно в распоряжение РЖУ. Тысячи препятствий и самых нелепых запрещений лишали возможности передать эту комнату Марине, которая могла бы сохранить вещи и позаботиться о Мике. Марина сама сознавала эту невозможность и, страшно расстроенная всем происшедшим, заливалась слезами, укладывая вещи. Аннушка, никогда не терявшая головы, с утра замесила тесто и теперь пекла ватрушки, чтобы снабдить ими Нину на дорогу, и гладила ей белье. В самый разгар суматохи явился с работы Вячеслав и едва не наскочил на огромный шкаф в середине коридора.

— Чего это здесь происходит? Никак, въезжает кто-то? — спросил он, оглядываясь.

Ответы посыпались на него со всех сторон:

— Безобразия творятся, вот что! — крикнул Мика.

— Перегибчик опять! — ответил Олег.

— Да всё твои коммунисты окаянные! — крикнула Аннушка и прибавила, энергично работая утюгом: — Чтоб им передохнуть, безбожникам! И как это терпит их Господь?

Вячеслав попросил более толкового ответа.

— Выгоняют меня на сто верст за черту города, — ответила Нина. — За что? Вы сами, Вячеслав, отлично понимаете, что опасна я быть не могу. Очевидно, опять моих мужей припомнили, по всей вероятности, я до конца моих дней за них в ответе буду.

— А как же ваше пение? Ведь вы же на государственной службе! — пробормотал юноша, соболезнующе глядя на нее.

— С работы в два счета сняли, рта не дали раскрыть — у нас недолго! — ответила Нина.

Он так же озадаченно посмотрел на нее и предложил свои услуги по передвижке мебели.

Утром, прежде чем уйти на работу, Вячеслав постучался к Нине, которая уже в вуали и шляпке ходила по своей разоренной комнате, ожидая Олега, обещавшего проводить ее на вокзал.

— Нина Александровна, я ухожу, хотел попрощаться с вами. Вы не унывайте... С вашим голосом вы везде... — и замялся, не зная, что сказать.

Но Нина всегда была к Вячеславу расположена и ответила очень тепло:

— Спасибо, Вячеслав, милый! Я знаю, что вы меня искренно жалеете. Надеюсь, что не пропаду. Я в свою очередь желаю вам всего самого лучшего — удачи и счастья и в работе, и в личной жизни, — и со своей приветливой открытой манерой протянула руку.

В это время вошел Олег.

— А я вот работаю и не могу проводить Нину Александровну. У вас выходной сегодня? — спросил юноша, неуклюже пожимая протянутую ему руку.

— Могу вам доложить, что со службы я уволен, и притом как по-

литически неблагонадежный—с волчьим паспортом,—ответил Дашков.

Вячеслав совсем сник:

— Да ведь вы, кажется, очень нужны были! Как же так могло случиться?

— А такова уж политика в нашем государстве: человека «с прошлым» необходимо выкидывать за борт. Сострадание несовместимо с классовой борьбой — так ведь?

Юноша угрюмо молчал.

— Однако сейчас не до разговоров, — продолжал Олег, — где чемоданы?

— Прощайте, Аннушка! — сказала задрожавшим голосом Нина, подходя к старой дворничихе, и приподняла вуаль.

— Господь с тобой, Нинушка! Дай я перекрещу-то тебя, моя касатушка! Махотной ведь я тебя знала, Нинушка, доченька моя ненаглядная, я в те дни еще в горничных у твоей матушки жила.

Нина уронила голову на плечо старушке.

— Спасибо вам, Аннушка, за любовь, за заботу! Мне не пересчитать всех тех пирожков и булочек, которые вы совали и мне, и Мике, всех тех чашек чая, которые вы приносили, когда я возвращалась с концертов усталая и некому было обо мне позаботиться. А эти дрова, которые вы мне подкидывали! Я все помню, все знаю. И вы, Егор Власович, без вас я бы совсем пропала!

— Полно, барыня моя, полно! Чего это вы припоминать вздумали! — говорил дворник, теребя в руках шапку.

Вячеслав остановился у двери, наблюдая эту сцену.

— Ах, бо́лезная моя! — всхлипывая и вытирая глаза передником, продолжала Аннушка. — Не на радость ты вышла за князя своего! Не зря в утро свадьбы в спальне твоей покойной матушки треснуло большое зеркало! Я тогда же сказала: к беде! Не будет ей счастья, нашей пташке-певунье, хоть и богат, и знатен, и молод князь, а счастья не будет, не! Так вот и вышло. Да и теперь: вот уже сколько лет, как князь в могиле, а ты все, родимая, за него терпишь!

Олег хмурился, слушая эти причитания.

— Анна Тимофеевна, к чему вспоминать? Вы только расстраиваете Нину Александровну. Дмитрий Андреевич не виноват, что революция изломала жизни. Едемте, или мы опоздаем. — И он взялся было за чемоданы, но дворник стал отнимать их у него:

— Не допущу, ваше сиятельство, не допущу! Не годится! Я сам... Какая там грыжа! Уже давно зажила моя грыжа, и не может быть такого дела, чтобы я не посадил Нину Александровну в поезд. — И все-таки завладел чемоданами.

Мика забрал остальные, а Олег взял под руку Нину. Опустив вуаль на лицо, чтоб скрыть заплаканные глаза и дрожавшие губы, она стала спускаться, оглядываясь на Аннушку, которая стояла на площадке, утираясь косынкой.

Лужский поезд уходил в девять утра; тем не менее на платформе ожидала большая группа провожающих. Мика ехал с Ниной, чтобы помочь с вещами и поисками жилья. Окончив весной школу, он устроился чернорабочим на завод и теперь успокаивал Нину, что сможет кое-как обеспечить себя. У него были, по-видимому, свои планы, которыми он ни с кем не желал делиться. Аннушка пообещала готовить и стирать на Мику, и с этой стороны Нина могла быть спокойна.

— Я буду приезжать, видеться мы, конечно, будем, — твердила Нина, — но мое пение, мое пение!..

Она тоже не плакала, только закусывала губы и хмурилась. Плакала одна Марина.

— Только и была у меня радость, что приехать с тобой поболтать, — шептала она, — кроме тебя у меня никого нет. Сознание, что твоя комната пуста, будет мне невыносимо. Потеря за потерей!

— Ну, полно, дорогая, — урезонивала Нина, — ведь я уезжаю не в Казахстан и не в Сибирь. Знаешь, блестящая идея: в Луге я, наверно, легко найду комнату. Плюнь ты на свою Сару и на проходную клетушку и переезжай ко мне. Я была бы так счастлива. Хочешь?

— В Лугу? — голос Марины упал. — Да ведь я тогда по советским порядкам потеряю ленинградскую прописку и навсегда останусь в этой дыре! Нет, я лучше буду приезжать к тебе почаще!

Свисток поезда прервал разговор. В туманном сером рассвете декабрьского утра в одну минуту скрылся из глаз провожающих уходящий поезд. А люди все стояли и махали ему вслед.

«Кто будет следующий? Не я ли, Господи?»

Глава двадцать седьмая

Материальное положение в семье Натальи Павловны стало очень затруднительно. Каждую неделю приходилось относить что-либо из вещей в комиссионный магазин, несмотря на то, что старались жить как можно экономней; каждое утро Наталья Павловна и мадам совещались, каким образом свести к минимуму расходы дня, но жизнь выставляла свои требования, обойти которые было невозможно. Вести хозяйство было тем труднее, что в этой семье из четырех человек двое — Наталья Павловна и Олег — были «лишенцами» и вследствие этого не получали продуктовых карточек, обреченные законным образом на голодовку. Распределение по карточкам никакой роли внутри семьи, разумеется, не играло и служило только поводом к нескончаемым издевкам над правительством, которое никак не могло покончить с системой нищенских пайков и полуголодным режимом. Продуктов не хватало, а чтобы докупать у спекулянтов, не хватало денег. Олег раздобыл несколько уроков и лекции в пожарной части, но этого было слишком недостаточно. Положение безработного его тяготило и возмущало, а необходимость с утра оставаться дома и присутствовать при утренней черновой работе по дому казалась ему в высшей степени досадной и скучной. Вид еще не прибранных комнат, халатики и передники на домашних, восклицания и вопросы, с которыми обращались друг к другу женщины: «Ася, вымела ты гостиную?» или «У Славчика опять нет запасных штанов, надо за стирку приниматься!» — все это вызывало в нем приливы досады и глухого раздражения. «Эта сторона жизни не для мужчин, — думалось ему, — мужчина даже на первобытной ступени развития всегда был занят вне своего очага — на охоте, на войне, на пастбищах. Когда возвращаешься со службы домой, где тебя ждут с уже накрытым к обеду столом, чувствуешь себя главой семьи, заслуживающим уважения. В часы отдыха с удовольствием поиграешь с ребенком, поможешь жене, но начинать день с бесцельного шатания по дому — значит потерять понемногу уважение к самому себе!»

Ася, по-видимому, угадывала его томление и в свою очередь болезненно переживала это новое осложнение, огорчавшее ее больше, чем отсутствие заработка. Она то и дело подходила к мужу и, заглядывая ему в глаза, говорила: «В гостиной уже прибрано, милый, можешь сесть там читать». Или: «В спальне уже освежено, тебе там никто не помешает, а записки Талейрана, которые ты начал читать, на столике у окна». Он целовал ее в лоб, но досада не проходила. Он предлагал и свои услуги, но наиболее охотно исполнял поручения вне дома и скоро взял себе за правило гулять со Славчиком как раз в первые утренние часы, наиболее невыносимые, когда он решительно чувствовал себя лишним в этом женском царстве.

В одно февральское утро он подымался с сыном по лестнице, возвращаясь с прогулки, когда кто-то окликнул его снизу, и он увидел Вячеслава, нагонявшего его через ступеньку.

— Я к вам, Казаринов. Аннушка сказала мне ваш адрес. Это сынок ваш? У, какой хороший бутуз! Похож, разбойник, на своего папу,— и Вячеслав протянул ребенку палец, который Славчик тотчас ухватил, причем весело и заливчато рассмеялся.

— Этому ребенку, может быть, лучше было вовсе не родиться на свет! — сказал Олег, в свою очередь не спускавший глаз с сына. — Представляете вы себе, Вячеслав, его будущее и те нескончаемые анкеты и репрессии, которым он будет подвергаться за своих родителей?

— Погодите, погодите, товарищ Казаринов! Не торопитесь с прогнозами! К тому времени, как этот ваш бутуз кончит школу, мы, может быть, уже покончим с классовой борьбой и сможем позволить себе роскошь не опасаться своих врагов, а может быть, их у нас уже не будет! Я к вам, товарищ, не войду. Я хочу только предложить вам место в приемном покое больницы, где сам работаю. Ставка небольшая, а все годится на первый случай. Я так полагаю, что на анкету у нас смотреть не будут — должность не ответственная, это вам не порт! А люди нужны: носилки таскать некому. Ближайшим начальством вашим буду всего только я. По рукам, что ли? — И он назвал адрес, уже знакомый Олегу.

Благодаря Вячеслава, Олег спросил: знает ли он медсестру Муромцеву? Но Вячеслав работал еще недавно и не успел перезнакомиться с персоналом больницы.

— Я все эти пять лет, пока учился сначала на рабфаке, а после на фельдшера, проработал на заводе, Казаринов. Теперь мне в больнице как-то еще не по себе. На заводе у нас уже слаженный коллектив был, ребята подобрались веселые, дружные, а здесь все друг на друга волками смотрят, общественная работа не ладится, кружков никаких. Дождаться я не мог того времени, когда начну работать по специальности, а теперь вот ровно бы жаль завода,— сказал он.

На следующее утро Олег появился в больнице, причем сразу же был удостоен почтительного поклона швейцара. Анкета и в самом деле на сей раз не помешала, и он был зачислен в штат.

В этот день в больнице должно было состояться общее собрание, которому предшествовал редко наблюдаемый ажиотаж; Олег слышал, как в санпропускнике одна из санитарок повествовала другой:

— Старый дохтур сказал, вишь, бес в ее и взаправду вселился, потому как и бесы, и Христос, Царь Небесный, есте, и это только жиды одни уверяют, что ни Господа нашего, ни бесов в заводе нет. Это, вишь, старый; ну, а молодой — тот на дыбы: это-де контра! Ни бесов, ни Богу нетути, а ты, такой-сякой, видать, из прежних господ, и я тебя на собрании на чистую воду выведу!

Позднее, проходя с носилками через коридор, Олег услышал, как один молодой врач сказал другому:

— Сегодня на собрании старого невропатолога за отсталую идеологию крыть будем.

Вслед за этим фельдшер в санпропускнике сказал Вячеславу:

— Уж уконтропупят сегодня нашего старика!

Но Вячеслав, к которому Олег обратился за разъяснениями, знал только начало истории: «на нервном» появилась в женской палате истеричка, которая убедила себя, что ее атакует нечистая сила, требуя от нее кощунственного акта; недавно, ночью, больная эта перепугала всю палату и дежурный персонал, уверяя, что увидела в уборной безобразное существо, похожее на лягушку и немного на обезьяну. При этом женщина тряслась и плакала, так что пришлось вызвать дежурного врача, который с трудом водворил порядок.

Кого и за что собирались «крыть», Вячеслав не знал, но можно было предполагать, что столкновение двух невропатологов имеет отношение к этой больной.

— Придем на собрание, узнаем,— закончил Вячеслав.

Но на собрание они опоздали, задержавшись в приемном покое, и пришли, когда на трибуне уже ораторствовал один из врачей, как оказалось, молодой невропатолог:

— Мы имеем налицо выраженную истерию, почвой для которой являются религиозные представления, в данном случае представления о нечистой силе и одержимости. Какие же объяснения представил мой уважаемый коллега досужим бредням этой истерички? Я могу процитировать его слова, за точность которых ручаюсь: «Народное представление об одержимости вовсе не так нелепо и не лишено под собой почвы: чужая, темная воля подавляет в этих случаях человеческую, а тело человека используется одержителем как орудие для своего проявления». И еще: «До тех пор, пока психиатрия и невропатология не примут несколько истин оккультного порядка, они не смогут успешно бороться с такими явлениями, как мании, навязчивые идеи, галлюцинации, идиосинкразии...» Товарищи, да ведь это уже отдает теософией! Но когда я указал на этот факт моему уважаемому коллеге, он ответил: «Я говорил с вами, как с другом и с коллегой, и надеюсь, что разговор этот останется между нами». Но я не придерживаюсь ни отживших понятий, ни отжившей морали, в наше время сознание каждого должно быть подчинено контролю общества; кто умеет убеждать, пусть умеет и отвечать за свои слова! Я лично отмежевываюсь...

«Совсем плохо!» — подумал Олег, всматриваясь в головы присутствующих и стараясь решить, которая принадлежит человеку, позволившему себе высказать свою задушевную мысль.

На трибуну тем временем поднялся директор Залкинсон, который не ожидал, не мог предположить, не мог думать... и теперь потрясен, поражен и не допустит... Потом начали высказываться коллеги-врачи, причем каждый в свою очередь спешил отмежеваться от товарища и доказать, что не имеет с ним ничего общего. Наконец в первых рядах поднялась фигура в белом халате, с длинной бородой и высоким лбом; старик попросил слова и, поднявшись на трибуну, сказал:

— Я признаю жизнь человека одновременно на нескольких планах: физическое тело, по моему глубокому убеждению, есть только проекция на один план. Душу признаю и в Бога верю, и без Его святой воли волос с моей головы не упадет!

Его перебили:

— Мракобес! Церковник! — раздались усердные выкрики с мест.

Молодой электромонтер попросил слова и крикнул:

— Человеку, отравленному религиозными предрассудками, не место в рядах советских ученых! Кто вам позволил, гражданин профессор, с этой высокопоставленной трибуны так выражаться?

Олег обернулся на Вячеслава.

— Ну, с этой «высокопоставленной» трибуны ни одного слова в защиту, разумеется, не прозвучит! — шепнул он.

— Ошибаетесь! — отрезал Вячеслав. — Товарищ председатель, разрешите теперь мне! — и начал продираться вперед.

— Товарищи! — и что-то молодое, бодрое, смелое зазвенело в этом голосе. — Чем, скажите, мы сейчас заняты? Ведь мы топим человека! Все словно сговорились спихнуть в воду одного, старого, да еще заслуженного работника! Религия, конечно, дело отжившее, дело вредное. Религия усыпляет разум трудящихся и ослабляет их волю к борьбе с гнетом эксплуататоров. Товарищи Ленин и Сталин учат вести борьбу с религиозными предрассудками. Однако же это еще не значит, что каждый верующий человек — наш враг. Верующих еще у нас сотни тысяч! Наших советских граждан! И мы должны им помочь освободиться от старых предрассудков, а не топить их за это. Товарищи, давайте разберемся: враг тот, кто с нами воюет, а этот человек работал с нами; враг тот, кто вредит исподтишка — ползет, прячется и ударяет в спину, а этот человек говорил прямо, сам высказал свои мысли

в дружеской беседе; коли мы его взашей вытолкаем, мы только сраму наберемся! Всякий о нас скажет: у, предатели! Все они, коммунисты, такие! О нас и так уже довольно дурного говорят, и очень уж разрослась у нас эта нездоровая атмосфера доноса. Негожее это, товарищи, дело! Партия учитывает удельный вес человека, и тому, кто большую пользу приносит, можно извинить другой раз то, чего нельзя извинить мне. А людей, которые не боятся говорить прямо, надо всегда ценить — такие-то нам и нужны! Вы вот не любите нас, товарищ профессор, а мы еще с вами друзьями заделаемся, мы вас еще перевоспитаем по-своему.

В президиуме перешептывались, и наконец председательствующий сухо окликнул:

— Время истекло: закругляйся, Конопляников!

Вячеслав оглянулся на красный стол и угрюмые лица людей, сидевших за ним.

— Сейчас закругляюсь. Да здравствует революция на всем Земном шару! — оборвал он и сошел с трибуны.

Когда собрание кончилось, Олег и Вячеслав вышли вместе. Оба одновременно глубоко вздохнули: морозный воздух был, конечно, очень приятен после душного зала, но этот вздох как будто затаил в себе еще нечто.

— До чего же исподличались люди за эти пятнадцать лет! — сказал Олег, закуривая. — В прежнее время предательство считалось позором, и решиться публично на предательство—значило быть выброшенным за борт в любом прежнем обществе: в военном ли, в ученом ли, в студенческом ли, в рабочем ли — все равно! Я знаю случай, когда студента, заподозренного в сношениях с Третьим отделением, открыто бойкотировали все: никто на всем курсе не подавал ему руки. Помещики никогда не принимали у себя жандармских офицеров. Когда шел процесс над декабристами, было широко известно, что целый ряд лиц, из самых аристократических кругов, осведомлен о существовании союза, и, однако же, никто не репрессировал их. Известен разговор Николая Первого с молодым Раевским. Император спросил: «И вы не сочли долгом сообщить мне?» А тот ответил: «Такой поступок не вяжется с честью офицера, Ваше Величество!» И Николай пожал ему руку со словами: «Вы правы!» В те дни сочли бы подлостью то, что вы называете «отмежевыванием». Я вспоминаю историю в Пажеском корпусе при Александре Втором. Мне она хорошо известна, в нее был замешан мой отец: группа кадетов была уличена в неповиновении и шалости, за которую грозило исключение. В заговоре была вся рота, иначе говоря — класс; пойманы несколько человек, которые, разумеется, отказались выдать товарищей. Дело, однако, не в этом — интересна реакция начальства: прибегли к авторитету Императора, который ответил: «Мои будущие офицеры иначе держать себя не могут — предателей вы из них не сделаете! Немедленно выпустить из карцера!» Вот как говорили императоры, а ваш вождь призывает к массовым доносам и утверждает выслеживание как доблесть! Картина, которую мы наблюдали сейчас в зале, возможна только при вашей системе власти, Вячеслав.

— Коли вы все это говорите, Казаринов, чтобы повернуть меня в другое русло, так не надейтесь по-пустому: болезни и недостатки наши я и сам отлично знаю, но делу нашей партии не изменю.

— Я никуда не собираюсь вас гашить, мой юный друг. Мне слишком опротивело идейное насилие, чтобы я вздумал применять его сам. Но всегда молчать не могу — у меня в груди все клокочет!

— Мне жаль вас, Казаринов, человек вы хороший и субъективно честный, а вот не видите, что ровно в бездну катитесь!

Олег бросил на него быстрый проницательный взгляд:

— Я в этой бездне, конечно, буду, но я делаю все, чтобы это случилось как можно позднее, а вот вы, Вячеслав, легко можете оказаться собственным могильщиком: в эту бездну вы тоже катитесь, я убежден!

Вячеслав сдвинул на затылок свою фуражку и, провожая внимательным взглядом промчавшийся грузовик, спросил:

— А что, та девчонка, кузина ваша, вышла она уже замуж?

— Нет, Вячеслав. Еще не вышла. Это теперь не так легко.

— Конечно, нелегко! Господ офицеров бывших не так уж много осталось — спились с тоски, которые не засажены... а другие новыми Азефами соделались; один вот тут в комиссионном оценщиком служит, цены накручивает не хуже спекулянта, а сам весь — как петух. Чем не жених? — И, кивнув Олегу, Вячеслав свернул в переулок.

Из темноты просунулась к ногам Олега морда бульдога с выпяченной губой и круглыми, навыкате, глазами... Совсем таким же был Али-Баба и так же сопел, натягивая цепочку. Вспомнился отцовский лихач, набережная Невы и Али-Баба под медвежьей полостью. Породистые собаки стали так редки, что поневоле ассоциируются с минувшим... Недавно на улице незнакомая дама расплакалась при виде пуделя Аси... Удивляться нечему: для нее пудель, очевидно, тоже связывался с воспоминаниями о собственной семье, собственных квартирах и мирных, милых радостях... Невыносимо мрачен советский Петербург, то бишь Ленинград!

Отворив ключом дверь, Дашков еще в передней услышал печальную певучую мелодию, переплетавшуюся с подголосками левой руки, и увидел с порога склонившийся над роялем ясный лоб.

Он приблизился и поцеловал голубые жилки на виске.

— Славчик гулял сегодня?

Она кивнула, продолжая наигрывать.

— Что ты исполняешь? Мне это как будто незнакомо.

— Мое сочинение, — ответила она, все еще не снимая рук с клавишей.

— Твое сочинение? Сыграй еще раз, я хочу выслушать с начала.

— Нет, нет! Еще не готово. После когда-нибудь, — она вскочила, захлопнула крышку.

Он привлек жену к себе.

— Я сегодня столько наслушался отвратительных разглагольствований. Хочу забыть. Все-таки сыграй мне свой прелюд, или, может быть, это ноктюрн?

— В смысле формы это, скорее всего, фантазия, — ответила она все еще неохотно. — Я очень много вложила в это души, но до сих пор не могу закончить и устранить две-три шероховатости... А задумано было давно... — И тут в голосе ее зазвенела задушевная нота. — Помню, дядя Сережа повез меня раз на август месяц в тихую деревеньку под Лугу. И вот раз осенним вечером, когда дядя Сережа был где-то на рыбалке, я шла одна в полях, собрала букет — растрепанный, пестрый, были там иван-чай, медуница, осенние ромашки... уже свежело и темнело... пусто-пусто было в поле и тихо, туман засеребрился и холодком повеяло. Я шла пожней, которая вся заросла запоздалой анютиной глазкой, я озябла и заторопилась домой... И вот издалека, из церкви, которая чуть видна была на краю леса, донесся церковный благовест. Был канун Успенья, шла всенощная. Почему-то я вздрогнула и цветы уронила, рассыпала... Мне что-то особенное показалось в этом звоне, что-то грустное и вместе с тем торжественное и странно родное... Звон все разрастался, гудел и переносил меня в прошлое — в те стародавние времена, когда чище, проще было у нас на Руси, когда в лесных чащах воздвигались одинокие кельи и монастыри, такие, как Сергиевская обитель, где печалился за свою родину Сергий Радонежский и приносил свои великие молитвы на коленях в чаще. Знаешь, ведь медведи ложились к его ногам и, го-

ворят, молились с ним. Перед Куликовской битвой туда Дмитрий Донской вывел глухими тропами свою рать и склонил свои знамена к ногам святителя. В этом звоне со мной как будто заговорила душа России, он был как стон родной земли, а последняя яркая полоска заката — как кровь... Мне и плакать хотелось, и молиться! У России так много было горя, и оно все не залечивалось, не проходило... Я помню: на небе и в поле темнеет, а я стою и стою. Может быть, я была под впечатлением корсаковского «Китежа» и потому могла так перечувствовать именно звон, но долго потом я находилась под обаянием этой минуты... Теперь колокольный звон уже запрещен повсеместно.

Они помолчали.

— Знаешь, — и руки ее потянулись к нему. — Я никогда не сделалась бы эмигранткой! Наша Русь и в самые горькие годины остается и величественной, и святой, и мне кажется, покидать ее ради собственной безопасности грешно.

Брови Олега сдвинулись, словно от боли.

— Стон родной земли... Это ты хорошо сказала! Смотри же, не откладывай окончание этой работы, чтобы я успел ее услышать.

Взгляд, полный тревоги, нежности и страха, мелькнул ему из-под ее ресниц, и он тотчас подумал, что не следовало произносить этих слов.

— Играла ты своему профессору эту вещь? — спросил он, желая дать разговору другое направление.

— Он запрещает мне сочинять, — грустно ответила она. — Не хочет, чтобы я отвлекалась от исполнительства.

Около часа ночи Олег, уже собираясь заснуть, протянул руку к выключателю, и в эту минуту глухой стук грузовика привлек его внимание.

— Машина... около нашего подъезда... в такой поздний час... Что это может быть? — проговорил он, прислушиваясь.

Ася села на постели. Минуты две они не шевелились.

— Уехал. Все! Спи, дорогая, — сказал Олег, оглядываясь на жену. Она не ответила улыбкой.

— Я знаю, о чем ты подумал. Я все знаю, — содрогнувшись, прошептала она.

Глава двадцать восьмая

В это декабрьское утро все женщины в квартире проснулись не в духе.

— Боже мой, Боже мой! В моем портмоне только пять рублей, а получка у Олега Андреевича еще нескоро и, наверно, будет ничтожная... О, милое пролетарское государство! Довольны, хамы? Не ценили того, что имели, пожелали господами стать, получайте теперь: карточки, очереди, фининспекторов и коммунальные квартиры. Мне такое существование и постоянные угрозы становятся не под силу, а тут еще Ася в последнее время осмеливается возражать... Зараза, страшная моральная зараза... она носится в воздухе! — говорила самая старшая.

Француженка вторила ей, стоя у закипавшего чайника:

— Что за медлительный народ! Mon Dieu! Уже пятнадцатый год, а все нет реставрации! Лишь бы хватило у нас сил вытянуть!

Когда обе дамы выходили, в кухню вбежала Клавдия Хрычко, встала на подоконник и, высунувшись через форточку в синеватую морозную мглу, еще окутывавшую двор, прокричала сыну, которого поспешила выпроводить на прогулку:

— Павлютка-а! Гляди: около дворницкой белье с веревок поснима-

ли, а наволоку уронили — подыми да принеси. Скорей, не то другой кто подберет! Экой неповоротливый!

Уже спрыгнув с подоконника, она увидела Асю, которая вошла с подносом посуды.

— Дивитесь небось на меня, Ксения Всеволодовна? Нехватки ведь у нас, нужда... воровать я бы в жисть не стала, а поднять... почему не поднять?

— Зачем вы, Клавдия Васильевна, выпустили на прогулку вашего Павлика? — спросила вместо ответа Ася. — Ведь он простужен, к нему бы надо вызвать детского врача!

— А вы уж и приметили? Больной он, точно. Я ужо сахарцу жженого с молоком выпить ему дам. Жалостливая вы, Ксения Всеволодовна. Изо всей вашей семьи одна вы такая. Муж ваш и бабка и мадама ваша волками на нас глядят — нешто я не вижу? Я вам от нашего пирожка ломтик отрезала, вот — берите, вы, я знаю, не побрезгуете. Кушайте на здоровье. — Она присела на табуретку. — Извелась я, Ксения Всеволодовна! Едуард мой окаянный грубит, бродяжничает, учебу вовсе бросил, со школы приходят, требуют, чтоб явился в классы, грозят, что выгонят за хулиганство; переросток, говорят. А где я его возьму, когда он котору ночь дома не ночует? С мужем тоже беда: я у него отобрала да под матрац запрятала пятьдесят рублей из евонной зарплаты, дрова хотела купить, оттого что ордеру срок, а он выкрал вечор, как я в баню ходила, да пьяным воротился. Одолжите на дрова, Ксения Всеволодовна, не то пропадать ордеру. Я не забыла, что уж задолжала вам, не опасайтесь: я ужо верну все.

— Извините... у меня нет: бабушка не очень любит, когда я распоряжаюсь деньгами... Завтра, если я получу за урок, тогда... сколько смогу... с тем только, чтоб опять никто не знал. А к вашему Павлику я сейчас по телефону доктора вызову.

Ася убежала, перекинув через плечо полотенце, вышитое еще старыми владимирскими кружевницами. Другая жилица, жена красного курсанта, приблизилась к своему примусу; сознавая превосходство своего супруга над прочими мужчинами в этой квартире, она держалась заносчиво.

— Вечно клянчите! Охота унижаться перед этими господами! Они вас в грош не ставят! Девчонка эта дура, умеет только ресницами хлопать. С такими, как вы и она, не построишь коммунизм. Вот погодите: покажут вам при паспортизации!

Олег работал теперь посменно, он только вернулся с ночного дежурства и строил Славчику дом из кубиков. Ася, войдя в комнату, любовно созерцала мужа и сына.

Нервы, однако, были уже так напряжены, что раздавшийся звонок заставил ее вздрогнуть. Олег вышел отворить, а она осталась около ребенка, тревожно прислушиваясь.

Пальцы сжались в крестное знамение.

Олег вернулся, имея очень раздраженный вид.

— Что? Что? — воскликнула она, бросаясь к нему.

— Очередная мерзость! Открываю — незнакомая женщина, которая рекомендуется: медсестра из вендиспансера; почему не является на лечение Эдуард Хрычко? Этот малолетний бродяга с именем английского лорда — сифилитик! Ты понимаешь ли, что это значит? Мальчишка лишен всякого чувства порядочности: он способен выпить в кухне из чужой кружки и поставить ее к чистой посуде — я это сам наблюдал однажды. Вот удовольствие — жить с подобными типами! Пойду объясняться, передать все-таки надо. Любопытно, что вопрос о врачебной тайне, по-видимому, вовсе отметается в советской медицине! Ну, да в наших условиях это, пожалуй, правильно.

Она выбежала за ним и настигла в коридоре.

— Олег! Я боюсь, подымется шум... я так боюсь и не люблю шума... говори как можно мягче...

Говорить с главой семьи было, однако, не так просто. Когда Олег обратился с вопросом: «Товарищ Хрычко, известно ли вам, что ваш сын венерический больной?» — тот только хмыкнул, и никак нельзя было понять, служило это выражением отрицания, утверждения, негодования или удивления. Олег начал было излагать свои претензии, но Хрычко перебил:

— А вам-то что до того? Мы ведь в ваши дела не мешаемся! Вечор я в жактовской конторе стоял, так слышал, упоминали там, что райсовет включил и вас в списки намеченных на выгонку, а вы еще хозяев из себя изображаете!

«Мадам» Хрычко тотчас подскочила на помощь к мужу:

— Уж так-таки и больной? Да откуда же вам известно это? Больно на выдумки горазды! Уж не у доктора ли встретились? Не трогал бы вашу посуду? А он и не трогает! На что она ему?

Олег питал непреодолимое отвращение к бабьему крику и истерическим возгласам и, не желая продолжать в таком тоне разговор, тотчас предложил перенести его на вечер, когда соберутся все жильцы. Он рассчитывал в этот раз на авторитетную поддержку красного курсанта. Принцип «разделяй и властвуй» мог иногда оказаться весьма полезным в коммунальной квартире.

Ася стояла лицом к шкафу и не повернулась, когда он вошел; это показалось ему подозрительным. «Наверно, услышала о списке из райсовета», — подумал он и повернул ее к себе с вопросительным взглядом.

— Сейчас такой хороший снежок! Я поведу гулять Славчика, а ты ляг — ведь ты всю ночь не спал. — Голос прозвучал несколько жалобно, но взгляд его она выдержала спокойно.

Одев Славчика, вынесли его на скрипучий, веселый снег, на свежем, морозном воздухе сразу стало радостно. Олег немного поиграл с сыном и вернулся домой. Ася взяла Славчика за ручку и направилась к скверу. Два милиционера поравнялись с ней. Тревожно она обернулась на них.

«Входят в наш подъезд... А вдруг к нам?!»

Она схватила ребенка на руки и повернула обратно. Славчик был уже тяжелым, и она добежала только до второго этажа, когда в третьем послышался звук отворяемой двери.

Да, это была их дверь! Милиционеры уже выходили, а ее муж стоял на пороге, когда она поднялась. Громко топая, милиционеры пошли вниз.

— Что?! — уже во второй раз в это утро спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

— То, чего мы ждали, — и он показал повестку.

Она спустила с рук ребенка.

— Куда?

— За сто верст.

— Тебя или нас всех?

— К счастью, только меня.

Она молчала.

— Ася, это еще не катастрофа... Не расстраивайся, дорогая! Это только очень большая неприятность. Я опять лишаюсь работы — вот главное осложнение. Раздевайся, сейчас спокойно обсудим.

Она послушно разделась и раздела ребенка.

— Я боюсь только разлуки! Ничего другого я не боюсь. Я уверена, что мы еще очень хорошо будем жить... — прошептала она дрожащим голосом.

— Ты у меня храбрая, мужественная девочка.

Семейный совет был очень серьезен на этот раз: и Олег, и Наталья Павловна, и мадам категорически настаивали, что Асе с ребенком уезжать в Лугу немыслимо. На это было несколько слишком серьезных оснований: Асе оставалось всего полгода до окончания музыкальной школы, иметь хотя бы этот диплом (за невозможностью получить консерваторский) значило уже очень много — диплом этот давал Асе право работать преподавательницей в детских школах и аккомпанировать. Далее, если Ася вздумает ехать за мужем, она немедленно потеряет комнату, а следовательно, и возможность вернуться. Кроме того, в Луге (согласно сведениям, полученным из письма Нины) свободных жактовских комнат нет, устроиться по-семейному невозможно, кроме как за очень большие деньги у частных владельцев. Денег этих не было — стало быть, деваться с ребенком некуда, и рояль вывезти тоже некуда. И, наконец, у Аси имеется небольшой заработок в виде аккомпанементов и уроков; бросать его теперь, когда Олег снова без работы, было рискованно.

Оставалось пока ехать одному Олегу, снять угол и попытаться раздобыть работу, а сюда наезжать в выходные дни.

— К счастью, дело к весне, — говорил Олег, — если я найду в Луге работу, я сниму там комнату в частном доме, а ты на лето приедешь ко мне со Славчиком. Осенью видно будет: жизнь сама подскажет, как поступить.

Это был день непрерывных неожиданностей: из передней вдруг послышался визг Клавдии и звуки, напоминающие рычание собаки, — старший Хрычко волочил за шиворот упирающегося Эдуарда, награждая его ударами кулака.

— Папка! Ты убьешь его! — отчаянно голосила Клавдия. — Помогите, добрые люди! Он искалечит парня! Экие бесчувственные тут все! Хоть умри на их глазах — не вступятся!

Вступаться и в самом деле никто не пожелал.

Через час явившийся по вызову Аси детский врач диагностировал у маленького Павлика корь.

Семье Хрычко в этот день не везло так же, как и семье Дашковых!

Кори никто особенно не боялся, но заполучить ее Славчику — означало, что Ася будет связана по рукам и ногам, а это было теперь особенно некстати. К концу дня Славчик уже начал чихать, и у него покраснели глазки — очевидно, оба ребенка захватили заразу одновременно.

— Никуда не поеду, пока не опустится температура, — заявил Олег, обнаруживая на термометре тридцать девять градусов, — пусть хоть силой тащат!

В этот злополучный день они умудрились поссориться, может быть, потому, что нервы у обоих были слишком напряжены. Олег вошел в комнату, когда Ася цедила через ситечко клюквенный морс в белую эмалированную кружку, из которой обычно поила Славчика; наполнив ее, она отцедила столько же в другую кружку.

— А кому предназначается вторая порция? — спросил Олег, уверенный, что она ответит «тебе», и уже готовый сказать «отказываюсь в пользу моей Кисы», но она только нахмурилась.

— Ты, кажется, забыл, что в квартире не один больной ребенок, а двое?

— А! Понимаю! Опять на сцену маленький выродок с черепом отсталой расы. Таких черепов никто еще никогда не видел у русских детей, — сказал он с оттенком досады.

Морщинка между двух тонких бровок стала явственней.

— Я помню, как-то раз в деревне женщина-крестьянка меня упрекнула за мою жалость к собаке; она сказала: у вас, у бар, животное завсегда первее человека. Я напрасно ее убеждала, что собака чувствует, как человек, холод, голод и обиду. Теперь придется убеждать моего мужа, что ребенок чувствует лишения независимо от формы своего черепа.

— Нет, ты мне лучше объясни, — возразил он, задетый за живое, — почему считаешь своей обязанностью заботиться о мальчике, у которого есть родители? Ты хорошо знаешь, что я не скуп и никогда не жалею денег, чтобы побаловать тебя и Славчика; если бы я зарабатывал достаточно, я не стал бы вмешиваться в эти мелочи, как не вмешивался до сих пор, но в последнее время мы сами питаемся неполноценно, отец этого ребенка через день хлещет водку, а я вот за три года ни разу не ку-

пил себе пол-литра портвейна, я коробку папирос растягиваю на неделю, чтоб сэкономить на себе. А ты ущемляешь моего сына ради ребенка этого хама. Если непременно желаешь заниматься филантропией, выбери ребенка, у которого родители репрессированы, или ты нарочно раздразнить меня хочешь?

— Ни заниматься филантропией, ни дразнить тебя я вовсе не собираюсь. Мне доставляет радость видеть, как сияет ребячье личико, — довольно этого тебе? Вчера ты ходил из угла в угол и повторял: я не виноват, что я — сын генерала и князя! Но и этот ребенок не виноват, что отец его пьет.

Гармония в отношениях не восстанавливалась до позднего вечера. Собираясь ложиться, Олег сказал:

— Если из-за этого уродца я лишаюсь любви и ласки моей жены, я еще менее способен буду питать к нему добрые чувства. Неужели я так эгоистичен и скуп, что меня следует наказывать в течение вот уже десяти часов, и неужели мальчик этот стоит того, чтобы ради него раскачивать наши отношения?

Румянец досады залил ее щеки.

— Опять, опять! Ни скупым, ни эгоистичным я тебя не считаю, а только безмерно гордым!

— Ах, вот как! Ну, тебе виднее. Завтра или послезавтра твой гордый муж уедет, может быть под конвоем, в эту уже заранее мне ненавистную Лугу, а ты, ко всем такая добрая, с ним так сурова.

Ася повернулась к нему от зеркала, перед которым расчесывала косы, и, откладывая гребенку, сказала:

— Я знаю, что для меня и для Славчика ты дашь содрать с себя заживо кожу, но я хочу, чтобы твое сердце немножко... ну, совсем немножко... распространилось!

— Не выйдет, Ася! Принимай меня таким, каков есть. Если бы ранее излилось на мою душу твое солнечное тепло, я , может быть, был бы мягче, но эти десять лет меня ожесточили, я знаю сам! Христианина, в полном значении этого слова, ты из меня не сделаешь. Мои мечты не идут дальше этой жизни — я хочу борьбы, хочу деятельности большой, всепоглощающей, на пользу моей Родине, я ненавижу ее врагов, моя вынужденная пассивность меня угнетает! — и он стал ходить из угла в угол.

Пронзительный звонок раздался в эту минуту и заставил их обменяться тревожными взглядами. Олег побежал отворять, в полной уверенности, что звонит милиция, чтобы проверить, убрался ли он из города. Оказалось, однако, что визит милиции относится к Эдуарду, который замешан в шайку подростков, пойманных в краже. Перепуганная чета Хрычко клялась и божилась, что мальчик уже с неделю не показывается. Олег не пожелал опровергать этих показаний.

— Я ничего не знаю, — ответил он на вопрос милиционера.

По-видимому, Эдуард действительно дома не ночевал, так как милиция, заглянув в «пролетарскую» комнату, удалилась ни с чем.

Утром Олег отправился за расчетом в больницу, а возвращаясь, столкнулся с управдомом, который приходил осведомляться, уехал ли он, и сделал ему соответствующее внушение. Тем не менее день прошел благополучно; только вечером, едва кончили пить чай, раздался опять один из тех звонков, которые вселяли тревогу во всю квартиру, и в передней опять выросла фигура милиционера. Клавдия, отворявшая дверь, не без язвительности крикнула Олегу:

— Нынче не за Едькой, а за вами!

Положение становилось невыносимым!

У милиционера было добродушное, честное лицо, напомнившее Олегу лица солдат.

— Вы что ж это, гражданин Казаринов, не повинуетесь приказу и нас бегать заставляете? Я не хотел на квартиру соваться — осведомился в жакте: здесь еще, говорят. Я ведь понимаю, что ехать неохота — хоть

до кого доведись! Ну, да ведь если приказ вышел — все равно ехать заставят: не добром, так под конвоем, да еще штраф в сто рублей заплатите. Так уж лучше езжайте теперь. Лужский поезд через час, и мне от начальства велено вас на него проводить. Давайте, собирайтесь!

— Есть, товарищ! Придется! Я противиться приказу не собирался: сынишка у меня заболел, так я хотел оттянуть денька два, дождаться выздоровления. С вами, товарищ, я вижу, можно договориться: оставьте вы меня самого уехать; можете спокойно отрапортовать, что проводили, — я не подведу; даю слово, что отбуду с этим поездом, а уж под конвоем меня не ведите! — И, взглянув еще раз на честное солдатское лицо, не устоял перед соблазном прибавить: — Всю войну провоевал, а вот теперь из города убирайся, словно я вор или хулиган.

На простом лице появилось выражение сочувствия.

— Что говорить! Времена нонче тяжелые! А вы на каком фронте воевали-то?

— Под Двинском.

— А я в Галиции. Ладно, я вам поверю, отбудете, значит, беспременно? До свиданьица! — и милиционер вышел.

Олег закурил, постоял в передней и, притушив папиросу, пошел в спальню.

Глава двадцать девятая

Луга и Малая Вишера тридцатых-сороковых годов — за исключением лет Великой Отечественной войны — представляли собой убежище высылаемых за черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получавшие «минус» или «стоверстную» — как политические, так и уголовники. Происходило это потому, что оба городка были ближайшими из расположенных после ста километров и связаны с центром прямым железнодорожным сообщением. В результате Луга была переполнена, и так называемых «жактовских» комнат не хватало. Нарасхват были комнаты мелких дачных собственников, которых еще не коснулось «раскулачивание» и которые, несмотря на огромные налоги, все-таки находили выгодным сдавать внаймы свои комнаты; в ряде случаев брали плату только за прописку, поскольку очень многие репрессированные, как раз из «бывших», втайне проживали у своих родных в Ленинграде, и только необходимость быть где-то прописанными заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан был службой. В Ленинграде на работу принимали лишь с ленинградской пропиской или с пропиской самого ближайшего пригорода, и те стоверстники, которые вынуждены были работать, волей-неволей и жить должны были в указанной полосе. Для Олега здесь вопроса не существовало: служба была ему необходима, а следовательно, жить предстояло отныне в Луге; возможность кататься туда и обратно отпадала из-за высоких тарифов.

Переспав на вокзале ночь, он отправился на поиски жилья. В центре городка, разумеется, не нашлось ничего, и он перенес свои поиски на дачные окраины. За день Олег измучился и к ночи вернулся на тот же вокзал. На следующее утро опять начались те же поиски; встреченный им рабочий, с которым он случайно разговорился, сказал ему, что лесопильный завод набирает молодых мужчин, но для этого надо иметь прописку и жилье. Прозябший, усталый, голодный и злой, Дашков продолжал свои скитания; наконец он попал в Заречную слободу, на самую крайнюю улицу, которая граничила с густым хвойным лесом. «Хорошо было бы обосноваться в этом районе, по крайней мере буду разнообразить время прогулками по лесу, не то здесь от тоски с ума сойти можно», — думал он, переходя с вопросами от дома к дому. Наконец в одном — самом некрасивом и ветхом — старуха, напоминавшая ведьму своим крючковатым

носом и недобрыми хищными глазами, заявила ему, что угол и прописка у нее найдутся. В сущности, это оказался не угол, а сундук, на котором можно было лечь, — старуха сдавала этот сундук как нары и предупредила при этом, что комната уже заселена по углам. Боясь упустить работу, Олег согласился на сундук и вручил старухе деньги за ближайшие полмесяца.

Он уселся на опушке леса на обледенелый пень, чтобы поужинать хлебом с брынзой. Он и сам не заметил, откуда подошла к нему эта собака — красивый породистый сеттер, по-видимому, бездомный, рыжая шелковая шерсть висела грязными спутанными клочьями, длинные висячие уши давно никто не расчесывал, бока ввалились.

— Ах ты, бедняга! Да ты, я вижу, тоже бедствующий аристократ! Ну, поди сюда, бери, — и Олег протянул кусок хлеба. Собака подошла, хромая, и взяла хлеб, деликатно не коснувшись руки человека.

— Мы с тобой, как видно, товарищи по несчастью, ты кто же — граф, маркиз или князь?

Сеттер в печальной задумчивости внимательно смотрел на него. Олег выложил перед ним остатки хлеба и брынзы.

— Извини, как говорится, чем Бог послал. Ну, пойдем, побродим по лесу, а то ведь тоска, брат.

Усвоенным с юности охотничьим жестом он ударил себя по колену, и тотчас что-то сверкнуло в печальных глазах собаки.

Уже в сумерках они подошли к неприглядному дому на опушке.

— Вот и наше палаццо! Не знаю, впустят ли тебя. Придется, пожалуй, весьма не по-товарищески тебя бросить. Ночевать на морозе очень уж не хочется.

Старуха и в самом деле не разрешила войти с собакой, и Олег вошел один, сопровождаемый долгим взглядом, в котором были одновременно и укор и понимание.

Он все-таки не ожидал такой картины: комната оказалась вся до отказа забита народом — лежали вповалку прямо на деревянном полу, сидели на подоконниках, играя в карты, ругались, курили, кто-то опрокидывал «маленькую» прямо в горло и удовлетворенно крякал, кто-то наяривал на баяне. Уголовники! — мир засаленных полосатых гимнастерок, голубых маек и старых кожанок, парни «что надо» и полуспившиеся мужики, — половина из них, по всей вероятности, нигде не прописаны. Сундук оказался занят; правда, в ответ на протест Олега старуха тотчас явилась навести порядок и согнала с него одну из подозрительных личностей. Подложив под голову свой рюкзак и закрывшись пальто, Олег устроился кое-как на абонированном участке. Унылые напевы баяниста: «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя» — наводили тоску.

«На дне! — подумал он. — В эту ночь останусь здесь, а завтра придется поискать нового прибежища».

Однако, как только пробило одиннадцать, на электростанции выключили свет, и вся публика волей-неволей стала устраиваться спать. Позажигали два-три сальных огарка, от которых по грязному потолку заходили гигантские тени, но вскоре затушили и их.

— Гони, гони — и без нее живого места нет! — услышал вдруг Олег чей-то возглас.

— Пошла, пошла, рыжая бестия! — подхватил другой.

Олег приподнялся:

— Что там?

— Собака проскочила. Пошла, пошла отсюда, стерва!

Олег чиркнул зажигалкой, глаза его и сеттера встретились.

— Не гоните, это мой сеттер, пусть погреется.

— Да здесь и людя́м-то места нет. К себе на сундук бери, коли так.

— Разумеется, возьму к себе.

Олег хлопнул ладонью по сундуку, сеттер легким прыжком оказался около него и стал устраиваться, задевая Олега обледенелыми лапами и дыша ему в лицо.

— Ложись, ложись, мой бедный маркиз. Ты меня пожелал иметь своим хозяином? Неудачный выбор! Я такой же бездомный, как и ты, — шептал Олег, почесывая собаке за ушами. Холодный нос коснулся его уха. Дашков обнял и прижал к себе собаку, оба затихли в объятиях друг друга.

На следующий день документы Олега поступили на прописку, а сам он с утра отправился разыскивать лесопильный завод, где ему предложили наведаться через несколько дней. Позвонив с вокзала домой, он узнал от Натальи Павловны, что ребенку лучше и Ася решилась отлучиться на уроки. Наталья Павловна сообщила также, что получила письмо от Нины, которая устроилась в доме литфонда; Олег тотчас пожелал разыскать этот литфонд, но напрасно стучал в калитку — в доме не было ни души. Только на третий день в ответ на его стук наконец открылась дверь, и он увидел, как Нина спешит к калитке, увязая в сугробах заметенного снегом сада. На ней были валенки и платок. Дашков поцеловал ей руку:

— Как ни переряжайтесь — все равно губернаторша или генеральша!

— Посмотрите мою резиденцию: я одна в пяти комнатах, — ответила она, смеясь. — Это дом отдыха для писателей, он в зимнее время закрыт. Меня устроила сюда военчасть: я пела у них в клубе и договорилась вести частным образом кружок художественной самодеятельности с женами комсостава и хоровое пение с их детьми. Узнав, что мне негде жить, заведующий клубом командир с тремя шпалами сам ходил к коменданту литфонда и просил его разрешить мне тут пожить, а прописку мне устроили в соседнем доме у сторожихи. Здесь было бы очень хорошо, если бы не лютая стужа в комнатах: я хозяйничаю на керосинке и отапливаюсь только ею же, а ведь дом нежилой, стены сырые. У меня зуб на зуб не попадает, я все время в валенках и в пальто.

Нина оказалась в обществе Марины, которая приехала, как только выяснилось точное местопребывание Нины. Обе сидели за чаем в литфондовской гостиной и тотчас пригласили Олега к столу.

— Я тебе еще месяц назад сказала, что кончится именно так! — говорила, продолжая прерванный разговор, Марина. — Я не умею защищаться: меня может обидеть кролик, а не то что целый кагал.

— А что, в самом деле судил-рядил тот Соломон? — спросила Нина.

— Он. Только, несмотря на самые веские основания прозываться именно так, имя его оказалось Яков Маркович. Огромная голова, маленькие кривые ножки, борода, как у Карла Маркса, а глаза — лисьи, облачен в допотопный лапсердак. В середине допроса что-то ему в наших ответах не понравилось — вдруг как двинет от себя стол, а один из уважаемых членов рода сидел на шаткой скамеечке и, когда стол ушел у него из-под локтей, — грохнулся на пол. Сарочка как взвизгнет... Разве воспитанная женщина позволит себе закричать? А они все затараторили, завизжали, загалдели.

— Какие же вопросы задавал этот Яков Маркович? — спросила Нина.

— Прирожденный крючкотворец! Пожелал выяснить, кто ухаживал, а мне по части бойкости в ответах — где уж с Сарочкой равняться! Я мямлю, а она тараторит по-своему — я не понимала, так и возражать не могла. Ну, присудил ей большую комнату, а мне проходную маленькую на том будто бы основании, что она дежурила у постели по ночам... в действительности, конечно, потому, что единоплеменница! Я могу оспаривать через суд, да не хочу: в успехе я вовсе не уверена, а с ними в этом случае рассорюсь окончательно.

— А вещи? — спросила Нина.

— Вещи все мне отдали. Сарочка заявила было претензию на мою чернобурку, но Соломон решительным жестом осадил ее. Она поревела, но покорилась. Кстати, этот Соломон заявил, что «нажмет» на зава какой-то поликлиники, очевидно, тоже еврея, чтобы меня приняли туда работать кастеляншей. Все бы ничего, если б не комната!

Олег слушал, отделываясь сочувственно-безразличными репликами. Разговор затянулся так же, как чаепитие, которое разнообразилось привезенной Мариной кулинарией собственного изготовления. Олег, которого общество Марины несколько тяготило, вызвался принести дров из лесу, чтобы Нина могла протопить, и ушел, сопровождаемый верным Маркизом. Когда он вернулся с вязанкой за спиной, было уже совсем темно, и Марина поднялась, чтобы поспеть к вечернему поезду. Олег предложил свои услуги доставить Марину на вокзал, уныло предчувствуя, что разговор тем или иным путем непременно нырнет в прошлое. Очень скоро они подошли к огромной луже талого снега, образованной снеготопилкой, и Марина беспомощно остановилась. Он протянул ей руку, говоря: «Прыгайте!» — и на минуту она оказалась в его объятиях. Почувствовав, как быстро разомкнулись его руки, она смутилась и сказала:

— Вы вправе считать меня эгоистической и ничтожной женщиной, Олег Андреевич, если вы иногда вспоминаете... те дни... то, наверно, с упреком.

Секунду он помедлил с ответом.

— С огромной благодарностью.

— Как? — удивленно спросила она.

— Да, с благодарностью. Я ни о чем не жалею и всю жизнь буду благодарен вам, что вы согрели меня. Несмотря ни на что...

— Вы можете переночевать в одной из этих комнат, — сказала ему Нина, когда он вернулся с тайной надеждой услышать именно эти слова. — Здесь отдохнете, наверно, лучше, чем на своем сундуке, и мне не так страшно будет, а то я дрожу при каждом шорохе — вокруг так пусто, а Луга полна бандитов, которых выселяют из Ленинграда, как и нас с вами.

Чувствуя, что глаза его слипаются после трех бессонных ночей, Олег решил воспользоваться предложением Нины и начал устраиваться на ночь в гостиной. Мимо садовой ограды по пустому обледенелому шоссе промелькнула женская фигура, прямая как стрелка, с рюкзаком за спиной, она попала на минуту в полосу света, падавшего из окна, и Олег увидел, как, перескочив с легкостью козы через канаву, она скрылась в темноте. Движением этим она напомнила ему Асю, и тоскливое ощущение, словно невидимой рукой, тотчас притронулось к его сердцу. Нелепая мысль: ее никогда бы не отпустили на ночь в незнакомый город. Кто-то из сосланных, наверное; на коренную лужскую обитательницу не похожа — покрой пальто не здешний и без валенок, в одних башмачках!

Почти тотчас Нина его окликнула:

— Олег, войдите, если не легли, — кто-то стучит, мне страшно!.. Не открывайте, спросите сначала! Здесь полно уголовников! — шептала она, следуя за ним со свечкой. Но он быстро распахнул дверь, охваченный страстной уверенностью, от которой затрепетала каждая жилка.

— Олег! Ты здесь? Какое счастье!

— Дорогая, дорогая, любимая! Ты приехала! А ведь мне уже стало казаться, что я больше тебя не увижу, что ты так же внезапно исчезнешь из моей жизни, как появилась в ней! — Схватив жену на руки, он перенес ее в комнаты и, упав на колени, прижался головой к ее ногам, обнимая их. — Какой тебе неудачный достался муж! Он ничем тебя не может обеспечить, и ты еще вынуждена таскаться за ним по этим медвежьим окраинам!

— Такой достался, которого я люблю! — ответила Ася, лохматя его волосы. — Я очень забеспокоилась и загрустила! Ведь уже четыре дня.

Бабушка и мадам, увидев, что я подревываю втихомолку, сжалились надо мной и отпустили к Нине. А что это за собака? — Она коснулась рукой Маркиза, который очень тактично помахивал хвостом, выжидая, пока его представят. — Я была почти уверена, что найду тебя у Нины,— говорила Ася, — мы предполагали, что я дойду засветло, бабушка припомнила, что прежде в Лугу ходил экспресс, но этот поезд тащился целых четыре часа, а после я еще два часа скиталась по городу в поисках литфонда. Я вам привезла целый рюкзак провизии — у бабушки купили наконец кофейный сервиз. Ну, а теперь поите же меня чаем!

«Я все еще выигрываю у жизни прекрасные минуты», — думал он, слушая, как Ася наигрывает своего любимого Шуберта на разбитом пианино в пустом салоне.

Он хранил в своей душе запас слов и мыслей, скопившихся за дни разлуки, но лишь когда они устроились наконец на ночь на одном из огромных диванов литфонда и уже лежали, любуясь разукрашенными морозом окнами, в которые ярко светила полная луна, он заговорил о том, что его переполнило.

— Я не могу забыть твоих слов о «горе России»! У меня с собой томик Блока, и я зачитывался «Куликовым полем». В этой вещи есть тонкости, которые могут понять очень немногие. Для этого надо быть русским и любить Россию, много знать и во многом разбираться, не терять высокой культуры и, наконец, быть человеком с развитым воображением. Этим требованиям мы с тобой более или менее удовлетворяем. Я не претендую на особую эрудицию или особую мудрость, быть может, от меня ускользнут тысячи тонкостей во всяком другом произведении, но это написано как будто для меня! В нем для меня оживают значения, которые недосказаны, но будят целые гаммы настроений, целый строй мыслей! Они не конкретны, но могучи и идут одно за другим вереницами... «О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь!» или: «Я— не первый воин, не последний, долго будет родина больна». Я здесь понимаю нечто такое, что не сумею передать словами... Эти таинственные пароли — все в моей душе! Нерукотворный лик в щите у воина — для меня твой лик, это ты касаешься моей души, когда нужны благословение или утешение. Твой прелюд подготовил почву для более глубокого восприятия блоковских строк, это ты заронила в меня мысль о прошлых страданиях России, и я как будто почувствовал себя ответственным за них! И ты, конечно, поверишь, что я готов был бы с радостью умереть, если б смерть моя могла принести исцеление Родине. Это не фраза с моей стороны: мне с юности казалось убогим, жалким недостойным трястись над собой, цепляться за собственное существование. На фронте я не жалел себя — хотелось подняться над инстинктом самосохранения, мне доставляло спортивный интерес тренировать себя в этом отношении. У меня была репутация храбреца — два Георгия и Владимир с мечами, кажется, заслуженные. Я за храбрость даже был представлен к золотому оружию. Но к чему это привело? Война с немцами? Ее конец был извращен, поруган и опоганен большевиками. Бои с красной армией привели к поражениям и мукам, которым нет конца... А как были счастливы в Куликовской битве русские витязи — наши предки! Не существовало сомнений — все было ясно, все светло! А теперь правый путь потерян — «...не слышно грома битвы чудной, не видно молньи боевой». С какой тоской я иногда думаю, что умру прежде, чем придет битва за освобождение, умру в подвале или на тюремном дворе... Мне иногда снится этот двор. В последнюю минуту не будет светлой уверенности, что Родина восстала, спасена, расцветает... Когда придет... час расплаты... помяни «...за раннею обедней мила друга, светлая жена!»

Она слушала молча, не спуская с него печального и серьезного взгляда; не стала возражать, не сказала: «Ты не погибнешь», не сказала: «Если ты умрешь, и я умру», — только взяла его руку и поцеловала.

— Помяну, — тихо шепнула она.

...Завод отказался принять Олега, ссылаясь на то, что не получил обещанных ему дополнительных штатов. Через несколько дней, однако, Олегу посчастливилось устроиться чернорабочим по починке мостов и шоссейных дорог. Зарплата была очень невелика, но он остался и этим доволен. В первый же канун своего выходного дня он поехал домой, чтобы пробыть там ночь, день и следующую ночь и уехать на рассвете. Обстановка в квартире не благоприятствовала нелегальным наездам: в первый же вечер был опять налет милиции, продолжавшей охотиться за Эдуардом. Олег не вышел на звонок, и милиция почти тотчас удалилась, но жена красного курсанта заявила утром в кухне: «Жизнь в этой квартире становится невыносимой из-за проживающих нелегально двух лиц». Это могло относиться помимо Эдуарда только к Олегу. Клавдия набросилась на соседку:

— Змея подколодная! Устроилась как нельзя лучше и жалит! Не все такие довольные и сытые, как ты. От звонков просыпается, подумаешь! А когда мой муж с «ночной» придет и спать ляжет, ты его, что ли, не будишь своими патефонами? В жакт заявишь? А я вот заявлю, только не в жакт, а твоему мужу, что как только он в командировку отбыл, к тебе тотчас командир с двумя шпалами зачастил...

Когда Эдуарда наконец арестовали, Клавдия сказала: «А ну его! Замучил он нас! Может, в колонии одумается». Однако несколько раз среди дня принималась плакать. Через две недели Эдуард ускользнул из колонии, и нелегальные появления на квартире и звонки дворников и милиции начались снова. В связи с этим Олегу приходилось быть особенно осторожным, тем более что следовало опасаться жены курсанта.

— Выдры этой нет в коридоре? Могу я выйти в ванную? — спрашивал он.

— Подожди, я пройду посмотрю, свободна ли дорога, — отвечала Ася.

Славчик, однако, постоянно выдавал присутствие Олега звонкими восклицаниями «папа». Выдра зажала в кулак все женское население квартиры и, появляясь в кухне, держала в постоянном страхе и Асю, и мадам, и Клавдию, чья добродушная круглая физиономия казалась теперь симпатичной по сравнению с надменно сжатыми губами и вздернутым носом накрашенной дамы новой формации.

— В ванной пол забрызган: ваш муж, наверное, под душем мылся, — говорила она Асе, и та, не смея возразить, бросалась с тряпкой в ванную, хоть и знала исключительную аккуратность Олега.

— В передней опять натоптано: ваш сын, как пройдет, так следы наставит, — говорила она Клавдии, и та в свою очередь хваталась за тряпку, даже если Эдуард не появлялся.

Несколько раз Олег доказывал себе, что ехать не следует, чтобы не нарваться на неприятность. Милиция брала штраф в пятьдесят рублей за незаконное пребывание в квартире в ночное время и столько же с человека, предоставлявшего убежище, — сто рублей могли весьма ощутимо подорвать их месячный бюджет, но когда Олег мысленно взвешивал на весах эту сумму и радость видеть семью — последняя перетягивала.

— Авось обойдется! — говорил он себе и мчался на вокзал, охваченный радостным ожиданием. Дворянская непрактичность, которая внушала взгляд на деньги как на нечто не заслуживающее большого внимания, приходила на помощь: с деньгами обойдется! Неужели из-за денег лишаться свидания с семьей? Наталья Павловна и Ася первые доказывали ему несостоятельность такого положения! Вот если бы наказанием было заключение — тогда другое дело! До тех пор, пока имели дело с милицией, положение было еще терпимо и последствия не столь трагичны.

В одно утро, покидая дом, Олег столкнулся в передней с Эдуардом. Было только пять утра, Олег торопился на поезд, и Ася в одном халатике совала ему по карманам бутерброды и сахар, когда Клавдия осторожно выглянула в переднюю: «Не порадуешься вовсе на такую-то жисть!» — сочувственно пробормотала она и бесшумно открыла входную дверь, чтобы выпустить Эдуарда, а затем, не закрывая ее, посторонилась, чтобы пропустить торопившегося Олега. «Ну, счастливо!» — опять пробормотала она, и это напутствие относилось, казалось, к обоим. Внизу, спустившись с лестницы, Олег обогнал мальчишку, который пошел следом за ним. Не желая лишний раз показываться дворникам на глаза, Олег облюбовал себе лазейку через соседний двор и теперь быстро проскользнул в закоулок к невысокой каменной стене, отделявшей их двор от соседнего. С ловкостью гимнаста он подтянулся на руках и сел на хребет стены. Эдуард стоял внизу и с завистью смотрел на него, так как был слишком мал ростом, чтобы подняться таким же образом. Олегу вдруг стало жаль мальчишку: ему в первый раз бросились в глаза бледность, худоба и рваное пальто этого подростка.

— Ну, становись на тот камень да давай руку — я подтяну тебя, — сказал он. Но когда соскочил, с отвращением обтер руки снегом и ушел не оборачиваясь. «Хорош у меня товарищ по несчастью! Нечего сказать!» — подумал он.

В Луге одиночество Олега разделяли только Нина и Маркиз. В первый же раз, когда Олег, возвращаясь в Лугу, вышел из вагона, он увидел собачью морду с длинными ушами: собака безнадежным взглядом озирала поезд и, может быть, уже несколько часов торчала здесь, около облупившейся грязной стены, вся продрогшая и голодная. Неизвестно, сколько еще часов готова она была простоять тут. Близорукие глаза сеттера еще не разглядели хозяина, который увидал его, еще вися на подножке.

— Маркиз! — крикнул Олег; тот дрогнул, бросился вперед и прыгнул ему на грудь.

В следующий раз Олег, уезжая, просил свою хозяйку кормить без него Маркиза и оставил ей на это трехрублевку, но далеко не был уверен, что деньги истрачены по назначению. Преданность собаки согревала Олегу сердце и скрашивала одинокие прогулки по лесам. Этим прогулкам он отдавал все свободное время, делая иногда по пятнадцать-двадцать верст за день в любую погоду, лишь бы не сидеть в комнате у старухи. Выходя из поезда, Олег всякий раз тревожно искал глазами мохнатого друга, боясь, чтобы тот не затерялся. Это упорно «не распространявшееся» сердце было очень постоянно в своих немногих привязанностях, и Маркиз, по-видимому, был таким же!

К Нине Олег заходил раза два в неделю — провести с нею вечер и принести ей дров из лесу. Она пела ему его любимые романсы, поила его чаем, и в печальных разговорах они засиживались иногда до утра. Жизнь опять как-то налаживалась. Иногда Олегу удавалось убедить себя, что благодаря этой высылке он вышел из поля зрения Нага, который забудет наконец о нем. Приближавшаяся весна сулила ему радость заполучить к себе семью. Окрестности Луги славятся прекрасными хвойными лесами, и, блуждая там по сугробам, он уже воображал, как понравятся эти леса Асе и как они будут гулять здесь со Славчиком, если... Без этого «если» не обходилось ни одно предположение, ни одна мечта.

Глава тридцатая

Величественная фигура швейцара уже несколько дней не красовалась около лифта больницы; посланная администрацией санитарка принесла известие, что Арефий Михайлович заболел; одновременно поползли слухи, что у него большие неприятности и арестована старуха жена.

Едва лишь слух этот коснулся ушей Елочки, тотчас она побежала к старику и нашла его в одиночестве в неприбранной комнате на кровати.

Старый богатырь поведал Елочке свое несчастье: шурин его работал «на плотах» и, возвращаясь из очередных рейсов, всегда выпивал «маленькую»; в этот раз он хватил через край, распетушился, побил где-то стекла и попал в милицию; супруга Арефия Михайловича понесла брату передачу, которую дежурный милиционер не пожелал принять; слово за слово, завязалась перебранка; милиционер толкнул почтенную швейцариху, которая упала в лужу и испортила новый салоп; тут она раскричалась: «Ах ты, слюнявый пентюх! Зазнались, заелись вы тут! Расплодила вас, паразитов, советская власть, будь она проклята! Которые люди честно работают, смотришь, гроши получают, а вы вон как заелись! Рожи-то салом заплыли!» Кричала, а там, недолго думая, схватила со стены портрет Сталина и запустила им в милиционера. Подскочили *товарищи* и, остановив разбушевавшуюся старушку, заявили, что не спустят оскорбления; совместными усилиями пустили в ход весь блат, которым только располагали, и старушка очень скоро была присуждена к трем месяцам заключения за хулиганство.

Арефий Михайлович в свою очередь возмутился: ходил в районный суд и к юристам и добился пересмотра дела, но во вторичной инстанции обратили внимание на ту сторону, которая до сих пор оставалась в тени, а именно — на разбитый портрет вождя и друга народов и на непозволительные выкрики по адресу советской власти. Несчастная швейцариха получила нежданно-негаданно пятьдесят восьмую статью и пять лет лагеря.

— Сам, своими руками погубил старуху, Елизавета Георгиевна, сам! Ну, отсидела бы три месяца — и вся недолга, а у меня, вишь ты, ретивое закипело, дохлопотался! Теперь ей оттоль и не выйти — стара ведь она у меня!

На другой день Елочка стояла на площадке лестницы в больнице и рассказывала всю историю санитарке Пелагее Петровне, когда мимо проходил новый фельдшер приемного покоя, партиец, и спросил, останавливаясь:

— Вы были у Арефия Михайловича? Ну, как он?

Елочка тотчас же приняла надменный вид и злобно отчеканила:

— Плохо: жену засадили по пятьдесят восьмой, а у старика был сердечный приступ, лежит один, ухаживать некому, плачет.

Лицо фельдшера приняло озабоченное выражение:

— Надо что-нибудь для него сделать! Наш коллектив должен товарища поддержать — ну, хоть снести ему продуктов на дом или выделить человека прибрать ему комнату... Давайте организуем хоть мы с вами.

Елочка с удивлением вскинула на молодого человека глаза: партийцы обычно шарахались в сторону, как только издали мелькнет призрак пятьдесят восьмой статьи, а этот!

— Организовать отказываюсь! Я раз попробовала, но предместком устроил мне скандал. Я, конечно, к Арефию Михайловичу пойду, но сама по себе. Организуйте вы, — и отошла все с тем же надменным видом.

Вслед за этим небольшой грипп уложил ее в постель; в первый же день, когда она вышла на воздух, чтобы отметить бюллетень в поликлинике, и уже шла домой, вниманием ее завладел Преображенский собор, с которым она поравнялась. Ставить свечи, прикладываться к иконам — все это она уже оставила, но постоять в этой торжественной тишине, сосредоточившись на своих думах, и обратиться с мольбой к Высшему Милосердию иногда хочется! Переступая порог храма, она вспомнила институтскую церковь и детские отчаянные молитвы за спасение России.

— Мир всем! — послышался голос из алтаря, и невольно склонилась голова Елочки, как прежде, когда, бывало, словно рожь от ветра, склонялись ряды покрытых платками головок.

День был будний, и в соборе никого не было, кроме обычных завсегдатаев — древних старушек, ковылявших от иконы к иконе и целовавшихся при встрече.

Ни тишина, ни торжественность не водворялись в сердце Елочки. Она была расстроена письмом, которое получила в это утро из Свердловска от самой молодой из своих теток — единственной оставшейся в Союзе.

«На днях уезжаю к мужу, который в Комсомольске на партийной работе. Город растет со сказочной быстротой. Мне хочется и самой включиться в работу. Что если тебе сделать то же? Приезжай к нам! Медсестра найдет везде заработок. Когда ты воочию увидишь коллективный созидательный труд, ты, может быть, на многое взглянешь иначе. Вспомни, что отец твой отдал жизнь народу, а мать работала как простая сельская учительница. Наша семья всегда была передовой. Теперь весь народ устремился к будущему, неужели же мы будем плестись в хвосте?»

Письмо это возмутило Елочку.

«Партиец в нашей семье — какой позор! Мне подрядиться в Комсомольск на работу?! А что же я здесь делаю, хотела бы я знать! Разве я не работаю? Разве я не нужна? Коллективный созидающий труд! Да ведь там добрая половина — лагерники. Как раз недавно по делу «золотой молодежи» всех направили в Комсомольск, и молодых моряков, которые подняли бокалы за Андреевский флаг, — туда же».

Зазвучало «Отче наш», Елочка продвинулась еще немного вперед и вдруг увидела знакомую головку на вытянутой шейке, бархатный потертый берет gris perle[5] и две длинные каштановые косы; порт-мюзик и картошка в сетке говорили о том, что обладательница их забежала сюда тоже по пути, на минуту, но глаза с голубыми тенями под ними смотрели прямо в алтарь, и все выражение этого лица показалось Елочке настолько отрешенным, что она воздержалась от желания сделать шаг к Асе и тронуть ее за плечо. Прошло, однако, лишь несколько мгновений. Ася быстро поднялась с колен, метнула беспокойный взгляд на часы в углу собора и немного поспешно приблизилась к аналою, бережно положила к иконе Праздника две чудные розы, потом перекрестилась и быстро направилась к выходу. Елочка настигла ее уже у самой двери, они заговорили шепотом, но, отвечая на вопросы Елочки о здоровье ребенка, положении Олега в Луге, Ася как-то странно-тревожно поводила глазами вокруг и внезапно прервала сама себя:

— Я хотела вас попросить не говорить бабушке, что вы меня встретили здесь, и о розах тоже...

— Хорошо, я не скажу, да вряд ли и увижу Наталью Павловну в ближайшее время. Что, однако, может она иметь против? Ведь она сама верующая? — спросила удивленная Елочка.

— Видите ли, мне часто попадает, что я слишком надолго отлучаюсь из дому. Я уверяю, что задерживаюсь в музыкальной школе, а сама по пути все-таки заворачиваю сюда. Хочется хоть на минуту преклонить колени, а дома очень много дела, Славчика ведь ни на минуту нельзя оставить без присмотра, стирка, очереди... Мы все измотались! Я здесь нелегально, — и она виновато улыбнулась.

Когда она убежала, Елочка, припоминая слова Аси о том, что сегодня у Олега выходной день, но они не увидятся, так как поездки друг к другу стоят дорого и они уговорились позкономить на этот раз, Елочка внезапно приняла решение съездить к изгнаннику самой. Ей представилась уже прогулка в лесу и один из тех разговоров, которые так заряжали ее внутренне. Спешно вернувшись домой, она собрала в сетку кое-какой провизии и помчалась на вокзал. Фетровая шляпка с птичьим крылышком и маленькая муфта, болтавшаяся на старомодной цепочке из черных деревянных четок, придавали ей несколько архаичный оттенок, неотделимый от нее. В Луге, выходя из поезда, она увидела Олега на перроне; изящество его осанки, даже в верблюжьем

[5] Жемчужно-серого цвета (*франц.*).

свитере и высоких сапогах, бросалось в глаза тотчас. Он кого-то ждал: может быть, все-таки надеялся, что Ася нарушит договор? «Сейчас увидит меня и разочаруется!» — мелькнуло в ее мыслях. Он, однако, ничем не обнаружил своего разочарования.

— Очень, очень тронут! — сказал он, предлагая ей руку.

Проходя городом, Елочка несколько раз замечала людей с интеллигентными лицами, занятых перетаскиванием бревен и отбиванием льда на тротуарах. Раз она обратила внимание на пожилую даму очень респектабельного вида, которая ковыряла ломом посередине улицы, тщетно стараясь скалывать лед. Другой раз дорогу им пересекла ассенизационная повозка; погоняя клячу, тащившую элегантный экипаж, возница напевал арию из «Сильвы», и Елочка готова была побиться об заклад, что распознала в нем опытным взглядом бывшего офицера. Все это производило далеко не радостное впечатление... Улицы маленького городка выглядели уже по-весеннему: мартовское яркое солнце, талый снег, капель, чирикающие воробьи... Тем не менее Елочке стало почему-то холодно и неуютно: то ли от непривычного свежего загородного воздуха, то ли от самолюбивых опасений... Выяснилось, что идти им, в сущности, некуда:

— На мой сундук я приглашать не рискую, — сказал он.

Вся надежда была только на разговор, которому не так легко было завязаться. Перекидываясь фразами о трудностях жизни и о положении Аси, они вышли к мосту через речку Лугу и тут неожиданно столкнулись лицом к лицу с фельдшером больницы.

— А я как раз вас-то и разыскиваю, — сказал он Олегу.

Елочка, не ожидавшая подобных отношений, была несколько шокирована. Из разговора выяснилось, что Вячеслав приехал еще с утренним поездом по делу, покончив с которым, решил навестить Олега. Вячеслав не пожелал рассказать, в чем заключалось дело, а заключалось оно в следующем: накануне этого дня, оставшись дома один, он вышел отворить на звонок и увидел перед собой двух мальчиков, по-видимому, братьев — оба черноглазые, шустрые, старшему лет десять.

— Пустите нас! Пустите, спрячьте! Скорей, скорей! — и оба вбежали в кухню, причем старший предусмотрительно потянул за собой дверь.

— Чего вы боитесь, малыши? От кого вас прятать? — спросил Вячеслав, стоя посередине кухни.

— Гепеу! Гепеу! Нумерной круглосуточный! Спасите, спрячьте! — повторяли оба.

— Да говорите вы толком, в чем дело! — прикрикнул Вячеслав.

Тогда старший мальчик, твердо глядя ему в глаза, ответил:

— Мы из квартиры на втором этаже. Гепеу хочет увезти нас и запрятать в нумерной детдом, а мы не хотим туда. За нами обещала приехать тетя. Спрячьте нас.

— А ваши родители?

— Мама недавно умерла, а папа — настоятель собора. Борька, не реви, дай рассказать. Папа говорил, что если его возьмут, мы должны ехать к тете. Вчера его взяли, а нам сказали, что придут за нами, и вот пришли, а мы убежали через черный ход. Товарищ рабочий, не выдавайте нас — позвольте переночевать, а завтра с утра мы уедем — тетя в Луге.

Вячеслав задумался.

— Есть у вас ее адрес? — спросил он.

— Да, вот здесь — пришит к крестику, — и старший мальчик расстегнул ворот курточки.

— Покажи бумагу. Кто это писал?

— Наш папа.

У входной двери послышался звонок; мальчики взвизгнули и, схватившись за руки, бросились в коридор. Вячеслав за ними.

— Да остановитесь вы, бутузы! Идите сюда, ко мне в комнату. Сидите тихо: я не выдам вас.

И Вячеслав вышел в кухню, чтобы отворить.

— Кого вам, гражданин?

— Извиняюсь, товарищ! К вам не забегали два мальчика? Велено доставить по назначению, а я уже битых полчаса гоняюсь за ними, взопрел весь и одышка взяла.

— Нет, никого не видел. Все было тихо, — и Вячеслав закрыл дверь.

— Они ушли, — сказал он, возвращаясь к детям. — Но еще неизвестно, лучше ли это, — в детском доме вас будут кормить, поить, одевать и учить. А что сможет вам дать тетка? Еще неизвестно, захочет ли она вас принять!

— Захочет, она обещала. Папа говорил: если мы будем при ней, нас никуда не заберут. А в детский дом мы не хотим: там слуги антихриста нас будут учить безбожию, там мы потеряемся, и папа после нас не найдет. Так было в семье у папиного прихожанина.

— Слуги антихриста? Слушать тошно! Дурачье вы еще. Ну, да слушайте: завтра я отвезу вас в Лугу, но если мы тетки вашей не найдем или она не захочет принять вас, я сам сдам вас людям, которые приходили только что. Поймите, что они пришли за вами ради вашей же пользы. Ну, а на сегодня оставайтесь у меня. Сейчас будем чай пить, а глаза вытрите — не разводите мокроту.

На следующее утро с первым же поездом Вячеслав повез мальчиков в Лугу. Тетка была обнаружена точно по тому адресу, который был написан рукой иерея. Это оказалась худая смуглая женщина, несколько чахоточного типа, тоже с черными большими глазами.

— Ах ты, Господи, Микола Милостивый! Ну, идите, идите сюда! Возьму. Как же не взять-то — перед Богом обещала! Возьму, ведь это мой крестник, — и худая рука из-под серого платка любовно легла на голову младшего мальчика.

Домишко был ветхий, деревянный, комната темная, заваленная тряпьем... У Вячеслава сжалось сердце.

— На что содержать буду? Бог не оставит. Я вот портняжничаю малость, голодать не дам. Пусть Бог вас благословит, что позаботились о детях, — и опять она провела рукой по голове мальчика. — Войдите чайком согреться. Чем богаты, тем и рады, — прибавила, обращаясь к Вячеславу.

— Идемте, идемте! — и старший мальчик потащил Вячеслава за рукав. — Вы тоже, наверное, прихожанин нашей церкви?

Вячеслав усмехнулся, хотел было сказать, что он партиец и ему в их церкви делать нечего, но вдруг вместо этого пробормотал что-то — мол, некогда, надо еще успеть куда-то, повернулся и пошел от них шагая через лужи.

Старший мальчик догнал его:

— Тетя Маня сказала, чтобы вы приезжали нас навестить. Приезжайте. И скажите нам ваше имя — мы будем за вас молиться.

Вячеслав пристально посмотрел в глаза ребенку:

— Мне молитв ваших не нужно! Ты вот не думай о партийцах как о злодеях и доносчиках — это гораздо сложнее, понял?

Разыскивая Олега, он не мог отвязаться от мысли, что вовлекается все глубже и глубже в чуждую ему и враждебную в классовом отношении среду. Какая-то червоточина завелась в последнее время в его мыслях... Олег и Нина, на его глазах снятые с работы и оторванные от семьи, та женщина на окне, в кухне, старик-швейцар, убитый горем, и теперь эти перепуганные дети, — неотступно сопутствовали его думам. Все это были классовые враги, уже клейменые, но он не мог не видеть их человеческой красоты! За фигурой попа — худшего из классовых врагов — вырастал отец, который дрожащей рукой вешал ладанку на шею маленького сына. А кто такая эта «тетя Маня»? Бо-

гомольная фанатичка, разумеется, тоже ненавистна существующему строю, и притом портниха, кустарь-одиночка, прячущаяся, конечно, от всевидящих глаз фининспектора... Но сколько любви! Какая готовность к жертве, граничащей с подвигом! У этих людей были свои незабываемые обиды, и трудно становилось осудить их за враждебное отношение. И все-таки откуда это море недоверия и презрения к Советской власти? Какое огромное внимание уделяет она вопросу детского воспитания, какие колоссальные средства затрачивает на детдома, школы и ясли — и вот какой панический страх, а репутация коммуниста переплетается с репутацией предателя, чуть ли не палача! Да что же это?!

И только что коммунист Коноплянников решил, что лучше не разыскивать Олега, который своими разговорами еще больше раскачает его незыблемое, казалось, кредо, как тут же натолкнулся на Олега, Елочку и собаку. Волей-неволей пришлось заговорить и присоединить и свою фигуру к разочарованному трио, причем сеттер обнюхивал встречного весьма недружелюбно.

Олег предложил своим гостям отправиться к Нине, которая тоскует в одиночестве, а кстати может попотчевать гостей горячим и крепким чаем: ведь она располагает целиком дачей и таким сокровищем, как керосинка. Нина и в самом деле встретила гостей очень радушно. У нее уже сидела одна гостья — седая старушка, тоже из высланных, с которой они уже чаевничали, и, таким образом, мечта Олега о горячем чае тотчас осуществилась. Зато обнаружилось, что старушка обладает жалом еще более ядовитым, чем у Олега, и притом удивительным бесстрашием; нежданно-негаданно она огорошила Нину следующей тирадой:

— Что это вы меня подталкиваете, моя милая? К осторожности, что ли, призываете? Так я, позвольте вам сказать, ничего и никогда не боюсь!.. Вы уж не партиец ли, милый юноша? Ага, так! Я тотчас догадалась! — И пошла, и поехала щелкать по больным местам: — Что вы нам тут чепуху всякую в голову вбиваете, будто бы Сталин — любимый ученик Ленина? Заладили и в речах, и в печати! Всем старым революционерам отлично известно, что Ленин не доверял Сталину и говорил о нем: он властолюбив и мстителен, «не допускайте его встать во главе!» Я была знакома с Крупской и слышала эти слова от нее самой.

И не успел еще Вячеслав переварить упоминание о Крупской, которое подействовало на него, словно удар ножа, как старушка перешла в новую атаку:

— Эх, не сумела ваша партия воспитать молодежь! Я вспоминаю наше племя! Сколько было в нас самой бескорыстной и беззаветной готовности жертвовать собой за народ! Мне довелось работать на эпидемии чумы. Царское правительство не гнало насильно, под угрозой лишения работы, как это делается теперь. Публиковали официальные приглашения на строго добровольных началах, и, однако, от добровольцев отбою не было, гнали обратно, и никто не хотел уходить, — это вам говорит очевидец! А какие смелые пламенные речи лились, бывало, на наших собраниях и студенческих сходках! Мы не цеплялись за выгодные места и не повторяли как попугаи газетных лозунгов!

Последняя тирада, может быть, не была так убедительно аргументирована, как первая, но зато согласовалась с собственными наблюдениями Вячеслава. До сих пор выводы из них были еще неясны ему, но теперь он почувствовал, что нечто в этом роде, пожалуй, замечал и сам и болезненно всякий раз уязвлялся. Ему делалось все больше и больше не по себе. На его счастье, попали к Нине они только около пяти, а в семь надо было уже выходить к вечернему поезду, неприятные разговоры поэтому не слишком затянулись.

В вагоне осаждали все те же мысли; медсестра на противоположной скамейке тоже не проявляла особого довольства жизнью, и он готов был биться об заклад, что она ярая контра. Об этом, казалось, кричала даже ее забавная муфточка на черных четках, а еще больше — ее надменное молчание.

Только на следующее утро, собираясь на работу, он несколько встряхнулся, сказав себе, что кое-что тут, несомненно, выдумки классовых врагов, а кое-что перегибы у власти на местах, есть и сознательное вредительство пробравшихся в управленческий аппарат троцкистов и бухаринцев. Не зря партия проводит эту чистку в своих рядах и в аппарате. Слово «чистка» его успокоило. В самом деле: если бы Советы и великий Сталин находили все в должном порядке, они не выбросили бы лозунг о чистке, а коли он выброшен, стало быть, там, наверху, тоже видят ошибки, с которыми уже повели борьбу решительно, по-большевистски! Все сделалось опять ясно, встало на свои места.

Отпуск ему записан в мае. Надо будет съездить в родную деревню, посмотреть, как там идет жизнь, каково переустройство. Прежде он, бывало, всякое лето наведывался, а теперь пятый год глаз не кажет. Навестить дядьев да теток, подышать деревенским воздухом, как раз будет и посевная кампания, да своими глазами посмотреть нарождающиеся колхозы. Тогда небось тени от сомнений не останется и сил прибудет, иной раз надо и самого себя почистить. Есть такое дело!

Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе.

Непоколебимая целость его мыслей была восстановлена.

Слуги антихриста! Как бы не так!

А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием, а Вячеслав мог бы сделать из него честного гражданина!

Глава тридцать первая

В санатории Леля внезапно окунулась в атмосферу мужских ухаживаний и любовных соревнований, и этот мир опьянил ее; мужчины были грубее и примитивней, чем ей хотелось бы, зато в них были более обнажены их инстинкты и яснее сквозило мужское хищничество, которое ей нравилось. Игра с мужским темпераментом привлекала Лелю. Рыцарство размагниченных представителей уходящего класса давно стало казаться бесцветным и бледным. В этот год все впечатления свелись только к санаторским. Это было очень захватывающе, потому что вокруг кипела молодежь, веселая и праздная, все интересы которой сконцентрировались на романах. Сначала Леле казалось странным позволить хватать себя за локти и плечи, выслушивать намеки и убегать от поцелуев, но эта игра увлекала все больше и больше. Интерес подогревался еще тем, что она безусловно имела успех, и притом прослыла «крепким орешком». Женская половина отдыхающих завидовала как ее изяществу, так и этой репутации, — она чувствовала. Всеобщее любопытство как будто даже сконцентрировалось на том, достанется она кому-нибудь или не достанется? Это открыто обсуждалось за обеденными столиками и доставляло ей огромное удовольствие. Некоторые девчонки ее открыто возненавидели, и это тоже содействовало росту ее успеха. Тем не менее она отдавала себе совершенно ясный отчет, что раздразнивать в мужчинах страсти доставляет ей все большее и большее наслаждение.

Когда появился Геня Корсунский — «гвоздь сезона»,— он занял среди мужчин примерно то же положение, что она среди женщин. Все как будто отступили, давая ему место, но тут-то именно (может быть, потому, что этот человек заинтересовал ее больше остальных) ей захотелось заставить его понять, что она не такая, как все, и тре-

бует особо бережного отношения и внимания исключительного. По-видимому, он это понял, если, признав себя побежденным, пожелал перенести знакомство в Ленинград. И вот теперь он не давал о себе знать!

Пролетел уже весь январь, а он не появлялся! И она увидела себя вновь перед пустотой... Опять довольствоваться обществом матери, Натальи Павловны и Аси с Олегом? Опять этот сухой постный режим, а впереди — перспектива превращения в сухую и злую старую деву? Ей было всего двадцать два года, а она думала о себе так, как будто ей было тридцать! Происходило это отчасти оттого, что на ее глазах так быстро и легко выскочила замуж Ася и этим словно поставила ее в положение перестарка. Окружающие считали ее почти девочкой, и только сама она уже готова была махнуть на себя рукой, замирая от страха, что на ее долю не выпадет радости. Эта мысль делала ее раздражительной, она опять стала до колкости суха с матерью и потеряла вкус ко всем уютным милым минутам домашней жизни; глядя в зеркало на свое хорошенькое личико, со страхом думала, что ей уже недолго быть такой и она упускает время... А что делать? Где найти поклонников, да еще таких, как хочется? Угрожающий бег времени открылся ей, чтобы мучить ее постоянными опасениями о потере драгоценных минут и невозможности ничего изменить. В ней стала появляться зависть к Асе, которая нашла свое счастье еще в то время, когда нисколько не томилась по любви, зависть, несмотря на то, что Олег никогда не пленял ее воображение.

И вот в одно утро, когда, сжавшись комочком на их древнем сундуке, она раздумывала над неудачами своей жизни, в ее дверь постучала соседка со словами:

— К вам пришли.

Она выглянула в переднюю, и словно горячее вино пробежало внезапно по всем ее жилам, согревая кровь: перед ней стоял Геня, цветущий, веселый, в кожаной куртке и меховой круглой шапке. Щеки его были ярко-розовые, а черные глаза сверкали, как уголья.

— Узнаете меня, Леночка? Явился с вашего разрешения, если припоминаете? Думал заявиться тотчас по приезде, но меня в командировку угнали. Могу я войти?

— Пожалуйста, Геня! — воскликнула она, чувствуя, как горячая жизненная волна захлестывает ее через край.

Едва только разговор завязался, как вошла Зинаида Глебовна.

— Мама, позволь тебе представить: Геннадий Викторович Корсунский — один из отдыхавших вместе со мной.

Геня поднялся не спеша и, кланяясь, не поцеловал руку ее матери. Это покоробило Лелю, но она тотчас сказала сама себе: нельзя требовать от него старорежимной изысканности, он по-своему достаточно вежлив, и этого должно быть довольно.

При Зинаиде Глебовне, однако, разговор начал увядать, и Леля смертельно испугалась, что Геня сбежит от скуки... Но у него оказались другие планы:

— А что если мы с вами, Леночка, предпримем сейчас небольшую экскурсию по кино? Мой пропуск со мной, погода отличная, собирайтесь-ка поживее.

— Стригунчик, как же так? Ведь тебе пора обедать и на работу... — забормотала Зинаида Глебовна, видя, что дочь с готовностью вскочила.

— Об этом не беспокойтесь: накормим где-нибудь вашу Леночку, голодной не оставим и на работу доставим без опоздания,— успокоил покровительственно Геня, подавая Леле пальто.

В темноте кинозала, сидя рядом с Геней, Леля почувствовала, что его рука пробирается в ее рукав. Это уже вовсе не предусматривалось хорошим тоном, но вырваться она не решилась, боясь чрезмерной сухостью отпугнуть его. Чем-то надо было жертвовать в угоду этому человеку!

— Леночка-Леночка, милая девочка, я соскучился по вас,— шепнул он, привлекая ее к себе.

— И я,— ответила она еле слышно.

Из кино поехали в кафе Квисисана, где Леля пила кофе со взбитыми сливками и ела пирожное. На работу она была доставлена на такси.

Как изменилось все за один этот день! С ее груди разом снялась удручающая тяжесть, исчезло ощущение уходящих без радости дней! Ее наконец оценили, ею любуется красивый веселый юноша с черными южными глазами, он готов баловать ее, он в нее влюблен! Это сразу сделало ее веселой и доброй... Вечером, у Бологовских, опечаленных отъездом Олега, она с готовностью помогала Асе и мадам в их хозяйственных делах, весело играла с ребенком, то и дело заглядывая в глубь своего сознания, где сверкала радостная уверенность: счастье будет и у нее!

На следующий день у ворот больницы Лелю ждал автомобиль — Геня повез ее опять в кино, а оттуда в ресторан ужинать. Выходя уже около двенадцати ночи из ресторана, он взял ее под руку и шепнул ей на ухо:

— А теперь поехали ко мне. Согласны, Леночка?

Она остановилась, точно ее хлестнули бичом.

— К вам? Нет, Геня, я не поеду,— и вырвала у него руку.

— Почему, Леночка? Мне казалось, мы друг друга любим... Разве нет?

Она молчала.

— Леночка, от жизни надо брать все, что может сделать человека счастливым. Вы ведь отлично видите, что я от вас без ума.

Фраза эта приятно щекотала ей слух, но она все-таки молчала.

— Вы меня не любите, Леночка? — допытывался он.

— Геня, я к вам не поеду. А сказать «люблю» для меня не так просто.

Они выжидательно глядели друг на друга; пауза была очень напряженная.

— Вы еще никогда не любили, Леночка? Вы... простите меня... вы девушка?

Ей осталось только спрятать запылавшие щеки в меховой воротник.

А все-таки он безмерно дерзок!

Геня хмурился, что-то взвешивая. Наконец произнес:

— Простите меня, Леночка. Лисичка, не сердитесь на серого волка. Поедемте к вам?

Она облегченно и радостно вздохнула и в награду разрешила ему целовать себя в темноте машины.

«Теперь он наконец понял, что со мной нельзя шутить, и теперь, если заговорит о любви, то это будет уже предложение. Все-таки он милый!» — думала она, закрывая глаза под его поцелуями.

Последующая неделя была вся полна встреч и веселого оживления. Геня не стеснялся в средствах: кино, театры, такси, конфеты, ужины в ресторане сыпались на нее, как из рога изобилия.

В один вечер, сидя рядом с Геней в партере Александринского театра, с коробкой конфет на коленях, Леля, обводя глазами ряды кресел, внезапно вздрогнула: на нее пристально смотрели холодные, злые, зеленовато-серые глаза. Сердце ее тотчас забилось. «Зачем *он* здесь? Господи, куда бы мне только уйти от этого взгляда?» Она постаралась принять равнодушный вид и предложила Гене выйти в фойе. Звонок заставил их почти тотчас вернуться в зрительный зал.

— Вы знакомы с этим товарищем, Леночка? — спросил Геня, едва лишь они уселись.

— С кем? — прошептала она, хотя заранее была уверена в ответе.

— С тем, что стоит у прохода в пятом ряду. Взгляните, как он смотрит на нас.

Леля, однако, обернуться не захотела.

— Я его не знаю,— сказала она.

— А мне его лицо как будто знакомо,— продолжал Геня.— Но не могу вспомнить, где я встречался с ним. По-видимому, он размышляет над тем же, если так внимательно изучает меня и вас. Вероятней всего, встречались по служебным делам...

— Геня, скажите, где вы служите? Я давно хотела у вас спросить.

— В цензурном комитете, в реперткоме, точнее. Поэтому-то у меня и пропуска во все театры.

— Как? Вы — цензор, Геня?

— Это вам не нравится, Леночка?

— Цензура так уродует произведения. Мне всякий цензор напоминает сейчас же Бенкендорфа,— смущенно пробормотала Леля.

— И тем не менее ваш самый преданный друг — новый Бенкендорф! — засмеялся Геня.— В нашей работе есть очень большие преимущества, Леночка: мы в курсе всех новинок кино, театра, литературы. Цензор все видит первым. Вот подождите, будете вместе со мной ходить на просмотры фильмов и пьес, так сами войдете во вкус нашей работы. Конечно, приходится иногда кое-что перечеркивать, руководствуясь инструкциями свыше... Цензор — человек подначальный, как и всякий другой... Тут уж ничего не поделаешь! Сколько могу, стараюсь быть мягче, даже попадает иногда! — и он добродушно засмеялся.

В антракте Геня ушел в курительную комнату, покинув Лелю в коридоре бенуара. Она подошла к одному из больших стенных зеркал и, разглядывая, хорошо ли лежат ее кудри, вдруг увидела позади себя отражение все того же холодного, злого лица, которое проплыло мимо. Она взглянула ему вслед и увидела, что он входит в курительную за Геней. Одновременно ноздрей ее коснулся запах, напоминающий минуты в кабинете № 13,— духи, которыми душился следователь, и примешивающийся к ним запах серы.

Он весь — как нечистый дух! «Элладой» хочет заглушить свой естественный запах, чтобы не выдать родство с нечистым.

Леле показалось, что Геня вернулся к ней чем-то озабоченный: он несколько раз хмурился и уже не шутил. Прощаясь с ней, он сказал, что не может быть у нее завтра утром, хотя они только что перед тем условились, что он повезет ее завтракать к Квисисану. Расспрашивать она не решилась, но стало как-то неспокойно. Всю ночь она раздумывала над впечатлениями этого вечера, чувствуя, как тяжело и неспокойно замирает ее сердце. Тут было несколько больных точек: цензура, да еще советская! Леля знала, как издевались над ней все ее близкие и до каких нелепостей она доходит! Второе — следователь видел ее с молодым человеком: теперь он может взять под обстрел ее отношения с Геней и начнет допрашивать о нем... И третье: отчего Геня так изменился к концу вечера, так коротко и сухо простился с ней и отменил встречу? Может быть, обиделся за «Бенкендорфа»?

Следующий день тянулся убийственно медленно. Вернувшись с работы вся наэлектризованная, она весь вечер ждала его, но он не шел! Несколько раз она подбегала к дверям и смотрела в замочную скважину на лестницу — напрасно! Начали осаждать тревожные мысли: непрочное здание рушится и счастье уходит, счастье, которого она так упорно и долго ждала! Неужели из-за одной неудачной фразы? Да пропади вся эта политика и вся эта семейная вражда к новым установкам! Ну, цензор так цензор! Ведь цензор — не следователь! Может быть, и в цензуру-то Геня пошел только затем, чтобы иметь дело с искусством, а не с канцеляриями и новостройками. Важно одно — он ее любит! Пусть бы только пришел, а уж она сумеет опять повернуть к себе его сердце, она не уступит так легко свое счастье!

Ночь тянулась так же медленно, запомнились часы, которые отбивали удар за ударом, отсчитывая такты ее мучительным думам. Эта ночь кончилась наконец, но легче не стало. Она чувствовала, что мать тревожно наблюдает ее, и необходимость притворяться раздражала ее настолько, что она с трудом удерживалась от резкого слова. Она боялась подумать, что будет, если он не придет,— боялась пустоты предстоящего вечера и дум новой бессонной ночи. Несколько раз она пряталась промеж дверей, чтобы опять смотреть в щелку, но время шло, а его все не было! В полвторого предстояло обедать и собираться на работу. Она нырнула снова в темную щель входных дверей к замочной скважине, откуда ей в лицо тянулась струя холодного воздуха. Картина та же, что вчера: скованная холодная тишина лестничных клеток, нарушаемая стуком дверей. Она уже приноровилась разбираться в этих стуках: вот захлопывается чья-то дверь и слышны шаги вниз — этот звук ее не интересует; вот он повторяется снова. А вот звук более отдаленный и подающий надежду — звук захлопываемой внизу лестничной входной двери и шаги наверх — все внимание ее мобилизуется; если бы она была собачкой, то навострила бы ушки; а сердце опять отбивает дробь. Услышанные шаги во втором этаже затихли и кто-то открывает ключом дверь... и снова тишина — строгая, равнодушная и такая же холодная, как струйка воздуха, которая тянется через щелку ей в лицо. Опять стук двери, два разговаривающих голоса и шаги вниз — не то! А вот и шаги наверх, послышавшиеся вдруг очень близко (они были сначала заглушены голосами), но это не его шаги — это шаги тяжелые, медленные, сопровождаемые усиленным дыханием: это идет кто-то страдающий одышкой, кто-то старый. Вот они останавливаются. Слышно, как бьют часы — уже час. Скоро мать позовет обедать, а потом на работу... Господи, Господи, он не придет! За что Бог наказывает ее, за что? «Знаю: брата я не ненавидела и сестры не предала» — эти строчки Ахматовой как раз к ней! Она опять нагибается к щелке и вдруг слышит удар захлопывающейся лестничной двери и шаги наверх — шаги быстрые, молодые... кто-то взбегает через ступеньку, ближе... ближе... Страшно верить: а ну как шаги опять остановятся на полпути? Но шаги не останавливаются, и вот она уже видит в щелку очертание кожаной куртки... Господи, какое счастье! Она только что хочет покинуть свой наблюдательный пункт, как замечает, что Геня останавливается и, опираясь о перила, словно раздумывает: войти или не войти? Минута, другая, третья... Геня не идет звонить — почему? Открыть самой — значит выдать себя, а отойти — риск: ведь он колеблется, вдруг он не войдет?

— Стригунчик, обедать! — раздается так хорошо знакомый, ненужный и досадный оклик матери. Она не отвечает и снова нагибается к щелке: Геня стоит по-прежнему! Нет, это нельзя так оставить — будь что будет! И она распахивает дверь.

— Геня, вы? Здравствуйте! Отчего вы не идете, а стоите здесь?

Он берет ее руку:

— Здравствуйте, Леночка. Я только-только поднялся, а вы тут как тут! Как всегда, приятно взглянуть на вас!

Они входят в комнату, и каждый ловит на другом внимательный и как будто настороженный взгляд.

— Геня, вы не оскорбились ли, что я вас сравнила с Бенкендорфом? Я упрекала себя за эту фразу.

— Нет, нет, Леночка, что вы! Вчера утром я оказался занят, а вечером голова разболелась — только и всего.

Но ей почему-то кажется, что головная боль — только предлог и что он не захотел сказать правду. Однако допрашивать она не решается.

Геня лихо доставил ее в такси на работу и все продолжение пути кормил ее шоколадными конфетами, доставая их из коробки и поднося к ее губам в промежутках между поцелуями. Для разговоров, таким образом, времени не оставалось. Решено было, что к окончанию работы он заедет за ней и они проведут вечер вместе.

В этот вечер впервые был затронут вопрос о ее происхождении.

— Кто этот старый человек в таком странном одеянии, Леночка?— спросил Геня, указывая на одну из фотографий в комнате Нелидовых.

— Дедушка, он был сенатор. Это камергерский мундир.

— Ого! — сказал Геня.— У вас от этого не бывают неприятности?

— Да, Геня, от вас не скрою: мы с мамой очень много бедствовали, иначе я не работала бы в тюремной больнице. Вы — советский человек, Геня, и тем не менее, наверно, согласитесь, что преследовать меня за моих предков — несправедливо, я ведь тут ни в чем не виновата.

— Ну, разумеется. Это обычный наш перегиб палки. У вас, кроме матери, есть еще родные, Леночка?

— Нет, родных нет.

— Как? Никого? — почему-то удивился он.

— Только двоюродная сестра,— сказала Леля.

— Вот как! Она живет одна, или...

— С бабушкой и с мужем...

— Эта бабушка тоже, наверно, аристократка?

— Бологовская, вдова генерал-адъютанта.

Выслушивая эти спокойные простые ответы, он несколько раз бросал на нее быстрый и как будто удивленный взгляд.

— Ваша мамаша, наверно, ко мне не очень благоволит — я человек другого круга.

— У нас нет теперь нашего круга, Геня: nous sommes déclassés[4], как сказали бы французы. Притом, дворянскому кругу приписывают теперь множество таких недостатков, которых на самом деле не было. Например, зазнайство считалось в нашей среде дурным тоном, присущим только выскочкам. В детстве за нами очень строго следили, чтобы мы были вежливы и приветливы с прислугой, вообще с окружающими. Когда я теперь наблюдаю надменные мины, с которыми молодые врачи проходят мимо младшего персонала, я невольно думаю: вот бы им поучиться вежливости у мамы или у Натальи Павловны.

— Да, да,— пробормотал он несколько озадаченно.— Так вы полагаете, что Зинаида Глебовна...— и оборвал фразу. Леля мысленно закончила ее за него: «не была бы против нашего брака»,— и румянец залил ее щеки. Понимая, что ответ ее должен быть в высшей степени тактичен и ничуть не изобличать ее догадок, она сказала:

— Моя мама кротка и добра и готова любить всех, кто добр со мной,— и замерла в ожидании следующей фразы. Но он сказал совсем другое:

— А кузина ваша вышла за человека вашего круга или он новой среды? — По всей вероятности, он спрашивал это, желая точнее уяснить, как будет принят сам.

— Он не дворянин, но человек интеллигентный, как и вы. Ее он безумно любит, и это то главное, что нам в нем дорого.

— А как его фамилия?

Леле казалось, что кто-то, неосязаемо касаясь ее уха, шепчет ей: «осторожней!».

— Казаринов,— ответила она после минутной паузы.

[4] Мы выбиты из него (*франц.*).

Почему-то и он молчал несколько минут и, не продолжая этого разговора — разговора, который касался обнаженных проводов высокого напряжения,— вдруг сказал:

— А не махнуть ли нам в кино, Леночка?

— С удовольствием, Геня.

Но она не следила за кинокомедией, над которой потешался он, она думала над тем, что заставило ее солгать ему и каковы могут быть последствия?

Когда придет эта минута? Он что-то должен сделать с ней, чего она не испытала. Это будет то именно, из-за чего люди разбивают свои и чужие жизни, разоряются, стреляются, лишь бы получить «это» от человека, который начинает притягивать тебя, как магнит! Она этого ждет. Ее маленькое тело еще настолько невинно, что она не представляет себе ни одного из ощущений, которыми, наверно, сопровождается страсть. Но вся она — ожидание! Если «это» не подойдет к ней теперь — она зачахнет. Отчего так? Отчего Ася была и осталась до странности равнодушна к этой стороне жизни? И Олег, называя жену то Снегурочкой, то Мимозой, то святой Цецилией, сам подсказывает эту мысль. Для Аси с самого начала смысл, соль отношений заключалась в чем-то ином, а вот ее томит непонятное тяготение к какой-то таинственной минуте. В чем тут дело?

В один из вечеров она вернулась домой, сопровождаемая Геней, несколько раньше. Зинаиды Глебовны не оказалось дома.

— Никого? — спросил он, озираясь, и глаза его вдруг блеснули.

— Геня, не надо! Геня, что вы делаете, не смейте! Я не позволю! Геня, я не хочу! Вы обязаны повиноваться! Прочь — слышите? — и, набравшись сил, Леля оторвала его от себя, он ей показался тяжелым и мягким, как куль муки. — Это же нахальство, наконец! — воскликнула она возмущенно.

Он разозлился:

— Вы что же, всегда, что ли, будете кормить меня одними надеждами? Я не импотент, чтобы довольствоваться вашей дружбой.

Леля вспыхнула:

— Вы обязаны быть деликатным в разговоре со мной! Вы не смеете касаться... касаться... некоторых вещей... Это грубо. Я однажды уже просила вас держать себя корректно.

— Вы хотите непременно в загс прогуляться или, может быть, в церковь меня потащите?

Леля гордо вскинула голову.

— Я своей руки никому не навязываю. Вы можете уйти вовсе, Геня, и это, кажется, самое лучшее, что вам теперь остается сделать.

— Вот как — самое лучшее! Целый месяц вертелся около вас, баловал, веселил, и вдруг — скатертью дорожка, катись, голубчик!

— Похоже, что вы намерены предъявить мне счет? — надменно сказала Леля.

«Прогоню»,— подумала она и только что хотела произнести несколько очень решительных слов, которые бы окончательно разделили их, как он обхватил ее и повалил на сундук; однако же это было не насилие — он не сдавил и не зажал ее, а только ласкался, терся, как кот.

— Леночка-Леночка, милая девочка! Не гоните меня. Ну, зачем мы куражимся, друг друга задираем... Ведь все это вздор, а вот что настоящее! Приголубьте меня хоть немножечко. Ведь это самая большая радость жизни. Ведь я же на самом деле влюблен! Ведь не слепая же вы, чтобы не видеть этого!

Дверь отворилась и вошла Зинаида Глебовна. Оба вскочили. Она все-таки подоспела со своим материнским наблюдением, маленька

худенькая, она с величавым достоинством молчала в ожидании объяснения.

— До свидания,— только и сказал Геня, обходя Зинаиду Глебовну. Но в передней, уже у самого порога, он остановился.— Вам будет от нее головомойка, Леночка? — конфиденциально осведомился он и, прежде чем Леля собралась ответить, прибавил: — Видно, и в самом деле без экскурсии в загс нам не обойтись. Пока.

Вот она и получила предложение в новом вкусе: без коленопреклонений, без клятв в верности, без объяснений с матерью! В теории рыцарство казалось скучным, а вот на практике получалось, что без налета романтики выходит чересчур грубо, и притом она не застрахована ни от обиды, ни от оскорбления! «Не обойтись без экскурсии в загс» — как расценивать эту фразу: считать ее предложением или не считать? Ведь он даже не спросил ее согласия, даже не сказал, что сам желает этого... Она стояла несколько ошеломленная.

— Стригунчик, что значит эта сцена? Ответь, пожалуйста.

— Ах, мама! Я знаю все, что ты скажешь. Ну, да — мы целуемся! Что делать, если он воспитан в совсем других понятиях. Ты же видела — я его отталкивала.

— Но ты позволяешь ему больше, чем можно позволить жениху. Делал он тебе предложение? Ответь.

— Завтра я тебе скажу все точнее, мама: видишь ли, мы еще не договорились до конца. А ты не будешь против?

Зинаида Глебовна привлекла к себе дочь.

— Я хочу только твоего счастья, дитя мое драгоценное! Человек этот не нашей формации, но в какой-то мере интеллигентный. Если ты его любишь, я препятствовать не буду, хотя уже теперь вижу, что ни уважения, ни внимания мне от него не дождаться, с тобой же он слишком смел... Стригунчик, будь осторожна!

Леля обхватила шею матери.

— Мама, мамочка! Несчастливые мы с тобой!

— Стригунчик, девочка моя, неужели он так тебе нравится?

— Нравится, мама. Иногда я, досадуя на него, и злюсь я в то же время знаю, что без него затоскую. Да, мама: я хочу, чтобы он стал моим женихом; я уверена, что будет очень много шероховатостей, но пустоту моей жизни я больше выносить не могу.

Утром появился Геня в коричневых полуботинках и парадном галстуке, со свертками под мышкой.

— Вот вам в подарок туфельки, Леночка,— я заметил, что с обувью у вас не совсем благополучно. А вот здесь — перчатки. Я выбирал самые лучшие в нашем распреде. Померьте, не велики ли? У вас лапки, скажу вам, как у мышонка.

Леля смотрела ему в лицо, и в глазах ее был вопрос.

— Эти подарки... Не знаю, Геня, по какому праву вы делаете их?

— Да разве мы не жених и невеста, Леночка?

— А вы разве спрашивали меня, Геня, желаю ли я стать вашей невестой?

— А разве мои глаза и поцелуи не спрашивали вас об этом? Разве вы откажете мне быть моей женой? Не мучайте, лисичка, своего серого! Неужто откажете?

— Не откажу...— прошептала Леля, краснея.

— Как жениху — поцелуй, а едемте завтракать в «Европейскую». Вспрыснем наше жениховство бутылкой шампанского.

— Подождите, Геня! Вы неисправимы! Надо ведь маме сказать... Возьмемте с собой и мамочку.

— А вдвоем разве не веселее, Леночка? Матери — тяжелая артиллерия. Вы уж лучше сами скажите ей потом, вечером. Объясните, что комната у меня есть, и очень хорошая, и что зарабатываю я доста-

точно. Служить вам не придется. Каждое лето буду катать вас на Кавказ и в Крым. Вы у меня поправитесь и расцветете!

— Для моей матери ваше материальное положение не играет роли, Геня,— сказала Леля гордо.

— Ну, и прекрасно, коли так, Леночка! Примеряйте же подарки, и — едем!

Его добродушие и веселость, казалось, разбивали все укрепления, но перевести его в серьезный тон никак не удавалось, и опять ей чего-то не хватало: не хватало бережности и нежности, ну, хоть двух-трех слов о том, что без нее для него нет счастья в жизни и что он еще никого не любил так, как ее! Она раздумывала над этим за столом в ресторане, и радость перемешивалась с разочарованием.

Она взглянула на Геню — он уже сделал заказ и в эту минуту задумался, оперев на руку нахмуренный лоб. Ей бросилась в глаза озабоченность его лица... Чем мог быть обеспокоен в такой день этот эпикуреец в советском вкусе?

— Геня, о чем вы задумались?

Он встрепенулся.

— Леночка, ну, отчего это так часто портит нам счастливые минуты какая-нибудь, прямо скажем, пакость? Завелся же такой порядок в нашей жизни!

— У вас неприятности, Геня?

— Прицепилась одна с некоторых пор. Ну, да я не унываю — выкручусь! Вот несут наш заказ: ваши любимые взбитые сливки.

— Эта неприятность имеет отношение к нашей свадьбе, Геня?

— Нет, нет! Ни малейшего. Служебное.

У нее на языке вертелось: «Я всегда готова буду разделить каждое ваше огорчение, вы во мне найдете друга!» Но не решилась произнести этих слов, боясь показаться навязчивой или любопытной.

— Когда же пойдем к вашей кузине, Леночка? Надо ведь познакомиться с будущей родней,— сказал вдруг Геня.

Леля удивилась: Геня готов сделать родственные визиты, Геня, который двух слов не захотел сказать с ее матерью!

— Рада буду повести вас в этот дом, Геня, там родные мне люди.

— Так почему же вы оттягиваете этот визит, Леночка?

— Что вы, Геня! У меня и в мыслях этого нет! Но поймите, что вести вас к Наталье Павловне прежде, чем вы стали моим официальным женихом, я не могла: представить вас, говоря «это мой мальчик», немыслимо в этом доме.

— Ах, да: ведь там сиятельнейшие аристократки! — сказал он.

Леля молчала.

— А впрочем, муж вашей кузины, если я правильно понял, такой же выходец из низов, как и я: мой отец в молодости был типографским рабочим, он — старый партиец, подпольщик, с тех пор он, правда, успел окончить высшую партийную школу и теперь на руководящей партийной работе в Киеве. А кто родители этого Казаринова?

Странно, что Олег его так особенно интересует!

— Сегодня же вечером я забегу к Наталье Павловне и спрошу ее, когда ей удобно будет нас принять.

Он удовлетворенно кивнул и начал рассказывать сцену из «Золотого теленка», ту, где Бендер и Балаганов выдают себя за сыновей лейтенанта Шмидта. Это произведение он втайне почитал за шедевр мировой литературы, хоть и не решился бы вслух признаться в этом, опасаясь обвинений в дурном вкусе со стороны Лели и в недостаточной лояльности со стороны товарищей.

На службе Лелю в этот день не оставляло ощущение перемены — новой пламенной переполненности, приближавшейся к ней на смену прежнему прозябанию. Но сквозь все эти ощущения, и наперекор им, в сознании ее несколько раз назойливо проплывало воспоминание о

Вячеславе и его предложении, в котором под самой простой формой заключалось отношение по существу рыцарское: раньше, чем искать наслаждений — хотя бы самых беглых, таких, как пожатия рук и поцелуи,— этот юноша обещал оберегать ее и заботиться о ней, а представитель советской золотой молодежи имел в центре прежде всего себя самого! Она не могла не заметить этого различия.

Глава тридцать вторая

«Леди» — таково было прозвище манекена, торчавшего в углу диванной. Олегу пришла блестящая мысль выпилить в этой «леди» дупло и начинить ее тем компрометирующим материалом, который становилось все опаснее и опаснее держать дома. Это были кресты и ордена, визитные карточки и пригласительные билеты к «его» или «ее» превосходительству, а также метрики и фотографии, на которых перемешивались преображенские, семеновские и кавалергардские имена и мундиры. Наталья Павловна, несмотря на все уговоры, не желала предать все это огню. «После моей смерти вы можете сжечь все, и пусть это будет тризна по вашей бабушке, но пока я жива — я не разрешаю. Гепеу все равно отлично известно, кто я»,— говорила она.

У Аси была своя «опасная» драгоценность: подаренная ей Ниной, уцелевшая в альбомах фотокарточка Олега мальчиком в форме пажа; на карточке этой имелась надпись: «Олег в день поступления в Пажеский корпус». Ася очень любила эту фотографию и держала ее некоторое время в своей комнате на камине, пока Олег не убедил ее, что это слишком рискованно. С полгода затем карточка пролежала засунутой за картину, и наконец было решено передать ее вместе с другими реликвиями на сохранение «леди». Конспирация была настолько оригинальна, что догадка, казалось, могла возникнуть, только если бы агентам гепеу пришла неожиданная фантазия перевернуть несчастную «леди» вниз головой и увидеть при этом следы хирургического вмешательства, а это было маловероятно.

Сразу после завтрака Олег заперся в диванной, вооружившись инструментами, рядом на ломберном столе уже был нагроможден весь тот багаж, который должен был заполнить внутренность манекена, коечто было добавлено Ниной, посвященной в замыслы Олега.

В этот день, когда все общество собралось к обеду, Наталья Павловна сказала:

— Сообщу вам приятную новость, я ее приберегла к тому моменту, когда мы соберемся все вместе: Леля выходит замуж и сегодня вечером будет у нас со своим женихом.

Мадам рассыпалась радостными восклицаниями, Ася лукаво улыбнулась, говоря: «Я это знаю!», Олег задал несколько конкретных вопросов. Однако Наталья Павловна никаких подробностей касательно личности жениха сообщить не могла: Леля забегала только на минуту, сияющая, попросила разрешения явиться и так же быстро убежала. Строго говоря, Наталья Павловна уже имела основания относиться с предубеждением к Лелиному жениху: за несколько дней перед тем Зинаида Глебовна со слезами говорила ей, что Стригунчик явно благоволит к новому поклоннику и дело клонится к браку, а между тем юноша из партийной среды и воспитан очень поверхностно. Но поскольку сведения эти сообщены были под секретом, Наталья Павловна никогда не позволила бы себе пролить на них свет. В течение всего обеда разговор вертелся вокруг замечательного события. Уходя работать в диванную, Олег сказал:

— Я, разумеется, предпочел бы увидеть в этой роли Валентина. Помни, Ася, будь осторожна в разговорах, а сюда входить не приглашай.

Молодая пара явилась в девять часов, сопровождаемая Зинаидой

Глебовной. Леля в своем единственном более или менее нарядном платье и новых туфлях показалась всем очень хорошенькой и оживленной, с порозовевшими щечками. Геня, подвергнутый предварительной обработке со стороны Лели, снизошел до того, что, здороваясь, поцеловал руку Наталье Павловне. Таким образом, первые минуты прошли вполне благополучно.

— Поздравляю тебя, крошка! Рада твоему счастью! — говорила Наталья Павловна со своей неподражаемой величавой осанкой grande-dame, целуя Лелю в лоб. — Садитесь, рассказывайте, когда же свадьба?

Желая благополучно миновать вопрос о церковном венчании, Леля поспешила прощебетать, что дата еще не установлена.

— Где вы служите? — спросила Наталья Павловна Геню, и тот, нимало не смущаясь, выложил ей свой цензурный комитет. Наталья Павловна выронила лорнет из горного хрусталя, и он повис на цепочке. Леля завертелась на стуле, но Олег спас положение тем, что перенес разговор на театральный репертуар, и Леля уцепилась за него, как за якорь спасения. Ася предложила выступить с пением. В репертуаре был романс Гретри, который исполняла Леля, и Ася хотела предоставить сестре возможность показать свой голос.

Леля в самом деле хорошо спела в этот вечер — слова отвечали ее настроению.

Il me dit: je vous aime.
Et je sens malgré moi,
Je sens mon coeur, qui bat,
Qui bat, je n'en sais pas pourquoi! [5]

Наталья Павловна и Зинаида Глебовна смотрели на нее с дивана.

— Наши девочки такие талантливые и тонкие! Они как тепличные цветы! Эта грубая жизнь сомнет их,— шептала, вытирая глаза, Зинаида Глебовна.

— Не споете ли вы теперь Дунаевского? — спросил тут Геня.

Из Дунаевского Леля ничего не знала. Зинаида Глебовна улучила минуту и шепнула Наталье Павловне:

— Хам, хам! Что ему среди нас делать? Обратили ли вы внимание на его манеру обращения со мной? Я не выношу эту манеру.

Наталья Павловна соглашалась величественным и печальным кивком головы. Геня внимательнейшим образом рассматривал интерьер комнаты.

В этот день была продана и уже вынесена из гостиной большая хрустальная люстра, опускавшаяся из плодового букета, вылепленного на потолке. Это существенно изменило вид гостиной, и все-таки комната со своим красным деревом и фарфоровыми свечами в бронзе имела еще очень изысканный облик, а дамы на старинном диване дополняли картину.

— Я искала цветов, но магазины пусты. Я мечтала тебе поднести букет пурпурной гвоздики,— сказала Ася.

— Что? Гвоздики? Почему именно гвоздики? — воскликнула Леля.

— Невестам не подносят пурпурных цветов, а только белые,— внесла внушительную поправку Наталья Павловна.

— Но почему же гвоздики? — не успокаивалась Леля.

— Да ведь ты же всегда их любила! Что с тобой, Леля? На что ты обиделась?

Хорошенькие губы Лели дрожали.

---

[5] Он говорит мне: я вас люблю.
А я чувствую — вопреки моей воле,
Я чувствую, как бьется мое сердце,
А почему оно бьется — не знаю! (*франц.*).

— А теперь я эти цветы ненавижу! Запомни!

Стол был уже сервирован, когда мадам обнаружила отсутствие чая в серебряной массивной чайнице и стала взывать к молодежи, чтобы кто-нибудь пощадил ее старые кости и сбегал в магазин. Олег с готовностью поднялся и вышел, забрав с собой пуделицу. Леля начала ловить Славчика, который с радостным визгом бегал по гостиной; увертываясь, ребенок выскочил в диванную, Леля за ним. Геня, тяготившийся чопорными фразами Натальи Павловны, сорвался с кресла и бесцеремонно последовал за невестой.

— Что это у вас? — спросила удивленная Леля и остановилась перед перевернутым манекеном, окруженным опилками. (Случайно ее еще не успели посвятить в тайну.)

— Похоже, что вы, товарищи, конспирацией тут занимаетесь? — добродушно засмеялся Геня.

— Из-за бабушки, — с ноткой жалобы в голосе ответила Ася, — бабушка не хочет расставаться с семейным архивом. Она ничего не скрывает — и в гепеу, и в райсовете отлично знают, что она вдова генерал-адъютанта, однако же могут сказать: зачем мы бережем такие вещи? Вот мы и порешили лучше спрятать.

— Ух, какая девочка чу́дная, и бант огромный — сейчас улетит, как бабочка! — сказал Геня, беря в руки одну из карточек.— Это уж не вы ли? — прибавил он, обращаясь к Асе.

— Да, я на коленях у папы,— ответила та.

Геня взял другую карточку, где была сфотографирована Наталья Павловна в боярском летнике и кокошнике.

— Какая странная одежда! — сказал он.

— Придворная форма,— пояснила Леля.

— Бабушка была фрейлина,— сказала Ася.

Он с любопытством взглянул на ту и на другую и взял еще одну карточку.

— А это, кажется, ваш муж? — спросил он уже с новой интонацией.

Ася, застигнутая врасплох, растерянно молчала.

— Как похож Славчик на эту карточку Олега: совсем такие же глаза,— сказала Леля.

Геня перевернул карточку и прочел надпись.

— Паж,— сказал он и начал перебирать остальные.

— Пойдемте в гостиную к бабушке,— нерешительно сказала Ася.

— А кто эти двое в подвенечном уборе? — со странным упорством продолжал Геня.

— Знакомая дама со своим женихом,— ответила Ася.

— Кавалергард,— сказала Леля, предупреждая вопрос Гени и глядя через его плечо.

— Он поразительно похож лицом на вашего мужа... отец или брат? — спросил опять Геня у Аси.

— Брат,— промямлила та, находя слишком неудобным промолчать во второй раз.

Ни Ася, ни Леля не подозревали, что на этой карточке тоже имеется надпись, но Геня перевернул, и все увидели: «На память о дне нашей свадьбы. Нина и Дмитрий Дашковы».

Геня перевел глаза на Лелю, и она вдруг вспыхнула и отвела свои, как будто в чем-то уличенная.

— Неудобно, что старшие одни в гостиной,— сказала Ася, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы Наталья Павловна не сочла невежей Геню и чтобы Олег не рассердился, увидев его перед манекеном.

— Ну, пошли, пошли. Уважимте старуху,— добродушно откликнулся Геня.

За чаем разговор то и дело приближался то к одной, то к другой

пропасти, которые удавалось благополучно миновать только благодаря стараниям Лели и Олега, с удивительной находчивостью приходившего на помощь. Радость и оживление Лели потухли с той минуты, как Геня бросил на нее свой взгляд, узнав подлинную фамилию Олега. Ей почудился упрек в этом взгляде и теперь не терпелось внести ясность в их отношения. Она не могла дождаться конца беседы за чайным столом и вздохнула свободно только когда все вышли в переднюю. Наталья Павловна произнесла несколько приятных фраз; мать, разумеется, сказала, что если они хотят пройтись пешком, пусть идут вдвоем, а она сядет в трамвай. И вот они идут рука об руку.

— А ваша кузина очень мила: прехорошенькая и так просто себя держит,— сказал Геня.

— Боже мой! Да как же иначе-то можно себя держать? Так принято, так мы приучены с детства,— возразила Леля.

Они помолчали.

— Геня,— тихо сказала она, и маленькая рука протянулась к нему,— не оскорбились ли вы? Я не собиралась хитрить с вами: я дала себе слово, что доверю вам нашу семейную тайну, чтобы вы знали, с какими людьми имеете дело. Но вчера я об этом забыла, а сегодня... не собралась с духом... Верьте, что ни я, ни Ася никогда не усомнимся в вашей порядочности.

Но он не повернулся к ней и не взял ее руку, глаза его не засветились ей навстречу, когда, прибавляя шаг и словно убегая от нее, он ответил:

— Я на доверие ваше не претендовал и не претендую, но такого пассажа, признаюсь, не ожидал. Можно было предполагать, что все это только нелепое, ни на чем не основанное подозрение...

Леля в изумлении остановилась.

— Как «предполагать»? Как «подозрение»? Да вы разве уже слышали об этом? Кто мог вам говорить?

— Никто ничего не говорил. Я сам сделал некоторые выводы... Бросимте этот разговор.

Наступило молчание.

— Отчего у меня вдруг так заныло сердце! — Леля вновь остановилась, и слезы зазвенели в ее голосе.

— Стоит ли расстраиваться, Леночка? Какое нам, в конце концов, до этих людей дело? У нас своя жизнь.— Он взял ее под руку.— Послушайте-ка, Леночка, что я вам скажу: накануне Первого мая у нас в клубе вечер — торжественная часть, ужин, вино, танцы. Все будут с девушками, и я хотел привести свою. Поедет она со мной? Леночка-Леночка, милая девочка, ваша кузина хорошенькая, очень хорошенькая, но «изюминка»-то в вас, а не в ней. Слышали вы это выражение — «изюминка»?

Леля прижалась к его руке.

— Геня, вы меня в самом деле любите?

— Вот так вопрос! Стал бы я иначе вас приглашать? Я часа бы на вас не потратил! После дома отдыха я еще ни на одну девушку, кроме как на вас, не смотрю, да вот толку-то пока никакого.

— Как никакого, если я ваша невеста! Разве это мало?

— Вы знаете, чего я хочу.

— Почему же непременно теперь? Зачем ускорять события и напрасно терзать меня?

— Улита едет, когда-то будет?

— Почему так, Геня? Свадьбу можно сделать очень скоро, на церковном венчании я не настаиваю, хоть мне и грустно отказаться от него. Ничто не мешает нам стать мужем и женой.

Наступила минутная пауза.

— В ближайшие дни я не смогу к вам заскочить — у меня срочная командировка, а тридцатого вечером заеду, чтобы вместе отправиться на вечеринку. Идет?

— Буду ждать,— ответила Леля и не решилась повернуть разговор снова на задушевную тему, хоть и чувствовала, что не удовлетворена объяснением.

Тридцатого Геня появился у Лели в шесть часов вечера.

— Вы? — спросила она, выбегая к нему еще в домашней блузке, — я не ждала вас так рано. Я еще не готова. Мама гладит мне платье.

Он поймал ее за руку и увлек в угол.

— На вечеринку еще рано, но я приехал попросить... попросить вас заехать сначала ко мне... Я не ловелас и не обманщик! Я не стану лживо уверять, что вы уйдете такой же... как пришли. И все-таки прошу! Ведь и меня может обидеть недостаток доверия то в одном, то в другом... Или вы сейчас поедете ко мне, или пусть все между нами кончено! Вот — как хотите.

— Но почему так, Геня? Не понимаю ничего!

— Не надо расспросов, Леночка! Боюсь потерять вас — довольно вам? По-видимому, родные ваши вам дороже меня!

— Мои родные тут ни при чем, а отказывать вам я не собираюсь. Объясните яснее.

— Не стану. Мне не объяснения нужны. Вот я теперь увижу вашу любовь! Ну, как?

— Вы так жестко и сухо со мной говорите!

— А вы смотрите не на тон, а на содержание слов!

— А что же... потом?

— Потом пойдем в загс — в день, который наметили, если вы ничего не измените.

Он сделал ударение на слове «вы». Она пытливо всматривалась в него, чувствуя, что он чего-то не договаривает. И опять ее охватила уверенность, что она перед несчастьем, которое стоит тут, у двери, стоит и стучит...

— Пусть это будет между нами теперь или не будет вовсе,— повторил Геня, глядя мимо нее.

Что-то трепыхалось в ее груди, как будто залетела туда и билась там испуганная птица. Она закрыла лицо руками.

— Ну, как? Едете или не едете? — приставал он.

Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унизительно. Да и что могла значить клятва для такого человека?

Она помедлила еще минуту.

— Я согласна, Геня... я поеду... Я верю вам... запомните это...

Он крепко сжал ее руку.

— Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в шесть. Бегите, я подожду.

Когда Леля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами:

— Ну, Христос с тобой, моя детка. Повеселись, потанцуй, а я не лягу — буду тебя поджидать.

Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не броситься матери на шею.

Все совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения — без них все приняло оттенок падения, которое она смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дождаться хотя бы загса? Непонятный каприз омрачил ее неповторимые минуты и поставил ее в зависимость... А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь». А Геня не понимает всего, чем полна ее душа. Ах, эта неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он... не в первый раз! Самого слабого оттенка смущения, растерянности или робости не промелькнуло в нем, хотя он только тремя годами старше ее. В горле у нее стоит комок, и только усилием воли она подавляет желание расплакаться.

В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен пройденной в детстве школе воспитания.

Как часто в воображении она рисовала себе балы: много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, исступленные завывания джаза, «шумит ночной Марсель», дамы в эксцентричных туалетах и красивые, смелые мужчины — весь этот угар оживлял в ней глубоко скрытый темперамент.

Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали; этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать «faux pas»[6], вся официальность — должны были, казалось ей, наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и pas de quatre[7], несмотря на всю изысканность среды и обстановки.

Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распущенность; здесь слишком остро не хватало изящества Мужчины уж слишком мало были похожи на салонных львов. Женщины — расфуфыренные и развязные жирные еврейки из nouveaux riche'ek[8] и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки сжатыми в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех ярко размалеваны, безвкусица в одежде, ублюжество манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков — все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось!

Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей:

— Моя Леночка лучше всех.

А в общем. был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах.

Пришлось встать, когда пили за товарища Сталина.

С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга, а Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста!

Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпивала непременно до дна, и это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его:

— Геня, не пейте больше! Геня, довольно! — И обрадовалась, когда начались танцы.

Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где

---

[6] Бестактность (*франц.*).
[7] Падекатры (*франц.*).
[8] Нуворишек, то есть новых богатеек (*франц.*); здесь французское слово получило русское окончание и слегка изменило смысл — «ну, воришки».

опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а наливая ей вино, почти обнял ее.

— Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой,— сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом.— Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян.

Он, разумеется, стал уверять, что не пьян, совсем не пьян.

Не было вальса с веселыми выкриками «A une colonne!» [9] и «Valse générale!» [10]. Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, которое ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только тустеп и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону.

— Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку,— услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку.

— Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, — сдерживая негодование, ответила Леля и уцепилась за Геню.

— Что вы, Леночка, мы тут все знакомы! Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой.

— Нет, Геня. Я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама, а вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра. — И так как завхоз уже ретировался, прибавила: — Я не желаю танцевать с подобным типом: он едва на ногах держится, разве вы не видите? Нет, Геня: вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет.

Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгальтером, так они были миниатюрны.

— Геня, Геня, qu'est-ce que vous faites! Ça ne va pas! [11] — прошептала она, забывая, что он не понимает по-французски, и отстраняя его; но он сжал ее еще сильнее.

— Вы только не вздумайте прогонять меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось,— бормотал он заплетающимся языком.

— Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим.

— Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка... вчера... у меня был неприятный день... Мне это тяжело, честное ленинское! Уж этот мне Шерлок Холмс! Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем? Я вообще-то, честно, люблю вас... Вы — милашка такая! Только зря вы мне вашего пажа подставили...

— Что? Что?! — в ужасе вскрикнула Леля.

— А вы обещайте, что не разлюбите! — продолжал бормотать Геня. — Ну да, может быть, они не узнают... Я вас спрашиваю: где тут моя вина? Я сам пострадавший — помешали моему счастью с девушкой... Я вас спрашиваю... У меня любовь, а они лезут — Дашкова им подавай...

Геня совсем раскис и, свернувшись клубком, соскользнул, словно куль, к ее ногам.

Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лели.

— Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем размокропогодился! Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?

Но Леля, вся заледенев, не понимала, о чем он говорит.

---

[9] «В одну колонну!» (*франц.*).
[10] «Танцуют все!» (*франц.*).
[11] Что вы делаете! Не нужно! (*франц.*).

— Господи, Господи! Что же это! — повторяла она, хватаясь за голову.

— Да ничего, протрезвится! А вот кто мне теперь платить будет? Есть у вас деньги, девушка?

Сообразив наконец, о чем говорит шофер, Леля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она назвала адрес Гени, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони.

— Боже! Боже! — слетало с ее холодных губ.

Глава тридцать третья

Накануне первого мая, сразу после работы — утренняя смена кончалась в три часа, Олег помчался на вокзал, в восторге от мысли, что может пронести дома двое с половиной суток. Он и Маркиза взял с собой.

В Ленинграде, выскочив с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному.

Но дома было безрадостно — вчера Наталью Павловну вызвали в часть и взяли подписку о невыезде, а это значило, что со дня на день следовало ожидать ссылки.

Олег возмутился:

— Какая жестокость! Человеку скоро семьдесят! Вот нелюди!

Ася плакала, и Олегу даже пришлось строго поговорить с ней, чтобы как-то воззвать к ее мужеству.

Приложившись к ручкам Натальи Павловны и француженки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но натолкнулся там на Асю: она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой.

— Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку... Ася, да ты опять плачешь!

— Я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной, я вдруг увидела наше бессилие: удар — выпрямимся, залижем раны, снова удар... опять из последних сил наладим жизнь, и снова... Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время, ты, может быть, разлюбил меня?

— Что ты! Что ты, родная! Никогда еще я не любил тебя так, как теперь! Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго — только и всего! Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же! — Но она закрыла лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега — это пудель протискивался к своей хозяйке, большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменила положения.

— Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем, теперь все горе, все. Мне жалко нас всех, мне жалко самое себя... — шептала она сквозь слезы.

— Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладу, скажи нам.— Она молчала, глядя в пол; нахмурившись, он молча всматривался в нее...— Кажется, я догадываюсь... Я правильно догадываюсь? — и взял ее руку.

Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила, на щеках остановились две крупные слезинки.

— Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю... И все-таки: неужели мы с тобой будем

считать это несчастьем? Слезы-то, слезы, какие соленые, горькие, вкусные...— Он целовал ее мокрые щеки.— Ага, улыбнулась! Твоя улыбка — как радуга после дождя. Ася, послушай: а что если там девочка — дочка?

Она, все еще всхлипывая, прижалась к его груди.

— Так ты рад! А я ведь не решалась тебе сказать — я еще никому не говорила.

— С каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты — моя святая! Пусть мы бедствуем, и все-таки не будем унывать, Ася, пусть, наперекор всему, новый ребенок будет счастьем для нас!

После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за семидесятилетнюю больную вдову; Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет: Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна.

— У меня только «минус» — к Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе,— говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась.

Часов около восьми вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге.

— Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину,— говорил он.

Ася подняла голову:

— Я этого не посылала — у тебя воображение разыгрывается.

— Как же не посылала? А помнишь — через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?

— Через Елочку я не передавала ничего!

Они с удивлением переглянулись.

— Елочка, стало быть, захотела нам помочь! — сказала Ася.— Это так на нее похоже: подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья! — И, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос: — Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер, он погиб от репрессии красных, а она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого, она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорит о нем; он подарил ей раз духи «Пармскую фиалку», и она до сих пор бережет, как самую большую драгоценность, этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаясь ее надушить.

Олег вдруг взял ее руку:

— Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн.— Он быстро встал.— Пойду выкурю папиросу.

Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю.

Итак, она любила его! Любила и, кажется, любит, эта замкнутая молчаливая девушка! Сколько выдержки, сколько такта!

Перед ним вереницами закружились образы... Вот она — юная, девятнадцатилетняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку... Эта крымская трагедия, на фоне

которой выступала она и ее незамеченная, неоцененная любовь, была залита кровью... Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться,— агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе...

Он нахмурился и, потушив папиросу, вернулся в спальню.

Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку.

— Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет,— сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям.— Тучка проходящая... вот уже радуга — посмотри! Что если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался Светлый Дух, но не грозный Архангел с трубой, призывающий на Суд, а другой, весь исполненный любви! И пусть бы его увидели одинаково и праведные и неправедные, и верующие и атеисты; может быть, тогда люди покаялись и все зло кануло в вечность... Как ты думаешь?

Но он думал совсем о другом и сказал:

— Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне? Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем ей хоть букет цветов.

Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку.

На улицах пахло распускающимися тополями, душистые липкие ветки которых продавали на каждом углу, запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым последним счастливым вечером.

К одиннадцати они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель.

— Когда ты с нами, я ничего не боюсь, я опять счастлива! — лепетала она, опускаясь на подушку. — Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком.

— А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в память моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант: так одевали когда-то мою сестренку.

Она блаженно улыбалась:

— Спасибо, милый! — и глубокая нежность зазвенела в ее голосе.— Я виновата, я сама вижу, что стала слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь — я везде вижу только боль и горе!

— Ты — святая,— сказал он,— если вечная жизнь существует, мы с тобой и не встретимся: я — нераскаянный грешник, а ты...

Ася открыла глаза.

— Молчи! Не смей так говорить. Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что, умирая, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, Свят, Свят еси, Боже»! Мне иногда уже мерещится... Наверное, очень большая дерзость думать так!

И опять закрыла глаза...

«Тебе мерещится это,— подумал он,— а мне только узкоглазый киргиз, который метится в мое сердце».

Он смотрел на то, как засыпает Ася, и думал: что если она, жалеющая всякую тварь — собак, кошек, голубей, узнала бы, как он отдал приказ расстрелять восьмерых человек? Разлюбила бы она его?

Он вдруг с небывалой силой в душе своей раскаялся во всем дурном, что жизнь заставила его сделать. Доселе он и не думал о тех восьмерых большевистских нелюдях, убийцах и грабителях, которых расстреляли по его приказу. А теперь вдруг всплыло. И всплыло как грех. Да, он не мог поступить иначе, но горе ему, что судьба распорядилась казнить их его рукою.

Этому раскаянию отчасти предшествовало событие, разыгравшееся в Луге накануне; Олег задумал извлечь пользу из своих ежедневных скитаний по лужским лесам и привезти с собой к обеду дичь, пользуясь дружескими услугами Маркиза. Лесник, мимо избушки которого он часто проходил, одолжил ему ружье, и он отправился на охоту. У Маркиза были свои планы, и очень скоро он выгнал на поляну зайца.

«Давно не стрелял... Эх, маху дам!» — подумал Олег, прицеливаясь. Но заяц бежал странно медленно и почти не увертывался. Выстрел Олега повалил его. Приблизившись, Олег увидел издыхающую зайчиху, около которой копошились с жалобным писком только что родившиеся крошечные зайчатки — мелькали их длинные ушки и еле заметные хвостики. Олег невольно остановился; Маркиз остановился тоже и взглянул на хозяина значительным, понимающим взглядом. «Что мы с тобой наделали! Ну, и изверги же мы после этого!» — сказал, казалось, взгляд собаки. Умирающая мать оперлась о лапку и стала облизывать ближайшего детеныша... Олег отвернулся и пошел прочь.

«Вот почему она так тихо бежала, бедная! У нее уже начинались роды, а мы ее так немилосердно загоняли!» — Он вспомнил Асю беременной и тот беспомощный взгляд, который она бросила на разлившийся ручей; вспомнил ее письма о новорожденном сыне и слишком маленьких сосочках... потом вспомнил свою рану — ему тоже довелось убегать от опасности в те как раз минуты, когда было мучительно каждое движение! Денщик помогал ему встать, повторяя: «Пропали, коли не дойдем». И он с отчаянным усилием подымался, делал, шатаясь, несколько шагов и снова опускался на землю...

Бывают минуты, когда живое существо, пораженное болью или слабостью, зависит полностью от великодушия и внимания окружающих. Кто хоть раз оказался в таком положении — болезнь ли, рана ли, беременность ли,— тот не может забыть отношения к себе. В такие минуты равнодушие, небрежность или любопытство не легче жестокости. Он такую минуту пережил, но не научился милосердию!

Зайчата и убитая зайчиха переплетались теперь в его мыслях с будущим его собственных детей — ведь было какое-то страшное сходство. Желание во что бы то ни стало жить, спастись, любить — и равнодушный, бессердечный выстрел охотника...

Только тот, кто жил при большевистском терроре, понимает, что такое звонок среди ночи. От одного ожидания его устают, замучиваются и раньше времени гибнут человеческие сердца! Такой звонок — вестник несчастья, разлуки, крушения всех надежд... Счастлив тот, кто его никогда не слышал и не ожидал из ночи в ночь.

Пробило час, потом два — Дашков не мог уснуть под давлением болезненных впечатлений и лежал на спине, заложив руки за голову и напряженно глядя в окно, где по черному небу плыло странное оранжевое облако... Внезапно из передней донесся пронзительный, резкий звук, который можно бы сравнить только с трубой Архангела в Судный день! Уж не стоял ли в самом деле на том оранжевом облаке невидимый Архангел!..

Конец второй части

Продолжение следует



ПО ДОЛГУ ЧЕСТИ

(К 70-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВИКУЛОВА)

Много лет тому назад попались мне на глаза строки Сергея Викулова, которые сразу врезались в память и с тех пор не расстаются со мной как необходимая часть моих жизненных знаний:

Дом рубить посредине лета,
На виду у родных полей —
Нет, не сыщешь — пройдя полсвета,
Дела этого веселей!

В сущности, вся поэзия Викулова и есть рубка этого дома, строительство человека, деревни, государства, народа. Странно, поэт все годы писал только о деревне, о своем Белозерье, тут бы развернуться целой галерее пейзажных стихов, лирических красот, идиллических картин. Между тем в поэзии Сергея Викулова почти начисто отсутствует «пейзажность», стихи ради стихов, пресловутая сельская умиротворенность.

От первой своей книжки с характерным для поэзии военного поколения названием — «Завоеванное счастье» и до поэмы «Посев и жатва», опубликованной более года назад «Нашим современником», Сергей Викулов был верен одной теме, одной любви — своей «малой» родине, своей Отчизне, своей деревенской северной России.

Мучительно трудна судьба северной деревни, которой поэт дает разные имена — то это Березовка, то Острец, то Веселая Поляна, то Заречное, но, в сущности, под этими разными именами повествует о своей родной деревне Мегре, расположенной на речушке, впадающей в Белое озеро. Каждодневные тяготы сельского мира, люди Белозерья, такие разные и такие близкие поэту, составляют основное содержание стихов и поэм Сергея Викулова. Я не знаю в современной поэзии человека, более «ангажированного» деревенской темой. Осознание, что крестьянство — «хребтовый» класс, что от него прежде всего зависит крепость и жизнеспособность государства, помогает Сергею Викулову не превращать крестьянскую тему в этнографическую диковинку.

Сейчас, когда окидываешь весь творческий путь Сергея Викулова, прежде всего обращаешь внимание на цельность и обязательность всего его поэтического мира. По его стихам и поэмам можно составить биографию сельского человека советского времени, биографию, в которой есть и юношеская безоглядность, и молодая вера, и горькие размышления зрелости, и драмы несбывшихся ожиданий, и очарование, и разочарование, и любовь к земле, и потеря этой любви, и муки расставания с привычным миром, с «роддвой», и радость возвращения в этот мир:

Знакомые, в общем, картины,
Но сердце сжимает тоска...
Да, крепко мы всё же скрутили
За семьдесят лет мужика.

Вот итоговый вывод всей лирики Сергея Викулова.

Могут сказать — слишком печальный вывод. Но поэт не поставщик надежд, а поставщик правды, если, конечно, это истинный поэт.

В день семидесятилетия Сергея Викулова нельзя обойти вниманием и его редакторство. Викулов-поэт и Викулов-редактор настолько едины, что невозможно отделить одно от другого. Свое поэтическое кредо он положил в основу редактируемого им более двадцати лет «Нашего современника». Деревенская тема не только господствовала в журнале, — она определяла уровень оценки жизни, критерии правды и неправды в современной литературе. По прошествии лет можно с уверенностью сказать, что именно «деревенская» проза сберегла честь нашей культуры, достоинство русского художественного слова, всегда верного народной правде.

Сергею Викулову обязаны своим становлением в литературе и всемирно, и всесоюзно известные прозаики и поэты, и малоизвестные, но талантливые «деревенщики», без которых наша отечественная словесность была бы неполной. Впрочем, об этом и у нас в стране и за ее пределами знают достаточно хорошо те, кто следил за русской литературой все эти годы.

С честью Сергей Викулов выполнил долг солдата. Одной фронтовой судьбы ему хватило бы, чтоб заслужить уважение своих сограждан.

С честью Сергей Викулов выполнил долг редактора, собирателя литературных сил. Одной редакторской судьбы ему хватило бы, чтоб навсегда остаться на заглавных страницах русской культуры XX века.

С честью Сергей Викулов носил и носит звание поэта. Одной поэтической судьбы ему хватит для того, чтобы «снискать внимание соотчичей», как сказал летописец Древней Руси.

Виктор КОЧЕТКОВ.

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ



СНАЧАЛА ПРАВДА, МУЗЫКА - ПОТОМ!

Ягодное лето

...И сотворила чудо Мать-Природа,
Простив, как видно,
людям все вины.
Мой край такого ягодного года,
Пожалуй, не знавал после войны.

Сначала наливными янтарями
Рассыпалась морошка средь болот.
Да густо до чего! Бери горстями.
И брал горстями, кажется, народ.

Потом пахнула медом земляника
С лугов, с опушек солнечных
в свой срок.
Потом — опять в болотинах —
черника
Всклубилась тучей...
Люди сбились с ног.

Натешиться черникой не успели —
На вырубках малина подошла.
А с этой не помешкаешь: неделя,
Ну, две — и нет ее, и все дела...

Малиновые, сладкие, гляди-ка,
Дожди едва прошли —
черед таков —
Как дружно зафонтанила брусника
На вырубках опять же,
у пеньков...

Кого ни встретишь —
полную корзину
Счастливый прет...
А ближе к вечерку,
Как по́ ветру, все юбки
к магазину —
Узнать: не привезли ли сахарку?
Нет...
Пусто снова, как на месте лобном,
На полочках. Зажаты в кулаки
Талоны.
За пять месяцев.
И злобно
У входа бабы чешут языки.
Старушка — губы сжаты
в укоризне, —
Послушав их, пропела из угла:
— Нет, бабы, и не ждите...
Сладкой жизни
Вам не видать, она уже была.
Али забыли? То-то... —
А другая,
Как будто и не слышала, свое:
— ...Пойди, пойми:
всё Сталина ругали...
На Ленина теперь, как воронье,
Набросились... Неслыханное дело!
Горгочут:
в землю надо закопать...
А Ленин-то давно уже не тело.
А вера, это надо ж понимать!
Ее ж вбивали в голову народа
(Опять же — кто?)
Без малого сто лет:
Мол, Ленин —
это равенство, свобода,
Великий вождь и знамя всех побед!

— Заткнись, Авдотья!
Хлеба вон к обеду
Возьми — и дуй отседова! Бегом!
А то... Москва, вон, празднует
победу...
— Над кем?
— Само собою, над врагом...
На этот раз без Ленина, похоже...

— Ну вот... Ужели ты не поняла?—
Вмешался дед. —
И над тобою — тоже...
Ты в партии-то сколько лет была?
Молилась сколько лет
на Ильича-то?..
— Мои молитвы знает
скотный двор...
— Допустим...
А райком твой опечатан!
И у дверей с винтовкою — майор!
— Да ты чего? —
окрысилась на деда. —
Иль спятил? Иль объелся беленой?
Какая ж это, к лешему, победа,
Коли она, ты баешь, надо мной?
Не верю! — повернулась.
— Дайте выйти!
А продавщица:
— Бабоньки, и вы
Паняйте-ко...
Устроили тут митинг!
Как будто демократы из Москвы.
Идите с Богом!..
Коли будет сахар —
Оповещу. — А дедко от стола:
— Да ты бы нам хоть пряников,
деваха,
Которые послаще, завезла...
Макали б с чаем...
Али сахарину... —
Поднялся.
— Эх, бывалоча в войну...
Ну, нет — так нет.
Пойду сушить малину.
Печь затоплю. Обрадую жену.

...Я тоже вышел.
Люди в огородах —
Кто подбирал картошку с гряд,
кто жег
Ботву,
кто лук вязал, кто воду
Таскал для бань —
субботний был денек.
И лишь в одной избе
(видать, забыли
Нажать на кнопку) «ящик»
грохотал:
В Москве кого-то вроде хоронили,
И кто-то речь надгробную читал...

✦✦✦

Пьедесталы

О, как они отважно потрошили
Россию в те лихие времена!
И, словно что-то чувствуя,
спешили
Свои увековечить имена.

Им не было нужды
в скрижалях ржавых.
Они, в пылу отведенных им дней,
Трудились,
чтоб не только дух Державы,
Но даже память вытравить о ней.
Трудились, демонстрируя отвагу,
Народу запечатавши уста.
И вот уж церкви отданы ГУЛАГу
И взорван Храм Спасителя Христа.

И пере-име-нованы — в угоду
Гордыне их — названья городов
На радость «благодарному» народу,
Поверившему
в «братство и свободу» —
Из первых первый лозунг
тех годов.

О, как спешили, как они спешили
«За будущее светлое в борьбе»...
И памятники старые крушили
И возводили новые — себе

На красных, из гранита,
пьедесталах,
Высоких, словно башни, на века!
Чтоб, и поднявшись даже,
не достала
Народа «благодарного» рука.

Достала!
Тщетны были их усилья!
Вон, кувырнулись наземь,
погляди, —
И кто
на самом темечке России
Сидел,
и кто гнездился на груди!

\+\+\+

Сюжет шестого года перестройки

В Калуге, в своем рабочем кабинете, выстрелами в упор убит редактор областной газеты Иван Фомин.
(Из хроники)

Табличка возвещала на дверях:
«Редактор»,—что ему и было надо.
Не постучав, открыл ногою дверь
И, сделав три шага, остановился.
Редактор вскинул голову. Очки
На лоб одним движением отправил
И жестом указал на стул:
«Прошу! —
И весело добавил: — Вы с завода?
С рабочим классом рад
поговорить!»
Но гость лишь только рот скривил
в ответ
И, правою рукою под полой
Нащупав не спеша цевье обреза,
Промолвил:
«Я пришел тебя убить».
Редактор
(Что за странный человек?!)
Не вскрикнул,
не упал со стула в страхе,
Глаза — в глаза,
негромко произнес:
«Но почему же Вы со мной на «ты»?
Мы с Вами
вроде даже не знакомы...»
Оторопев на миг
от этих слов:
«Знакомы...— гость ответил.
— Я — народ.
Ты — партия. С семнадцатого года
Друг друга знаем мы. —
Подул в стволы
И, явно наслаждаясь
превосходством
Над жертвою, продолжил:
— Не слыхал?..
На главных площадях
первопрестольной
Гремит все чаще:
«Партию к суду!» —
И возражений с вашей стороны
Не слышно что-то...
Нету возражений! —
Он взвел курки.
— Не трогай телефон!
Зазря не егозись... Мой приговор
«Обжалованью...
— так как будто пишут
Советские суды — ...не подлежит!»

«Ну что же... будь по-Вашему...
Но слово,
Последнее, надеюсь я, за мной?»
Он палец снял с курка:
«Одна минута
В твоем распоряжении. Давай!»

«Благодарю... Я признаю вину.
Я понял: я виновен перед Вами,
Несчастный человек,
Виновен в том,
Что сделал
далеко не все, что мог,
Чтоб Вы, слепой с рождения,
прозрели...
Хотя, увы, я мог не так уж много...
Виновен, что не противостоял
Всем тем, кто Вас науськивал
открыто
На партию, как главного врага...
Я — жертва перестройки, но и Вы...
И Вам перед судом предстать
придется...
И — если даже Вас
не расстреляют —
Для Родины, когда она воспрянет,
Запомните: Вы будете мертвец.
И мне по-человечески Вас жалко...»
«Жалей себя!» —
И грянула картечь.

Красная площадь 7 ноября 1991 года

Ни маршей,
ни знамен,
ни транспарантов,
Как здесь бывало
в этот день с утра.
Лишь звон,
заупокойный звон курантов,
Еще такой торжественный вчера.
Да топот караула по брусчатке
От Спасской к Мавзолею Ильича;
Он шел,
бросая белые перчатки
Направо
вниз
от левого плеча.
Он шел по всем законам ритуала,
Стараясь показаться... Но кому?

...А площадь
будто что-то вспоминала,
Прислушивалась будто бы к чему.
И долетел до площади нежданно
(Вчера закрытой было на засов)
Шагов неторопливых гул державный
И шум обвальный тысяч голосов.
Накатывался он
лавиной снежной
Парадному уставу вопреки
Не слева, не от площади
Манежной,
А справа,
справа,
справа — от реки.
Не по́д гору колонна шла,
а в гору,
Своим единодушием горда,
Туда, где место лобное, туда,
Где смутно
в небе смутном в эту пору
Проглядывала красная звезда.

...Вот чуть она замедлила,
колонна,
У Покрова *, известного в Москве,
И
Минин и Пожарский
под знамена
Ее
сошли
и встали во главе!
А что ж им было делать,
коль живые
Вожди
свои не заняли места...
Трибуна госпартийная впервые
В «великий этот день» была пуста.
Ни одного рево-люци-онера
Не дождалась трибуна...
А народ,
Не глядя на запугиванья мэра
(Смешна была народу эта мера),
Пришел на площадь все-таки!
И вот,
Недоброе почуяв в этом что-то,
Он устремил на Кремль
суровый взор
И выдохнул: «Позор!» —
в сто тысяч глоток
И следом много раз еще: «Позор!»

...Кому-то вольно помнить
иль не помнить
Вот этот рев под стенами Кремля.
История ж
не может быть
не полной,
Не может быть не круглою Земля!

* Покровский храм на Красной площади известен как Храм Василия Блаженного.





ПРОЗА

ЛЕОНИД КОКОУЛИН



ЗАТЕСКИ К ДОМУ СВОЕМУ

ПОВЕСТЬ

Гриша спал в эту ночь тревожно. То и дело просыпался и, приподняв голову, вслушивался, тут ли отец, посапывает ли? И казалось, только закрыл глаза — открыл, отец уже сидит за столом, чикает ножницами, подравнивает усы. Мать хлопочет около печки. Вкусно пахнет жареным луком.

Гриша штаны, рубашку надернул, хлестко прошлепал босыми ногами по чистому холодному полу. Кинул пригоршню воды из рукомойника на один глаз, на другой, промокнул подолом рубахи — и за ичиги. Сунул ногу, а там хрусткая теплая стелька из сена.

— Ловчее, Григорий, портянку подматывай, не торопись. — Мать улыбалась, ставила на стол скворчащую сковородку. — Придвигайся, Анисим.

Отец поднялся, накинул на гвоздь ножницы, сел за стол, но есть не торопился, ждал сына.

Анисим делал все основательно: не спеша, выбирая косточки, ел рыбу, вкусно причмокивая, пил заваренный на брусничных веточках чай. Гриша, торопясь, обжигался чаем и выскочил из-за стола прежде, чем встал отец.

— Как же это вы, мужики, без лыж-то пойдете? — сокрушалась мать. — Выбухает снег, потонете. Нешуточное ведь дело...

КОКОУЛИН Леонид Леонтьевич родился в 1926 году в Сибири. По специальности гидростроитель, работал на многих стройках Крайнего Севера. Автор книг «Колымский котлован», «В ожидании счастливой встречи», «Пашни» и других. Член Союза писателей. Живет в Москве.

Анисим допил чай, поднялся, обнял ее за плечи.

— На тот случай, Евдокия, стружок беру, лыжи выстругаем, сани загнем да и сохатого впряжем. Так, что ли, сын?!

— Ну, папань? — Григорий стоял с котомкой за плечами, с ружьем, на поясе поблескивал нож, как у заправского охотника.

— Ты, мать, не провожай нас.

— Я до уголочка, — накинула платок Евдокия. — Присядем на дорожку. — Она примостилась на краешек скамейки.

Сел и Анисим. Нехотя отступил от порога и подсел к отцу Гриша. Помолчали минуту, две.

— Ну, с Богом, — Евдокия трижды перекрестила мужа, сына, поцеловала их. — Сохрани и убереги их, отче, — попросила Николая Угодника, кланяясь иконе в углу. Так неистово просила, словно провожала своих на ратное дело, а не на охоту в соседний лес.

Утренняя прохлада после жарко натопленной печи глотком свежей байкальской воды остужала. За домами, в конце улицы, слышно было, как тяжело ворочался и вздыхал Байкал. Анисим еще некоторое время постоял, похрумкивающие на легкой пороше, удалялись шаги Евдокии. Вот и они стихли. Только вздыхал по-прежнему Байкал. Быстро свернули в проулок. Анисим радовался, что никто им не закудыкал дорогу. Он был суеверен и не раз возвращался с полпути, если слышал ненавистное: «Куда собрался, Анисим?» А тут, уже на выходе из поселка к лесу, откуда ни возьмись вывернулся дед Витоха. Дом его стоял крайним, дальше заступал лес, и к нему вела набитая конем дорога.

— Ты пошто, Анишим Шмолянинов, мечашша, — окликнул охотника дед Витоха.

Анисиму ничего не оставалось делать, как умерить шаг.

— С чего ты взял? — поравнявшись, спросил он деда Витоху. Тот будто не расслышал вопроса.

— Далеконько навоштрилша? — оглядел с ног до головы охотников. — Никак, в партижаны?

— Да вот решили с сыном побегать по долам, по горам. Поглядеть лес, что в ем нынче творится... — исчерпывающе разобъяснил Анисим.

Григорий нетерпеливо, как истомившийся в долгом стойле стригунок, перебирал на месте ногами.

— Я бы тожа жа милую душу убежал, — с горьким сожалением поддержал дед Витоха. — Да как-то не принято у наш по чернотропью, поперек народа, жабегать в тайгу.

«Эва, куда гнет», — догадался Анисим. Ну а как объяснить свою промашку, не подвертывались нужные на этот случай слова.

Видя замешательство Анисима, дед Витоха собрал в усмешке лицо.

— Ты бы, Шмолянинов... — Дед Витоха, будто не узнавая, разглядывал Григория. Но вдруг попросил: — Мальчишку-то швоего отдал бы мне, а шам и чешн, болтайша в рашпадках. — И воззрился на Анисима: что на это скажет краснодеревщик?

— Забирай и Сашку, и Машку... и еще кого там... — с поддельной готовностью согласился тот.

— Ты пошто такой-то ерепенииштый? Ражудалый, лучше вшех! Лыш-то ш шабой не нешешь? А ну как навалит под шамое горло, тогда как? — повернул на другое дед Витоха.

— А никак, — лишь бы отвязаться от деда, невольно сказал Анисим. — Возьмем да поплывем по снегу, как по воде... Так, сын?

— Побредем, — вскинул Григорий голову.

Но дед Витоха нахлобучил ему шапку на глаза.

— Мы-то раньше, как? Ш горшка и на тропу, охотой добывали пропитание, кормилишь. Это теперь у мамки на пирошки прошят. — Сплюнул на обочину. — А ты шними, шними, Анишим, понягу, плечи-то ешшо наш чег тайга.

— Так ты бы, дед Витоха, — не выдержал Анисим, — сказал, какой у тебя заглавный вопрос. Все одно мы возвертаться не собираемся, так что...

— Шкажу, — пообещал старик. — И мче не сбычно тут ш вами балаболить. — Положил Григорию на плечи костистую руку. — Раньше как — курильш-

шиков девки шторонилишь, брежговали, — гнул свое дед Витоха. — Ты-то как нашшот табачишку? — одернул Григория за штанину пониже пупа.

— Да не курит он, — заступился Анисим, — и знает, как вести себя в лесу с огнем.

— Да вот я и говорю, — теперь уже Анисима придержал дед за горбовик. — Вот, шкажем, Анишим, кошка перебежала дорогу или баба ш пуштыми ведрами перешла — вожвериешша? Раньше охотники вожверталишь—отшиживалишь. Бывало и так, и в тайгу втянутша, а тут вожьми да и перешкочи поперек жаяц, что ты думаешь? Поворачивали оглобли. По ионешним-то времеиам пошмеялись бы... А ие шкажи. — Хотя Анисим и не обмолвился словом, дед Витоха продолжал: — Верили приметам, человек под ноги глядел. Тайга — ведь это что? Дом обшший, а ты как хотел? Не крадучись, не как попало бежали в тайгу. Ш вошходом, мил человек, жаходили иа промышел. Входили, как в храм Божий, в лешные урочишша, в тот момент, когда шветило наше ожарйт мать-жемлю. Вот как было. Величие блюли.

Старик посмотрел на восход, и Анисим понял: «Ждет восхода, вот и заговаривает зубы».

— Жначит, не жайдешь, Анишим Федорович, — запоздало пригласил в избу дед Витоха. — Тогда побудь ешшо, я шчаш.

Он сходил к себе в ограду и вынес лыжи.

— Бери, Шмолянинов.

Анисим повертел в руках — хорошей работы лыжи, с сохатиными камусами. Вернул.

— Не возьму.

— Пошто так-то? От души ведь...

— Не возьму, дед Витоха, вот и весь сказ.

— Н-да. А капкан вожмешь?

— Посмотреть надо.

Анисим снял горбовик, помог развьючиться Григорию.

Дед Витоха легкой трусцой сбегал в ограду, принес капкан.

Капкан был с большими дугами и сильной стальной пружиной. Анисим сразу определил — на волка. И попробовал разжать дужки, зарядить капкан. А дед Витоха отметил про себя: «Бывал и этот штрумент в руках штоляра-краснодеревшшика...»

Пока Анисим возился с капканом, дед Витоха рассказывал:

— Был я вот таким, — показал он на Гришу, — годов шемьдешят тому. Помию, отец мой привеж иж города капкан на медведя, капкан этот и шейчаш где-то валяетша под навешом. Тогда шо вшей округи шбежалишь шмотреть капкан — чудно было вшем, как он поймает жверя. А в ту пору шатун навадилша к нам — варначил напропалую, шарил жимовья, то лошадь, то корову шграбаштает. Шоберутша мужики шкараулить жверя, а жверь как в воду канет. Нет его. И нет. Пошидят в шкрадках, только ражайдутша, а он тут — ровно жа углом поштоял. Вот и решили тогда капкан жаиметь. Так вот и и говорю...

Анисим, не переставая возиться с капканом, слушал: интересно, чем дело кончилось.

— Так вот, — повторил дед Витоха, — отец, жначит, царштво ему небешное, — и мелконько перекрестился, — и привеж иж города капкан. Мы, ребятишки, выволокли этот капкан на шередку двора, отняли от шаней оглоблю н этой оглоблей отжали дуги, жарядили капкан. Лежит он ш рашкрытой паштью. А нам любопытно... Я давай палкой тыкать в подшледник, в тарелочку капкана. Дружки мои тожа ноп шуют — охота поглядеть, как шработает пружина. И шработала, перед шамым ношом жахлопнулишь дужки. Чуть бы опушти кто голову — отрубило бы по шамую шею...

— Понятна, дед Витоха, твоя наука, — складывая дуги капкана, сказал Анисим.

— Погоди, Анишим, — остановил старик, — не пихай в мешок, провонярт, не подойдет к капкану жверь. Шбегаю, принесу чиштый мешок.

— Досказал бы, дедушка, — попросил Гриша, — как поймали медведя...

— Не в ем дело, — уже с дороги ответил дед, — шам на шуть голову,

Дед Витоха вскоре вернулся с чистым холщовым мешком.

Анисим засунул в него капкан. А дед кинул еще бело-серый, величиной с кулак, камень.

— Сахар, что ли? — поинтересовался Анисим.

— Шахар, — засмеялся старик, — нишь чего жахотел. Ижвештка. Жаваришь — и выбели капкан.

«Му́дро, — подумал Анисим, — и железо скроет, и запахи отобьет. Я не додумался. Сколько на Сплавной ни ставил капкан, не мог изловить волка».

— Волка, паря, добыть, — как бы прочел дед Витоха мысли Анисима, — не вшакому охотнику фартит. Хитрее жверя нет. Хошь на лишу и грешат, а куда ей до волка, — помогая навьючить Анисиму горбовик, возвеличивал зверя.

Солнце замельтешило сквозь ветки и озарило лес.

— Ну, пора, — поторопил дед Анисима. — С Богом!

И еще какое-то время шел рядом с Анисимом.

— Подниметешь на первый уштуп горы, одна тропа на ражвилке побежит влево под уклон, ко вы по ней не ходите. Она приведет ваш куда не надо, на Курумкаа. Другая — полежет вправо, вы ее держитешь. На Шанталык-речку. По жатешкам штупайте. Глажа-то, Анишим, при шебе держи! — прокричал дед Витоха уже вслед.

Радостно залаяли собаки. Дед Витоха вернулся к себе в ограду, определил Гриша. Дал бы Музгарку, бежал бы пес сейчас рядом, представил он, хвост в три кольца, уши — стрелы. Летом еще на собаку не походил, колобок катался за дедом, и вдруг подтянулся, грудь выпятил, глаза еще раскосее стали, пуговичка носа вытянулась, аж оскал видно. Ну, если жалко Музгарку, Буяна бы дал, Дамку или Верного. И просить нечего, не даст, решил Гриша.

— Папаны — подбирая ногу, крикнул в спину отцу. — Ты почему не взял лыжи?

— Не повернулась душа, сын, — укорачивая шаг, отозвался Анисим. — Не усидит дед.

— Не усидит, — согласился Гриша.

Плотный, стрельчатый, с темной насупленной кроной лес обступал со всех сторон. Стояла холодная сумеречная темь, будто в погреб входили, пахло грибной прелью и сладким настоем трав. На старых замшелых пнях висели рясные ветки брусники. Гриша половчее поправил на плече одностволку, чтобы не била прикладом по пяткам. Под лямку подсунул вынощенную шапчонку, обнажив светло-русую кудрявую, в испарине, голову. Отец шел впереди, холщовый мешок на спине белел. Дорога карабкалась в гору, и лес светлел. А когда тропа повернула и пошла косогором, идти стало еще труднее. Котомка тянула на один бок. Гриша ружье снял с плеча и понес наперевес.

Анисим остановился перевести дыхание.

— В атаку идешь... — Протянул руку: — Дай понесу...

— Я сам.

— Ну-ну... — подбодрил Анисим сына.

Косогор стал забирать вподъем. Лес был чист, под ногой с хрустом садился прихваченный крепким заморозком мох, щетинилась прошлогодняя ломкая хвоя. Все кругом сверкало в томительном спокойном ожидании.

Чем выше взбиралась тропа, тем больше выпрямлялись и ярче высвечивали проникающие сквозь крону лучи солнца. На буграх кипела соком брусника.

В низинах, словно выплеснули чернила, искрилась голубица. Легкой синевой дымил подсад ельника. Ковали распадок дятлы, высвистывали рябчики, изпод ног выпархивали кедровки и неистово орали на деревьях.

Легко и глубоко дышалось настоянным на почках воздухом.

Мелькнул на дереве зверек, и Гриша замер, потом бросился к дереву — обошел, разглядывая, но, кроме кусочка светлого неба в просвете темных крон кедров, ничего не увидел. Хватился — отца не видно. В какую сторону идти? Услышал легкий треск сучьев — по следу кинулся догонять. Мох был глубок и мягок, нога проваливалась по самое колено. Не только бежать, идти тяжело.

Делаешь шаг широкий, а получается меньше воробьиного. Наконец Гриша увидел отца.

Анисим шуровал палкой в дупле.

— Ты чего, папань, нашел? — подбегая, спросил Гриша.

— Показалось, кто-то выглянул из дупла, а кто — не скажу.

В сухом, без макушки, кедре, в метре от земли, не больше, на месте выломленного сучка виднелось невеликое дупло — кулак едва пролез бы.

Анисим встал на колено, придерживаясь за ствол, прислонился к дуплу ухом. Послушал, втянул воздух.

— Живым духом пахнет.

— Соболь? Вот бы мамке на воротник.

— На портянки к празднику, — засмеялся Анисим. — Снег покажет, кто в тереме живет, скорее всего белка, — сделал он вывод.

— Давай заметим место, на обратном пути посмотрим, — предложил Гриша.

Анисим достал из-за опояски топор, сделал затески.

— Примечай: сломанная макушка — раз, если стоять лицом к солнцу, справа прижим — гóры — два, — показал на двурогую скалу.

И они пошли дальше по черногропью. Редкие среди кедрачей березки еще кудрявились буро-зеленой листвой — заморозки не успели пожечь. Пока поднимались на вторую террасу горы, выкачали пота не один ушат. Анисим остановился, привалившись горбовиком к стволу дерева — дал отдохнуть ногам. Дальше еще круче дыбился подъем, гора была почти отвесной.

— Как только держатся на такой круче деревья? — удивился Гриша, разглядывая оплетающие склон обнаженные корневища, и посмотрел в распадок, из которого только что вышли.

Распадок дышал сизой студенистой изморозью. А над головой стыли в жутковато-величественной неподвижности отроги Хамар-Дабана.

— Рукой можно дотянуться, — сказал Гриша.

— Ноги протянешь, а до макушки не достанешь, — только кажется — близко. А вот затески, — показал Анисим, — значит, на верном пути...

Придерживаясь за корни и ветки деревьев, отец и сын полезли на второй уступ горы. Прежде чем поставить ногу или подтянуться за ветку, надо было осмотреться, убедиться, выдержит ли камень, ветка, и тогда подтягиваться. Если по нечаянности скользнет нога, лучше припасть к земле, а если под ногой осыпь пошла, держись руками за корневища.

Анисим, скосив глаза, следил, как ловко и сноровисто продвигается Гриша. Поднялись на выступ — упали в мох, отдышались. Осмотрелись. Лес на уступе казался еще ядренее. Могучие кедры, лиственницы, а под ними и ягодники, и мхи, в пеньки, и валежины замшелые, и дремучие заросли жимолости. Гриша сорвал тяжелую синюю ягоду с голубым налетом, положил в рот, скривился — горько-сладкая.

— Попробуй, папань, не такая, как у нас на Сплавной.

Анисим сдоил с куста горсть и кинул в рот.

— Терпкая! — и стал листом бадана стирать с ладони ярко-кровяной подтек сока от раздавленной ягоды. Прислушался. То ли в голове у него шумело, то ли вода.

— Ты ничего не слышишь, сын? — спросил Анисим. — Где-то булькает, а не разберу где.

— Пошли поищем, — с готовностью отозвался Гриша.

Набитая зверем тропа, петляя между деревьями, привела к говорливому и холодному до ломоты в руках ручью. Гриша сразу на колени и жадно припал к воде.

— Ну и как? — снимая котомку и тоже пристраиваясь к ручью, спросил Анисим.

— Колет, — продыхнул Гриша. — Если бы не бурхатил, и не догадаешься, что бьет вода.

— Не заклинит горло-то у тебя? — забеспокоился Анисим.

— Не-е, — отдышался Гриша. — У меня горло луженое.

Анисим вспомнил, на лесоповале они «остывали» в ледяных ручьях, и никакая хворь не приставала.

— А не бросить ли нам, сын, здесь якорь? Место — залюбуешься. И огляд хороший. И кедрач какой стоит. И вода вот. Чем не место? — вертел головой Анисим.

— Неплохое место, — согласился Гриша по-взрослому.

— Тут и зверь был, свежий след вот, — Анисим ощупал землю, — горячий еще...

— Ну-у, — удивился Гриша. — А ружье незаряженное. А если бы застали зверя?

— Куда бы мы с мясом? Давай ружье, — протянул Анисим руку.

— Ты только, папань, смотри в оба. Ладно?!

Анисим с Гришей обошли плотный, словно городьба, мелкий лиственничек, обогнули каменный выступ горы и вошли в ровный, свечками, сосняк. Мох был до того светел и глубок, что тут же хотелось упасть в него лицом и лежать, раскинув руки. Но Анисим шел ровным небыстрым шагом, и Гриша поспевал за ним, не оглядываясь.

Тропа постепенно стиралась и теперь лишь угадывалась по приметам не столь очевидным. Чем ближе подбирались к перевалу, тем заметнее редел и срезался уступами лес. Все чаще попадались курения разлапистого зеленого с голубым отливом стланика, а на самом хребте горы стланики лежали, обсыпанные мелкой смоляной шишкой.

— Ничего себе, куда забрались?! — восхитился Гриша.

Анисим обернулся и замер. Далеко внизу сверкал ослепительной голубизной Байкал. А до самой кромки воды черненым серебром стелилась тайга.

— Вот где обиталище души человеческой, — засмотревшись, выдохнул Анисим. — Вот оно, сотворение Господне...

— А учитель физкультуры, когда еще занимался с нами, говорил, что Бога нет, — с настойчивой робостью возразил Гриша. Он вспомнил, как учитель жег иконы и приговаривал: «Смотрите, и ничего мне за это. Был бы Бог — наказал»...

— Бог и покарал твоего учителя — отнял у него разум, — с тихой грустью ответил Анисим. — Вот и ходит он по домам, ищет душу свою.

А Грише сделалось тревожно и радостно от того, что отец с ним ведет разговор начистоту. Он верил отцу, его слова западали в сердце. Они стояли и молчали, и было так хорошо. А когда Гриша поднял глаза, на выступе скалы замер рогач.

— Папань... — прошептал Гриша, показывая на зверя.

Изюбр вскинул голову, и глаз его дико сверкнул. Подобрав ноги, он тут же исчез в зарослях кедрача.

— Что же не стрелял? — упавшим голосом спросил Гриша.

Анисим посмотрел на то место, где стоял зверь, опустился на валежину, взял хвоинку в рот.

— Мне как-то и в голову не пришло, — запоздало ответил.

— Зачем мы тогда тут?

Анисим пожевал хвоинку.

— Оглох я от стука, сын. Тишины душа просит, — виновато признался.

Гриша понял, он и сам в отцовском цехе не знал, куда деться от бочкотарного грохота. Звук этот налетал со всех сторон, валился с потолка, шел через руки, проникал в грудную клетку и там с треском рушил перегородки, отыскивая себе место. А не найдя, словно пузыри, лопался, истошно гудел в груди, переполняя ее и превращая самого Гришу как бы в один оглушающий звук.

Анисим поднялся, навьючил мешок. Дальше пошли. Если по мху идти тяжело, то по каменной наброске еще хуже. Рыхлый камень не дает ступить, и так навертываешь ноги, что к вечеру не знаешь, куда их деть.

Поднялись на каменную гору, и здесь тайга как бы раздваивалась, один склон убегал на юго-запад, другой опускался на северо-восток.

— Папань, булькает вода, слышишь? — Гриша опустился на колени, приложил ухо к замшелой плитке.

Двинулись к размашистому курению стланика.

— Может, у того куста ручей, — предположил Анисим.

Вдруг из куста выскочила одна, другая, третья белка, и, поставив фонтанчиками хвосты, они ушли в камни. Вокруг валялись просверленные мелкие шишки. Порхали крикливые и нахальные кедровки. Гриша продрался сквозь ветки— ручья не оказалось, открылся пугающий своей бездонностью распадок. Гриша постоял, поглядел, определяя, в какой стороне их поселок.

Вдруг перед глазами Гриши словно чиркнули по стволу дерева спичкой, мелькнул красный хвост.

—Папань, давай ружье скорее! Шустрая такая белка, папань, красная...

— Огневка, — определил Анисим. Не снимая ружья, он походил вокруг дерева, зверька не увидел. Переспросил: — Так, говоришь, красная?

— Красная, папань, я такой отродясь не видел...

— По окраске зверька любой охотник скажет, в каком лесу он обитает.

— Разве бывает красный лес? — воззрился Гриша на отца. — Рябины краснеют — и то, когда морозом ожгнет. Ну, березы еще...

— На Байкале есть красный лес. Особая порода сосны. Красивое дерево что наружи, что изнутри, от комля до самой макушки, ствол светится, словно солнцем облит. И сучьев на таком стволе нет, а на самой макушке кисточка. И внутри дерево медово, а кора красная. Посмотришь, словно накалилась тайга. В таком лесу и живет белка-огневка.

Гриша повертел головой.

— Да не смотри, эта белка пришлая. В лиственничном лесу серебристый зверек обитает.

— Но тут же кедрач напополам с лиственницами, — возразил Гриша, — тогда какой здесь зверек?

— Серебристый. В чистых кедрачах — темно-бурый окрас с сединой и хвост длинный веером. Если зверек накроется хвостом, как одеялом, то и кончика носа не увидишь. Вот в ельниках зверек темней, под стать лесу, по спинке у него ость с пепельным отливом. Байкальского ни с каким другим зверьком, Григорий, не перепутаешь, хоть белку, хоть соболя, по высокой головке меха сразу видно — откуда зверек.

— Была бы собака... — обшарив глазами деревья, укорил кого-то Гриша, — не упустили бы белку.

— Гавкать и мы могем, гав, гав, — стончив голос, подражая щенку, потявкал Анисим.

Ветки на макушке шевельнулись.

— Поднял, папань, верхом белка ушла. Честно, папань...

— Пусть. Не заблудится, — поправил Анисим на плече ружье.

— Тоже скажешь, белка да заблудится в лесу...

В гору тянуть ногу, пусть не скоро, потихоньку, помаленьку — вытянешь, а вот по крутому спуску сходить — нужна сноровка, да еще какая. Если еще к тому с вьюком, то тут за полдня намотаешься изрядно — поджилки трясутся. Оступился — не юзом, так и кувырком пойдешь. Бывает, охотник в одной стороне окажется, а торбу ищи в другой.

Гриша первым увидел в кустарниках голубые лоскутки воды, сбросил котомку с плеч — бегом...

— Папань, вода! Но к берегу не подступиться — кочкарник, мокреть!

— И не надо.

Анисим приметил колодину, подшагнул к ней, поставил ружье, снял вьюк. Тут и костер будет! Ножом подрезал мох, подвернул рулончиком — оголил землю.

Гриша тем временем наломал со стволов отмершие нижние сучья, надергал с березки ветренки — сложил сучья шалашиком на приготовленное место, подсунул под шалашик бересты, чиркнул спичкой, хоть головка и отстрелила в березовую ветренку, но все равно огонь высекла. Ярко вспыхнув, огонь увяз, замер, подгрызая веточки внутри шалашика, проглядывая красным глазком. «Ну, ну, милый, — уговаривал ласково Гриша, — не подкачай». И огонек послушался — набирая силу, краснея от ярости и нетерпения, сладко прищелкивал, вовсю подъедал сухие ветки. А Гриша побежал с котелком по воду. Вернулся, на дужке глухо позвякивала большая эмалированная кружка.

— А ботало это зачем? — спросил Анисим. — Тишину тревожить.

— Зверя, что ли? — переспросил Гриша.

— И зверя тоже. Без нужды чего ж трезвонить?

— Папань, горячий ключ из-под скалы бьет. На, пощупай, — подставил Гриша котелок.

Анисим обхватил его ладонями.

Теплый. Курорт откроем.

— Курорт, что это такое? А вот уток на воде тьма.

— Ну, если курорт не знаешь, тогда птичник. Не улетели, что ли?

—Снялись, дали круг и снова упали в ручей.

Анисим пристроил на таган котелок, поправил костер, повернулся к сыну.

— По времени-то утка должна бы сняться, давно ей пора быть дома, в теплых краях.

— Скажешь, папань, тут им дом. В теплых краях они только пережидают здешнюю зиму. А так, где гнездятся, там и дом. У всех так.

— Так -то оно так... — с неопределенностью в голосе поддержал Анисим сына. Он не задумывался, где дом у диких уток, летают и летают. Выходит, сын прав. Где родина, там и дом, где корни твои, там и родина, перевел на себя Анисим.

Надолго, видно, задумался — Гриша окликнул:

— Папань, ты чего? Котелок-то, смотри...

— Ах ты! — спохватился Анисим и, изловчившись, вытряхнул из шапки в кипяток грибы — по дороге из беличьих запасов позаимствовали.

Котелок фыркнул, сплюнул на угли пену, и сразу захватило грибным духом.

— Прокипит, и готово. — Анисим помешал в котелке, отложил ложку на лист бадана. — Теперь можно скатерть-самобранку раскинуть...

— И так кипит, снимай... — поторопил Гриша.

Хлебали из котелка деревянными ложками, подставляя сухарик, сухариком и прихрумкивали. Анисим дул на ложку и с потягом схлебывал. Гриша срывался и начинал частить. Обжигался и сконфуженно дул на пустую ложку. Первым ложку отложил Анисим.

— Кто дохлебывает, тот и стол прибирает. Только не проскреби дыру, — предупредил, видя, как старается сын, вычищает дно котелка.

— Посуда любит чистоту, а охотник красоту, — срифмовал Гриша. — Я бы ел и ел.

— Аппетит охотника бодрит. — Анисим поднялся с колен, размял ноги. — Ополосни, Григорий, котелок да ставь на чай воду, а я надергаю брусники.

— А мне, папань, голубики, я ее люблю.

— На заказ дороже, сын.

— За ценой не постоим, — Гриша схватил котелок и побежал к ручью.

Анисим поднял ветку: ягода вся во мху, еще белобокая, несмотря на позднюю осень — на мхах ягодники и зацветают поздно, и плоды дозревают уже под снегом. Анисим кружку насобирал, горстью кидает в рот, высосет медовую с кислинкой мякоть, и опять рука тянется к ветке... И куст голубицы обобрал — тряхнул, и вся осыпалась ягода.

— Папань, — позвал от костра Гриша, — котелок вскипел.

— Завари веточками смородины да отставь котелок, пусть стынет.

Напились от души ароматного чаю, котомки навьючили — и снова мять тропу.

— Скатится солнышко во-он за тот зубчик горы, — показал Анисим, — якорь бросим на ночевку.

Гриша не прочь был и у горячего ключа остаться, и утку добыть или на хариуса кинуть.

— Ты не заметил, сын, куда затески девались? — тяжело дыша, спросил Анисим, приостанавливаясь.

— Нет, — устало ответил Гриша.

— Дед Витоха колдовал здесь развилок, — с нарочитой веселостью пояснил Анисим. И развел руками. — А тут и развилка не значится, и речки не предвидится. Что ты на это скажешь, Григорий?

— Послушаем, может, ключ отзовется, — Гриша сдвинул на затылок шапку.

Постояли, послушали: сочилась то спокойная, то тревожная тишина. В этой стороне Анисиму не доводилось бывать, а если человек в тайге не уверен (тем более к ночи день клонится) и начинает метаться, доброго не жди.

— А чего метаться? — ответил на свои мысли Анисим. — Мы и не предполагали на Шанталык. Тайга во-он какая, — окинул он взглядом округу. — где приглянется, там и бросим якорь. Так я говорю, сын?

— А солнце-то где? — показал Гриша на багровый закат.

— Вижу, — сказал Анисим. — свалилось. Пора вить гнездо. Но без воды, как говорится, нет огня, а какая ночевка без костра? Сухоть стоит, такой осени не помнят старожилы, — как бы убеждал себя Анисим. — В такую пору с огнем в лесу... полыхнет — и сам никуда не денешься — сгоришь. И дед Витоха печалился...

Где-то в распадке заныла пищуха.

— Ну вот еще занюнила, ворожит ненастье, — упрекнул пищуху Анисим. — А надо бы свежину. Давай-ка, Гриша, поищем затески, а заодно и воду приглядывай, ты по этой части везучий.

Пока искали затески, навалились сумерки, деревья стали растворяться, а тайга глохнуть. Грише хотелось сесть. Он видел, что и отец через силу тянет горбовик. Вот он перекинул ногу через колодину и сел, как в сердло, в прохладный мягкий мох.

— Ну, чем не кавалерист, только шпор и не хватает, — засмеялся Анисим.

Гриша, вытянув шею из-под котомки, подтянулся к отцу и привалился рядом.

— Кто нас гонит? — бодрился Анисим. — Распрягай коней. — И снял с плеча котомку, помог развьючиться Грише.

В зыбком закатном отсвете теснящиеся деревья словно распирали распадок. Давило безбрежное спокойствие.

— Кажется, просвечивает. Не вода ли? — показал Анисим на проблески между деревьями. — Ты посиди, а я сбегаю, посмотрю, не может того быть, чтобы не было воды.

Гриша слышал, как шумно и напористо продирался отец сквозь кустарник, отдаляясь. А скоро он и совсем затих, словно под воду ушел.

Если бы не поползни, шуршавшие цепкими лапками по стволам деревьев, да еще какие-то вертлявые пичужки на ветках, Гриша подумал бы, что он один остался на всю неоглядную тайгу. Тянуло холодной сыростью. Пробирал озноб. Гриша решил влезть на кедр, сбить шишек да заодно и поглядеть округу, может, увидит речку. Он присмотрел дерево, подошел и лягушонком подпрыгнул, обхватив руками и ногами ствол, сделал несколько рывков, достал первый сук, подтянулся, а дальше пошло, как по лестнице, чем выше, тем больше дух захватывало. Гриша топнул по суку, шишки глухо застучали о землю. Гриша поднялся почти до самой макушки. Насколько хватало взгляда, в сиреневом дрожащем сумраке по самые макушки тонул лес. Как ни приглядывался Гриша, речки не увидел, не увидел и Байкала. «Может, смотрю в другую сторону», — подумал. И прислушался, не идет ли отец. Черная глубина под ногами пугала, спускаться в этот мрак было боязно, но Гриша превозмог себя, спустился и стал собирать шишки. Нащупает дырку во мху, сунет руку — а там увесистая, смолевая, холодная шишка.

Анисим ломил напропалую через колодины и чепыжник, казалось — вот-вот настигнет воду. Ветки больно хлестали по лицу, шуршали по стволам деревьев, и он заламывал их на тот случай, если собьется с пути и придется искать обратную дорогу. «Уж если нет ручья, хотя бы болотина». И вдруг взяло сомнение: в такую сушь какая болотина? Он хотел повернуть назад, да за деревьями, рядом, опять увидел просвет. Выскочил на небольшую полянку, вернее, редколесье. «Что за наваждение, который раз обмишуриваюсь». Анисим прислушался: за кустами взбулькнуло вроде. Продрался сквозь кустарник — повалены деревья, вывороты как привидения маячат, а дальше снова стена темного леса. «Тьфу ты!.. Нечистая сила водит, — сплюнул с досады, — убиться можно. — И тут охватила его тревога. — Оставил парня. Кажется, уже и обратной дороги не разглядеть. Сколько уж упорол?..»

Гриша сидел на колодине, разгоряченный лазаньем на кедр. Сырость студила плечи, нолковатый озноб прохватывал до костей. Холодный сырой туман белесо наползал из распадка. Пришлось встать на колодину, даже приподняться на цыпочках. Там, куда не доставал туман, хромовой кожей блестели листья бадана, а черные вывороты деревьев, казалось, ожив, шевелились. Затаив дыхание, Гриша вслушивался. «Может, заблудился папаня?» — пронзительно саданула мысль. Спрыгнул с колодины, бросился собирать сучья, сшибать трухлявые пеньки и сносить их в кучу. Когда куча дров подросла, сел на колодину — не мог уже унять слезы.

— Папань! — крикнул Гриша наконец изо всей силы, а получился писк — горло село. Набрал побольше воздуха и снова крикнул: — Папань!

«Ань», — откликнулось в отрогах гор.

Густая липкая темень настолько сгустилась, что и небо потухло, и листья бадана, и кустарники, и деревья слились и чернели глухой стеной.

Гриша прижался теснее к колдобине, будто хотел в нее втиснуться, и превратился в слух. Пугая тишину, скрипуче прокричала ночная птица. Гриша через силу давил подступившее рыдание...

Анисим корил себя нещадно и в сотый раз приказывал себе не дергаться, не пороть горячку. Бывало, и рядом с зимовьем, в двух шагах, ночевать приходилось. Бывало и так — не заготовил вовремя дрова, топором грейся, нет воды, и так ладно.

«Напугается сын — вот беда». Анисим отдышался, постоял, послушал и принялся по заломам нащупывать обратное направление. И спотыкался, и падал, и обдирал в кровь лицо. «Так тебе и надо, старый мерин, — ругал себя Анисим и, не чувствуя ни боли, ни усталости, не шел, а бежал, и только удивлялся: — Куда упорол. Упорол так упорол».

Гриша вдруг услышал потрескивание сучьев и встрепенулся, сглатывая слезы, вскочил с колодины. А когда осторожный треск прошел мимо, хотел окликнуть, но, перестав дышать, снова услышал, как ломаются и потрескиваются сучья, но уже в другой стороне. Так осторожно и быстро мог идти только зверь. «Может, папаню задрал медведь?» — резануло по сердцу Гришу. Он лихорадочно нашарил у колодины ружье, взвел курок и замер. Сколько простоял так, не чувствуя тяжести ружья, он не знал. Наконец опустив к ногам ружье и, сложив онемевшие ладони у рта, крикнул:

— Папань, а папань?!

«Ань, ань», — отозвалось эхо за спиной. «Заблудился папаня», — пронзила Гришу догадка. Он схватил ружье, поднял кверху и нажал на спусковой крючок. Курок сухо треснул, словно переломился карандаш. Осечка. Гриша отжал откидную планку, переломил ствол и сунул палец в патронник. Он был холодный и пустой. Гриша неверной рукой достал спички, припал на колено к куче хвороста и уже собрался чиркнуть, но тут какая-то невидимая сила отвела руку Гриши. Гриша выронил из рук спички и опустился на землю. Сел на мох и никак не мог протолкнуть в груди воздух. «Боженька, сделай так, чтобы нашелся папаня!» Гриша вспомнил молитву, которой учила его мать, забылся на минуту, но вдруг услышал за деревьями, совсем рядом, нетерпеливый чужой голос:

— Ты где, сын?!

— Да здесь я, — крикнул шепотом Гриша.

Анисим, тяжело дыша, подошел.

— Можно и без воды, — наконец сказал он.

— Чего же не отзывался, — сглатывая слезы, укорил Гриша.

Анисим так устал, что и не сразу голос подал.

— Пожуем сухарик, — сказал из темноты, — да посидим спина к спине, подремлем. Скоро уже будет светать. — (Гриша слышал, как отец нашарил мешок.) — На охоте ведь как? Бывало, и на березе охотник ночь просидит, чтобы волки не съели. А тут, — похлопал по колодине, — вон какая перина.

— Папань, заряди ружье, а? — шепотом попросил Гриша.

— Только молчок, а то медведь подслушает.

«Как хорошо, что отец нашелся», — подумалось Грише.

— Господи, — вздохнул он, подражая матери. — Пулю вгоняй, папань,— попросил окрепшим уже голосом: хорошо, темно, отец не видит его слез, а то подумал бы, что испугался как маленький.

— Пулю, говоришь... — клацкнул Анисим ружьем.

Гриша знает, что и на ощупь отец не ошибется, стоит потрогать пальцем головку патрона: выпуклая она, округлая — на конце свинцовая пуля.

— С ружьем спокойнее и увереннее, — стачивая зубами сухарь, рассуждает Гриша. — Папань, выйдем из тайги, сговорю деда Витоху, чтобы уступил щенка от Дамки. Ты не против?

— Не против, — теплым и родным голосом соглашается Анисим. — Давай-ка, сын, под крыло, теплее будет. А чего мы как вербованные? — вынул из мешка носки, пихнул сыну. — Надевай. Пусть ноги отдыхают. — Сам влез в валенки и сразу почувствовал блаженное сухое тепло. — Ну вот, другой коленкор. — Притопнул одним, потом другим. — Вспомнишь мать добрым словом.

Анисим с одного бока поставил ружье, так, чтобы протянул руку — и достал, с другого усадил Гришу, прикрыл его куцей полой фуфайки. Почувствовал, как разливается по телу щемяще-успокоительная благодать, сводя на убыль усталость. Пригрелись отец и сын. И сон сморил их.

Словно прибой шумел лес, должно быть, наверху гулял ветер, а может, этот шум доносился с Байкала. Анисим и Байкал увидел: черный, с фиолетовым гребнем над поверхностью воды. И вдруг... вздрогнул и открыл глаза, рядом кто-то захлопал крыльями — то ли глухарь, то ли еще какая птица упала с дерева.

Анисим закрыл глаза и сквозь дрему услышал: филин просит шубу. «И нам бы не помешала шубенка», — поежился Анисим. И снова сон властно захватил его. И увидел Анисим Байкал. И себя на высоком утесе...

Проснулся Анисим от озноба. Попробовал встать. Ноги не дали — залубенели, не слушались. Осторожно, чтобы не разбудить сына, размял спину. Уложил Гришу на колодине, накрыл фуфайкой, Гриша не проснулся, только почмокал губами. «Собаку зовет, — с нежностью подумал Анисим, — надо сговорить деда Витоху». Анисим через силу встал с колодины, раз-другой присел. Суставы хрустнули. Полегчало.

— Вот и смазал шарниры, — подбодрил себя негромко.

Рассвет шел по макушкам, по стволам деревьев, но еще не коснулся ни кустарников, ни папоротников, тускло отсвечивавших под черточками инея.

Анисим взял ружье, постоял какое-то время, соображая, в какой стороне упал глухарь. «Как бы не так, с ночи меня ждет», — подсмеялся над собой и поставил ружье на место.

Пошел посмотреть затески. Под ногой ломко оседал мох, оставляя глубокий след. Анисим от скорой ходьбы в гору разогрелся. Лес стоял плотно, не шелохнувшись, и ждал восхода солнца. Не вспомнить, Анисиму, какой по счету встречает он восход солнца, но всякий раз волнуется, сердце замирает и переполняется радостью несказанной...

Солнце брызнуло в глаза ярким золотым лучом, и Анисим увидел и услышал, как встрепенулась, ликуя, тайга.

Вдруг спохватился: Гриша, должно, проснулся... Анисим поспешно своим следом вернулся на стоянку.

Гриши на месте не оказалось. Котомки тут, фуфайка на колодине, а сына нет. Анисим переобулся в настывшие за ночь бродни и негромко позвал:

— Гриша? Сын? В прятки играть будем?!

Увидел, что ружья нет, и отправился искать Гришу: примятый мох подсказывал направление. Не прошел и ста метров, как обнаружил след росомахи. Анисим скрадом двинулся по нему. С макушек деревьев уже сошла позолота, черная крона леса по всему распадку светилась и сверкала радужными всполохами. Совсем рядом грохнул выстрел. Гулко разорвало густой настоянный на смоле воздух, и эхо прокатилось по гребню горы, застревая в распадке. Анисим кинулся на выстрел. Увидел Гришу.

— Ты кого, сын?

— Медведя, кого еще, — не сразу отозвался Гриша. — Во-он за тем кустом был.

Анисим осмотрел куст.

— Убежала шуба, — сказал с сожалением.

— Зацепил я его, папань. Надо идти по следу, — готовно предложил Гриша.

— Не угнаться за росомахой.

— Росомаха? — переспросил Гриша. — А я думал, медведь. Лапа во! Смотри.

— Серьезный зверь, — предупредил Анисим. — Похитрее медведя. — И, скосив глаза на ружье, спросил: — Бьет-то как?

— В ухе зазвенело. Садануло... Давай выстрелим в затеску, проверим, как ляжет пуля.

«Вот ведь, считай, охотник, — отметил Анисим. — Не сказал же «ударит», «стукнет», — а «ляжет» пуля».

— Подвернется случай, пристреляем, а так чего палить... Как еще эта росомаха наши котомки ночью не распотрошила, — с запозданием забеспокоился Анисим. — Пакостливая животина, спасу нет. — Взял ружье из рук Гриши, ствол еще теплым был. Перезарядил. Вернул. — Поднимемся на взгорок да вернемся... Спасибо этому дому, — поклонился колодине.

Гриша навьючил котомку, взял ружье. Оно показалось ему легче и сподручнее, чем вчера. «Не надо было торопиться стрелять, — корил он себя за промах, — надо бы вначале выцелить как следует, хорошо бы затаиться за колодиной и выждать. Теперь-то легко рассуждать, а тогда ладони вспотели, когда мелькнуло в кустах. Да и зверь стоять на месте не будет».

Гриша старался вспомнить, видел ли он мушку, когда целился. То, что ружье плясало, это он отчетливо помнит. Из рогатки бы не промахнулся. За двадцать пять шагов консервную банку сшибает, подтвердят ребята в Баргузине, а вот из ружья ему не приходилось стрелять. Если не считать то далекое, как казалось Грише, время, когда они жили на Сплавной. Тогда капитан разрешил ему нажать курок из своих рук. Интересно, озаботился Гриша, расскажет, папаня дома, как я промазал. Задумался, сбавил шаг, прищурил левый глаз, на палец стал прицеливаться в деревья и увидел старую, оплывшую смолой затеску. А когда спохватился, отец уже ушел далеко вперед и поджидал его. Гриша подошел.

— Не туда, папань. Туда затески пошли, — показал на узкое горло распадка.

— Я так усомнился идти в эту щель, — ответил отец, — но раз туда затески, перекладываем руль.

Распадок обузился и уперся в голую скалу.

— Ну вот, и второй перевал вершим, — высматривая на скале что-то, сказал Анисим. — Похоже, за этой скалой, под спуском, речка.

Покрутил головой, стараясь определить, с какой стороны обходить преграду. И вспомнилась ему охота на изюбра.

— Надо, Гриша, сводить тебя ранней весной на скалы. Кругом снег глубокий, от белизны глаза слезятся, болят, а пригретая на солнце скала овсы выбросила, подснежники как цыплята в расщелинах сидят. Это ведь только издали кажется, скала голая. А как зверобоем она расписана! Это надо, сын, видеть. Другой раз подойдешь к скале, приглядишься и глазам не веришь — кабарга будто приклеилась к камню. И не скажешь, как она туда попала и как умудряется удержаться на скале. Или козла обнаружишь. Замрет, глазом не поведет, как на картинке. Что там козел, — увлекается Анисим воспоминанием, — изюбр вытянет шею и вдруг замрет, слушает, как со дна пропасти отзываются нечаянно срывающиеся камешки. И ты стоишь, боишься перевести дыхание. — А сам он уже и забыл, что хотел разговором отвлечь сына: может, не таким тяжелым путь покажется. Красота здешняя как поселилась в сердце, так и поныне в волнение приводит... Наконец будто сила какая подтолкнула в спину: идти надо. Анисим спросил: — Ты как думаешь, сын, какой стороной ловчее обходить скалу?

Но Гриша не ответил, должно, где-то в расселине изюбра выжидал все же.

Пристреливая глазом гору, Анисим спросил задумчиво:

— Как же это на скалу попасть?

— Давай, папаня, лучше сделаем скрадок да скараулим зверя, — предлагает Гриша.

— Тогда надо зимовье рубить. В скраде не высидишь до весны...

Анисим с Гришей поднялись еще выше. В вершине распадка они словно в каменном мешке. С трех сторон обступили их скалы. Над головой трехглавый зубец. «Вот они — «Три брата», — приостановился Анисим. Прямо на глазах туча с синим острым краем наползла на одного брата и обезглавила его.

— Пойдем правее, — потянул сына за рукав, — кажется, есть за что зацепиться, тропа вроде наметилась.

Они оказались на широкой, вполне доступной полке в скале. Присмотрелись и без труда поняли: не раз тут проходил человек, да и зверь бродит. Полка словно для хода и сотворена природой: спирально, уступами, лезет она на скалу. На такой тропе лучше не оглядываться и не смотреть вниз. Ощупай ногой и твердо ставь ее. Спружинил, сделал шажок, снова нащупай ногой уступчик, и так маленькими шажками одолевай. Чем ближе перевал, тем сильнее завихряется тропа. Скала как бы опрокидывается, и тропа, втягиваясь в узкую прорезь между «братьями», тоже идет на конус.

— Ну, еще маленько поднажмем — и на пупке скалы.

Анисим вытянул горбовик на перевал, высвободил руки из лямок, опустил его на землю. Подошел Гриша, тоже сбросил вьюк и огляделся.

Синим морем перед ним лежала тайга. И скалы, словно корабли на якорях, проступали в этом море. На дне распадка, из которого только что поднялись, виднелись пролежины смятой осоки и перестоявшего хвоща. А по опушке, у подножья скалы, полыхала рябина, переспелым плодом горел шиповник.

— Благодать-то какая, встань-ка рядом, — позвал Гришу Анисим и поклонился Создателю, что не оставил своею милостью. Широко перекрестился, раскланиваясь на все четыре стороны.

Поклонился и Гриша, больше из-за уважения к отцу, и застеснялся.

— На такую красоту бессмертную с усердием молись, сын, — проговорил Анисим.

Так и стояли они вдвоем. Большой и маленький...

Стали спускаться с горы. Гриша проскальзывает между камней, только горбовик мелькает. Анисим же примеряется, куда ступить. Он так навывертывал ноги, что казалось, отскочит какая-нибудь гайка — и они на стороны повалятся...

Первым речку увидел Гриша.

— Папаня! — закричал он. — Смотри, мельтешит... Речка!

Анисим всмотрелся: сквозь кусты серебряной паутинкой отсвечивала вода. Повеселел. Речка оказалась сажени в две. Она обессиленно шумела на шиверах, была прозрачна, ослепительно сверкала торчащими из воды торосами. Солнце уже склонилось к горизонту, еще немного — и зацепится на верхушку горы.

Гриша горбовик долой, схватился за нож — вырезать удилище.

— Ставь, папань, воду на уху.

— Хорошо, Григорий, — снимая заплечник, согласился Анисим. — Только как насчет крючка?

Гриша сдернул с головы шапку, отогнул козырек.

— На, смотри.

Действительно, под козырьком цепко держались два крючка с мушками, под кобылку.

— Запасливый мужик, — одобрил Анисим.

Слова отца Грише дороже всего. Схватил под рыбу котелок. Но Анисим придержал вопросом:

— Может, заварухи сотворим, а? Рыбу еще надо чистить, под нее мешок нужен.

Но Гриша нетерпеливо смотрел на реку.

Анисим разобрал Гришину котомку, накинул лямку ему на шею, так что горловина пришлась под правую руку.

— Ну, чем не рыбак... А я поставлю таган, костер разведу, трапезню сооружу, — поискал Анисим глазами место, где сподручнее будет обосноваться.

Гриша вырезал черемуховое прогонистое удилище, похлестал им, привязал на леску крючок и пошел к реке.

Закраек взялся льдом, словно из-под стеклянного козырька смотрел берег на мальчика. Гриша заметил, что вода идет на убыль.

Сколько ни закидывал крючок, не мог достать до заветного места. «Подальше зайти бы, — все ближе подшагивал Гриша к неотвратимо манившему большому камню. — Да только бродни мочить...» За камнем бурлила и билась река. Попробовал дотянуться до воды удилищем. Но удержать сырой черемуховый ствол и обеими руками не смог. Решил забраться на камень. Ступил на закраек. Тонкая ледяная кромка обломилась, течение подхватило обломки и понесло на стрéмнину, а Гриша соскользнул с закрайка. Стоял по колено в воде и не знал, что делать. Вымочил все-таки ноги. Правда, вода не так уж и обжигла под коленками... Гриша сделал шаг, еще один... Тугое стремительное течение придавливало его к камню. Камень оказался скользкий, обледенелый. Гриша скользнул по камню животом, и течение сразу отпустило. Подтягиваясь на руках, елозя коленями, выполз из воды. Вылил ее из одного бродня, из другого. Почувствовал, как обожгло под рубашкой, захолодило живот. Встал на колени. Посмотрел на берег, туда, где из кустов поднимались белые жгуты дыма от костра: «Хорошо, не увидел папаня». Осторожно поднялся на ноги. «Ну, теперь держись...» — и сноровисто закинул. Не успела мушка коснуться воды, как удилище подернуло. Гриша с потягом подсек — и в воздухе, растопырив плавники, радужно сверкнул хариус.

— Папань! — не удержался Гриша. — Смотри, морсовик!

Анисим хотел пойти посмотреть Гришин улов, да в котелке закипала вода. Он бросил щепоть соли, сдвинул котелок с огня. Из кружки тоненькой струйкой ссыпал муку, помешивая ложкой. Мука заварилась, загустела, еще две-три минуты попыхтел котелок — и заваруха готова. Анисим достал из мешка бутылку, выдернул зубами пробку и набулькал в ложку янтарного рыбьего жира. Заправил заваруху, и потек запах копченой рыбы.

— Гриша-а! К столу-у, — позвал Анисим.

— Счас, папань, — не сразу отозвался сын.

«Ну, теперь не дозовешься». Анисим взял топор, срубил сушину, откряжевал чурку, расколол ее и вытесал две плахи — одну, на рогульках, приспособил для стола, из другой сделал лавку. Отставил от огня котелок.

— Гриша, похлебка стынет!

Анисим вышел на берег и увидел сына на обледенелом камне. Вокруг бурлила ломкая вода. «Как же он туда попал?.. Скользнут ноги, удернет под перекат». Анисим забрел в воду и, как ни брыкался Гриша, снял его с камня. У костра помог стянуть бродни.

— Есть рыба в речке, — рассмотрев улов, похвалил сына. — Если и дальше так пойдет, придется коптильный завод ставить.

Пар валил от Гриши, но он мелко дрожал. У него отходили и ныли ноги. Мальчик тянулся к костру, чтобы поскорее согреться, казалось, готов был лечь на огонь.

Анисим положил на стол ложки, поставил кружки, горку сухарей выложил и снял с котелка рушник.

Гриша потянул носом, оторвался от костра — и за ложку.

— Да ты садись, — похлопал Анисим по тесаной плахе.

Сам примостился на валежину с другого конца стола, убрал из-под руки соль, зачерпнул и понес через стол осторожно ложку, подул на нее, схлебнул.

Гриша непослушной ложкой поддел светлый мучной кисель, приклонился над котелком, но вкуса не почувствовал.

— Пришлось бы рыбака сдалбливать с камня, — шутливо выговорил Анисим сыну.

Они ели, соблюдая очередность, а когда ложки хватили дна, Анисим отложил свою. Из-под ладони глянул на лес, на речку.

— А место, Григорий, тут отрадное.

Гриша бренчал котелком.

— Чего молчишь?

— Смотря к чему ты клонишь.

— Как к чему? Столбить место, крепость ставить. А то ведь как бывает, ломишь, ломишь через тайгу другой раз, и все не найдешь места по себе. То берег сырой — не глянется, то лес выморочный, то речка не в ту сторону бежит. А тут — погляди: и кедрач сподручный, хоть орех бить, хоть дом рубить, и дрова вот — сушины, и плесо, — повернулся Анисим лицом к речке, — только не разберу, скалы там... у тебя глаз поострее, — показал вверх по течению.

— Скалы, папань. Отвесно падают, — не выпуская котелка, глянул туда Гриша.

— Ну так чем тебе не подходит?

— Я не сказал... Если бы плот соорудить. Можно было бы зайти под перекат, — о своем заговорил Гриша. — Наверняка таймень стоит.

— Зимовье ставить, так во-он на том уступчике, — показал Анисим в прижим реки, откуда начинал вздыматься скалистый берег.

Гриша увидел ровную площадку, от нее по одну сторону выполаживалась к реке лесистая гора, в другую в глубокий скалистый распадок втягивалась через плесо речка. Подход к площадке был доступным и светлым — и от реки, и от леса.

— Маманя бы когда собралась за ягодами. Сашка притопал бы...

— А я что говорю... — Анисиму все больше нравилось место. Он уже и лес высмотрел, а чего высматривать — глянул и вымерил, сколько и какого надо.

— Так что, Гриша, — подытожил вслух, — будем якорь бросать. — И пошел к речке.

Гриша переобулся и догнал отца на берегу. И опять за свое:

— Плот бы сделать. Вон под тот омут, улово, подойти можно, — показал на черную, падавшую с порога воду. — Таймень там...

— Таймень пусть постоит, мы еще до него доберемся, а вот заездок с этого берега можно отгородить, лоток поставить — с рыбой будем. Но рассиживаться не дело. Погода обманчива. Пока снега нет, мха надрать не мешало бы, камня на печку припасти... Да в два топора долго ли нам срубить хоромину? — повеселел Анисим.

— А ты уверен, папаня, что эта речка и есть Шанталык? Дед Витоха говорил, до нее три дня топать.

— Шанталык не Шанталык, а мы наперехват через ущелье сколько срезали верст?..

Грише и сказать нечего. Согласен: наша речка.

— Тогда пойдем дрова готовить, — повернул от берега Анисим.

Ветер шумел, не доставая земли. Тучи все подрастали и подрастали. «Надо заготовить дров да срочно соображать, куда бы голову спрятать на случай непогоды». Анисим приглядел подходящее место, вошел под разлапистые кедры, как под крышу. Не то что ветер, даже свет слабо проникал. Выбрал площадку под шалаш, обрубил кустарник, расчистил под костер место, подрубив и скатав мох.

— Папань! Ты где?

Анисим откликается. Гриша подходит со своим топориком.

— А когда белковать пойдем?

— Белковать? Мы и так в тайге, куда торопиться... Я вот думаю шалаш ставить.

— Зимовье раздумал?

— Пошто. И зимовье поставим, — не сразу ответил Анисим. — У костра не высидишь.

— Зимовье рубить времени много надо, если на скорую руку — шалаш, — решает Гриша. Вдруг предложил запальчиво: — Может, разделимся, а? Папань, я на берег.

— А стоит ли распылять силы? — засомневался Анисим. — Но если настаиваешь, — взялся за топор, — давай.

Гриша со своим топориком побежал на берег. Высмотрел сухостоину — если свалить, раскряжевать, пожалуй, хватит на плот, на одного. Продрался сквозь кусты, ударил топориком по комлю — дерево зазвенело, отдачу почувствовал в руке. «Листвеиница, — догадался Гриша, — куда такую на плот. Тяжелая. Может, на берегу поискать?» Не найдя подходящего бревна, Гриша выбежал к воде. На берегу деревья, принесенные паводковой водой, с корнями. Гриша потюкал топориком, без пилы не взять. Забрался на карчу — глянул на отца. Тот уже и площадку очистил, и остов шалаша поставил треугольником. У Гриши заныло сердце: сколько времени топчется без пользы, а солнышко вот-вот сядет. Гриша скатился с карчи. Решил отрубить хотя бы вершину дерева, что прибило к берегу, хоть и сучьев на ней много. Лихорадочно заработал топором, пытаясь сбить сучья, но они, крепкие, мореные, пружинили как железные. Гриша и фуфайку сбросил, и шапку — тюкал, тюкал топором, пока сумерки не спустились, тогда только вернулся к отцу. Неподалеку от готового шалаша Анисим тесал бревно. Оно выходило из-под топора гладенькое и белое.

— Ты чего, папань, его так оглаживаешь? Кто его тут увидит? — Гриша пытался вопросом спрятать неловкость.

— Работай, сынок, всегда с душой, сердцем, и самому будет благостно, — не выпуская из рук топора, проговорил Анисим.

— Папань, возьмешь меня в напарники? Без пилы там худо.

— Становись рядом, теши... — подвинулся Анисим, но, вскинув голову, спохватился. — Дрова на ночевку, однако, надо... Да ужин приставлять засветло. Лучше кедровых дров не бывает, и дух от них отменный, и жар устойчивый, и не стреляют углем. Не то что елка — бьет навылет.

Анисим и в тайге любил дрова по «калибру», аккуратные чурбаки, а не навалом хлысты, как чаще всего и кладут в костер таежники. Он не любил такой костер. И Грише не советовал целиком класть дрова, дымит со всех сторон.

Грише хотелось нырнуть в шалаш на постель из стланика. Но что скажет отец? Получалось, вроде отлынивал от дела. Теперь жалел, что решил быть сам по себе. Вдвоем и шалаш смастерили бы, и плот спустили на воду, и тайменя выволокли бы наверняка.

— Ну как, Гриша, тайменя подсек? — подает пилу Анисим. Он уже стоит на колене перед сухостоиной.

Гриша хватает пилу и за ручку тянет к себе.

— Да ты не дергай так, а то выдернешь пилу вместе с рукой.

Пила с легким шепотом вписалась в окружность ствола, а когда дерево расслабилось, Анисим вынул ее из реза.

— Встань, Гриша, мне за спину, — попросил Анисим.

Топором подсек сухостоину. Дерево, прочеркнув макушкой по закатному лиловому небу, хряснуло о землю, да так, что и речка, и горы, и распадок откликнулись троекратно.

— Давай-ка еще маленько. Зашли с вершины, — Анисим подал Грише конец пилы.

«Выжить, выжить» — и отлетели первые чурки. А чем ближе к комлю продвигались пильщики, тем пила труднее грызла неподатливую древесину. И как Гриша ни нажимал на пилу, дело не убыстрялось.

— На сегодня хватит, — наконец сказал Анисим. — Теперь займемся извозом. — Он взвалил себе на плечо первую от комля чурку и с топором в руке пошел торить дорогу.

Гриша попробовал вторую поднять, за третью, четвертую взялся, чурки не поддавались, только та, что у самой вершины, стронулась. Он поставил ее вначале на попа, потом на плечо и почувствовал: ноги вдавились в мох и отяжелели. Он слышал, как отец сбрасывал с плеча ношу и расчищал дорогу. По мху нелегко идти, а через валежины перешагивать еще труднее.

Гриша старался не отставать от отца, но с каждым шагом чурка становилась все тяжелее, впору хоть бросай.

Сумерки заштриховали лес, и только речка еще светнлась на перекате.

— Уху стряпать или сухарицу? — спросил Анисим.

Гриша взял нож, котелок и побежал к реке за уловом, сунул руку под

камень, под который положил рыбу отец, — рыбы не оказалось. Гриша осмотрелся, может, не тот камень, нет — тот. И ниша под ним вроде погребка, ведро рыбы войдет. Гриша ощупал погребок.

— Папань, ты куда убрал рыбу?

Топор перестал стучать.

— Как куда? Там должна быть.

— Нету.

Отец появился на берегу.

— Камень этот, — Анисим встал на колено и пошарил под камнем, достал хвост. — Похоже, горностай попользовался, оставил нас без ухи, — предположил, высматривая следы, и добавил одобрительно: — Бегает зверек...

— А может, соболь, папань?

— Да не должно бы. Рядом стучали... Тогда скорее всего выдра... Утре поглядим. — Анисим зачерпнул в котелок воды, и они пошли к шалашу.

— Папань, а может, росомаха? — притушив голос, спросил Гриша.

— Рассвет покажет.

— Может, мне посидеть у камня с ружьем?

Отец промолчал.

Подошли к шалашу. Анисим поджег приготовленные на костре дрова, повесил на таган котелок.

— Ночью-то кого увидишь. Послушать разве. Тогда костер гасить надо.— запоздало ответил он на просьбу Гриши.

Костер разгорелся, отбросив темноту к шалашу.

— Кто же это мог быть? Если голову у рыбины отгрыз, значит, небольшой зверь?.. А может, папань, правда, выдра? Она любит рыбу.

— Что ей, мало свежей? Но опять же... — противоречил себе отец. — голову съела... Ее повадка.

— Вот бы хорошо добыть, — вдохновился Гриша.

— Кому что, а рыбаку поплавок, — усмехнулся Анисим. — Выдру добыть фарт надо... Осторожный зверь, без ловушки не подловишь.

Котелок зафыркал, отозвался шипением костер, и Анисим позвал Гришу за стол. Отсвет костра метался по столу, выхватывая то котелок, то ложки, то кружки. Гриша разломил и положил в свою кружку сухари, а Анисим плеснул на них кипятком из котелка. Вкусно запахло прижаренным хлебом.

— По такому случаю, — Анисим положил перед Гришей белый комочек сахару величиной с наперсток. — Хочешь, в сухарчицу клади...

— Я вприкуску. А тебе, папань?

— Я в сухарчицу...

Отужинали. Гриша из-за стола и взялся за топор — рубить от костра к речке мелкий кедрач.

— А это зачем? — поинтересовался Анисим.

— Чтобы видно было речку.

— Можно выйти да посмотреть. Без надобности зачем губить кедрач? Да и по ноге попасть легко, при этом свете...

Гриша остановился.

— Да тут целый лес, — потыкал в стороны топориком. — Рубить не перерубить.

— А разве после нас люди не будут жить? Ты не собираешься жениться?

Гриша опустил топорик, стушевался.

— Я еще не дорос...

— Дорастешь... Вернулись к костру, придвинулись к огню, чтобы хватило теплом. — Для того и я около тебя, чтобы ты мог расти. — Анисим нежно положил руку на плечо Гриши и, застеснявшись, перевел разговор на другое: — Почему стланик держится на голых камнях?

— Я не знаю, — ответил Гриша.

— Потому и не падает, что весь курень от одного корня произрос. Не дают упасть сородичи. К примеру, — нашел Анисим сравнение, — люди раньше держались дедовской крепью. Он был корень, от которого все произрастали, хоть и отделялись, а корней не рвали. Тут же рядом кустились. Не в тягость были и старые корни. Они скрепляли. Вот и я хочу, чтобы мой внук, Бог даст, увидел эту красоту и пользовался ею, и приумножал ее. А если мы все будем прихоть свою тешить, то в два счета оголим берега. Вот и я хочу, — снова нажал на слово, — чтобы твой сын и внук здесь шишки сшибали. Ты-то невесту еще не присмотрел? Если не хочешь, не говори. Твой секрет.

— Наташку Пронину, что ли?

— Это что, бухгалтерши дочь?

Гриша покивал, а Анисим задумался, взял Гришин топорик, попробовал на большой палец — острый.

— По себе дерево надо рубить, — сказал наконец, — а то губы накрасит...

— Да не красит она, — вступился за Наташу Гриша, не дав договорить отцу.

— Дак я к слову, — как бы извинился Анисим. — Если девчонка глянется, береги ее и не давай в обиду.

— Я и так, — с живостью откликнулся Гриша.

Анисим встал с чурки, размял спину, завалил на костер комлистую чурку. Искры пчелиным роем хлынули из костра и, извиваясь, пропали в черном небе. Темнота прильнула к костру.

— Сходи за кустик, да полезем в берлогу, — сказал Анисим.

Достал из мешка Грише носки, себе валенки.

В шалаше остро-сладко пахло нагретым пихтовым лапником. Ветки пружинили, щекотали лицо. Анисим уложил под головы мешки и подождал Гришу, тогда уж и улеглись.

— Не забыл, папаня, ружье?

— Да вот оно, — поворочался Анисим в тесном шалаше, высвобождая ствол.

Грише показалось, только закрыл глаза, а уже рассветало и костер обесцветился. Из шалаша хорошо видно: над костром висит котелок. В шалаше на лапнике, как на перине. Ногам в носках холодновато, но можно вытянуть поближе к костру. Можно было бы и не вставать, отец не будит, да в брюхе скулит... «Все равно вставать, — решает Гриша. — Да и клев пропустил, не разбудил папаня...» Гриша высунул голову из шалаша, вытянулся к костру, посидел на корточках минуту, погрел руки, заглянул в котелок. Поджимая ноги по холодному мху, зашел за шалаш. Отец что-то вытесывал топором.

— Папань, доброе утро!

— И тебе, — поднял голову Анисим.

— Ты когда, папань, успел? — разглядывал Гриша отцову работу.

— Кто рано встает — тому Бог дает...

— А меня пошто не разбудил?

— Таймень будил, — подзадорил Анисим, — хлестался под перекатом, а может, на плесе...

— Ну, папань?..

— И я говорю... Утро-то подходящее, и червяков я тебе добыл, — показал бело-желтых с черной головкой короедов.

— То, что надо, — вспыхнул Гриша, ссыпая наживку из горсти в карман.

— Ты хоть обутки надерни, а то в носках убежишь, — напомнил Анисим.

Гриша с удочкой в руке продрался за излучину к [illegible]. Встал у самой кромки обрыва. За ночь лед прибавил, но закраек не доставал еще русла реки.

Блики слепили. Нежаркое холодное солнце лежало по всей речке. Казалось, речка вытекала из солнца и разливалась по плесу. Гриша достал из шапки заветный крючок, насадил червяка и, поплевав, забросил. Течение подхватило плавинку, крутнуло в воронке и вынесло на стремнину. Гриша не отрываясь смотрел на воду и видел, как, [illegible] увеличиваясь и [illegible] после [illegible]. И тут словно сабля сверкнула на солнце. Гриша безошибочно определил по красным плавникам и хвосту — таймень. Рыбина промахнулась, не [illegible] наживку и ушла на глубину за черный камень.

Гриша поднял удилище и сколько хватало руки бросил крючок ближе к камню. Не успел он уйти на глубину, как удочку [illegible]. Вмиг удилище изогнулось в дугу. Показалось — леска [illegible] — Гриша [illegible]

руками пытался вывести удилище. Но леска чиркнула об острый закраек, удилище, выстрелив, выпрямилось. На конце его болтался кусок лески. Гриша чуть не заплакал и пошел к шалашу.

— Ну как, рыбак? — громко спросил отец, не отрываясь от топора.

Гриша подошел, показал училище.

— Жалко, — вздохнул Анисим. — лишились орудия.

— Если бы с плота, выволок бы тайменя... — укорял себя Гриша.

— Если бы да кабы — в огороде росли грибы. Будем делать заездок... Рубить зимовье, а вначале дрова.

— Прорва этих дров идет, — согласился Гриша. — Давай, папаня, железную дорогу проложим.

— Дрова возить, что ли? А на рельсы чего пустим? — принял игру Анисим.

— Жерди. Вот, — остукал Гриша тонкую прогонистую осину.

Анисим поплевал на руки, взялся за топор. Встрепенулась листьями, словно соскочила с пенька, осина и, прошумев веником, легла вершинкой к раскряжеванной сухостоине. Гриша за топорик — и обрубать ветки. «тинь-тинь» — отлетают сучья. Анисим прокладывает трассу, вместо шпал валежник, а то и чурку под «рельсу» подстраивает. Уложили дорогу по ширине «вагона» — чурки. Гриша прикинул и восхитился про себя отцом: прямо на костер смотрит путь. Закатили на «рельсы» чурку. Гриша тронул ее, и «вагон» покатился под уклон, Гриша — следом, на ходу подправляя, чтобы не сошел с пути. Приходилось и притормаживать с одной стороны. Скоро приспособился, стал гонять по несколько чурок, «состав» прибывал на конечную станцию «Костер», не теряя «вагонов».

— Слушай, Григорий, — остановил Анисим запыхавшегося напарника. — Нужны приличные бревна на постройку зимовья, не подрядишься доставить?

— Подумать надо, — не сразу ответил Гриша.

— Серьезное дело по-серьезному и решать, — согласился Анисим. — Если три на четыре ставить зимовье, потребуется материал.

— А куда такое размахнул? Двенадцать квадратов?

— Делать — так с размахом. Можно бы и на скорую руку. Закопаться в землю да сверху накатать два-три ряда. Дыры заткнул — и готова берлога. На полусогнутых ходи в ней. — Анисим знал, что в зимовье «по-черному» нужда загоняла охотника. Чернее цыгана выходит он тогда из тайги. — Ставить — так ставить. С окном, печью, с нарами, стол нужен. Ну и чтобы смотрелась.

— А кому высматривать? — спросил Гриша.

— Как кому? Мать, сестру, брата не думаешь звать? А то и завернет кто на огонек. Красоту, сын, — вдохновился Анисим, — создавать надо в себе, тогда она и вокруг нас появится. Без внутренней красоты человек не способен создать красоту для других. Одно от другого зависит. Так как насчет доставки сутунков?

— Пока никак. Не придумал.

— Придумывай. Не тороплю. Посиди, что ли, с удочкой, обмозгуй.

— Пойду побросаю, — со сдержанной радостью согласился Гриша.

Анисим еще и сам не знал, какое ставить зимовье. Одно было ясно: добротное. В хорошем жилье и чувствуешь себя хорошо. И сын приобщается к природе, к жизни. Не будешь лепить как попало, лишь бы с рук сошло. Да и дедовская закваска не позволит. Для Анисима дед Аверьян оставался человеком, на которого хотелось походить в деле, самым великим человеком был. Не припомнит Анисим, чтобы Аверьян сфальшивил хоть в малом, хоть в большом. Почему он деда вспоминает? — сейчас спросил себя Анисим. Отца-то он видел мельком. Выезжал и приезжал тот ночью. Дед был постоянно рядом, он по дому управлялся. Вокруг деда домашность вращалась. Кстати или некстати Анисим вспомнил — как-то дед Аверьян заикнулся: «Ты бы, Аниська, слетал в Степановку к тетке Елене, подлатал бы ей чулан». Через неделю дед спрашивает: «Так ты был у тетки Елены?» — «Ну, был. Да что, родня она какая?» — «Все мы сродственники на земле. Я еще вот таким, как ты, бегал отцу тетки Елены крутить точило. Ее дед моему деду кумом доводился, вон куда... А как бы ты хотел? Это только басурманы для себя живут, да еще и пакостят. А мыто на белый свет пришли зачем? — спросил тогда дед Аверьян. — Откуда мы взялись? Не было бы меня, не было бы и тебя, Аниська. Пораскинь-ка умом. С какого краю ни возьми — наша земля-кормилица. Один кровью полил, другой — пóтом. И спрос с нас полной мерой, кого мы оставим после себя...»

Анисим встал на пенек, поискал глазами на реке сына. Гриша удил. «К рыбе молока бы», — подумал Анисим. Он выбрал сподручный кедр, ударил по стволу обухом топора. Зашуршали и посыпались на землю шишки. Подобрал и понес к костру шелушить. Разгреб палочкой струящуюся синими всполохами золу и посадил шишки. И сразу запахло сладко орехом. Анисим любил печенку из шишек. Пока пеклись они, в пеньке выдолбил ступу. Ошелушил несколько шишек, истолок орех, переложил ложкой из ступы в котелок ореховую кашицу. Еще засыпал порцию... Когда котелок на треть заполнился ореховой кашицей, Анисим залил ее водой, помешал ложкой, скорлупа всплыла, он собрал ее. В котелке пенилось молоко, не отличишь от настоящего. И по вкусу чуть слаще коровьего.

— Гриша?! — позвал Анисим. — Пора ужин готовить!..

За работой день догорел, как свеча в жаркой бане. Сумерки затопили берега, оставив узенькую серебряную полоску воды на перекате.

Гриша вернулся с уловом.

— Ну-ка, ну-ка, хвастай, — разглядывая снизку хариусов, проговорил Анисим. — А я корову подоил — показал на котелок.

— Молоко? — удивился Гриша. — Попробую?

Анисим подал котелок.

— Ты, папаня, колдун, — с трудом оторвался Гриша от котелка.

— Ты тоже, Григорий, наговор знаешь, — кивнул Анисим на рыбу. — И уха, и посол будет.

— А если на рожнях сотворю? — вызвался Гриша, выбирая рыбины покрупнее.

— Боюсь, язык отъем, но спроворь. Ты у меня мастер.

Гриша выпотрошил хариусов, сбегал прополоскал их, посыпал перцем и солью. Вырезал талиновые прутья. Один конец прута заострил кинжалом, другой — шилом. И рожень готов. На кинжалы нанизал со спинки хариусов, воткнул рожни шилом в землю на таком расстоянии, чтобы огонь только теплым дымом окутывал. Подбросил в костер припасенных на случай еловых шишек. По мере того как рыба проваривалась, Гриша укорачивал рожень. А под конец подержал хариусов на углях, пока не взялись золотистой корочкой.

— Готово, папаня! — наперевес, как копья, понес Гриша рожни к столу.

Анисим разлил по кружкам кедровое молоко — запивать горячую рыбу.

Гриша начал с головки, обжигаясь, высосал ее, запил холодным молоком и от удовольствия закрыл глаза.

— Я, папань, вкуснее ничего не ел.

Не худо бы ореха заготовить. Гриша и «машинку», что у деда Витохи видел, сделать вызвался. Да вспомнил вдруг: не белковали еще, а времени в обрез...

— Если белковкой заняться, — размышляет вслух Анисим, — то от зимовья, от ореха, от рыбы отказаться придется. Вот и надо выбирать с умом. Одно делай, два в уме держи. Без зимовья в тайге не выдюжить. И на белковке без собаки не разбежишься...

— Что и говорить, — вздыхает Гриша.

Анисим слышит в голосе сына безутешную жалость, что нет собаки.

— Разведаем тайгу, обоснуемся, а на будущую осень прибежим, как надо, — подает надежду.

— С собакой? — оживляется Гриша, и голос меняется у него. — Пусть щенок, натаскаем. Да, папань?

Анисим соглашается. Встает с лавки, пересаживается на чурку к костру. Снимает бродни, развешивает портянки, раскидывает на мох, подальше от огня, стельки. Переобувается в валенки.

Гриша задумчиво сидит за столом, подперев рукой подбородок.

Анисим подживил костер.

— Пора в нору залезать.

— Полезем в берлогу. Ты, папань, первым, а я с краю люблю. Смотреть на огонь, — отозвался Гриша, переобуваясь в сухие носки.

Анисим медведем полез в шалаш. Пошуршал лапником, умостился, охлопал духмяную подушку.

— Давай сюда, сын...

Гриша юркнул отцу под руку, повернулся лицом к костру. Неяркий огонь теплым светом обдавал лицо, пахло прихваченным огнем деревом.

— Ты, папань, собирался рассказать про деда и про нашу родину, — подал голос Гриша.

— Расскажу и про деда, и про прадеда, — согласился Анисим. — Ночь-то — год...

Гриша приготовился слушать, половчее улегся, под голову кулак.

— И деда своего помню. И прадеда, Романа Антоновича, как сейчас вижу: под кружок стриженный, с белой бородой, ростом пониже меня, костью широк. Говорили, имел когда-то силу, но уж я-то помню его с батожком. годов ему было много, сейчас уж и не скажу сколько. Жили мы тогда в Красноярском крае, в своем крестовом доме. И дед Аверьян Романович нестарый тогда еще был, и мой отец Федор Аверьянович бравым молодцом ходил. Жили крепко, зажиточно. Своими руками добывали добро, своим умом. Наживали и почести, и славу добрую. И бабушка, Мария Дмитриевна, жива была, и три невестки под одной крышей по хозяйству управлялись, и моя мама, твоя бабушка, хорошо ее помню, с чугунками около печи хлопотала. И коровы были, и лошади запрягались. Я уж не говорю: овцы, куры, гуси, свиньи — это само собой. Живности было — со счета собьешься. Мы, ребятишки, пасли кто гусей, кто телят. Овечки и свиньи сами по себе все лето пасутся. Свиньи еще болтушку есть приходили, а овечки — знай себе травку пощипывают... Мужики пашню пахали, извозом занимались, косили сено, готовили дрова. Бабы по дому управлялись. Во время покоса или уборки сена дом пустел. Все от мала до велика на телеги с корзинами, логушками, с детьми усаживались. И мы уж подросли — верхами, у каждого свой конь. Бывало, усядемся все, дед обойдет обоз, посмотрит, проверит, все ли взяли, потом идет к прадеду, тот перекрестит, с Богом! Кони нетерпением исходят, бьют ногами оглобли, схрапывают, повод просят. А как взял дед Аверьян вожжи, качнулись в телегах головы, и тронулся обоз, застучали колеса. Оглянешься, а прадед Роман Антонович, опершись на батожок, стоит. Только за деревню выедем, бабка Мария за песню, а мы повод коню, и... запылили вдоль поскотины. Жили хорошо — и на стол было что поставить, и было чем гостей встретить. Подходило время жениться — отделяли, дом ставили, и корову, и коня, и живности всякой давали. А если споткнулся кто из родственников — поддерживали. Больше всего любил я деда своего, Аверьяна, — от волнения Анисим перевел дыхание. — Мы с ним и пахали, и боронили, и коней пасли, вот уж где было раздолье. И на охоте вместе. Помню его и чту. Помню, как умирал он... Раньше смерти не боялись, готовились к ней. Человек осознавал, что не зря прожил на матушке-земле. Весь свой скарб и опыт смог передать сыну. И надежно верил, что дети поведут, приумножая, хозяйство. Дедушкино благословение принимали с сердечным трепетом и старались жить на земле достойно. Была неразрывная связь людей. Поклонялись мы Создателю нашему Иисусу Христу. — Анисим приподнял голову и перекрестился.

Гриша слушал и не мог уловить связи между сказанным отцом и сегодняшней жизнью. Куда тогда все подевалось — и дом крестовый, и лошади? Но спросил о другом.

— Если Бог в нас, зачем тогда маманя просила боженьку дать ей силы и хранить нас?

— Вера, сын, — опора жизни. По-другому и не скажешь. — Анисим расстегнул рубаху, осторожно снял икону на тесемке и подал Грише.

Гриша взял теплую тяжелую металлическую пластинку. Он и на ощупь ее знал. С закрытыми глазами видел, как всадник на коне копьем змею колет. Он столько раз держал ее в руках. Отец надевает ее только в дорогу, а так она лежит за материнской иконой на треугольнике в углу.

— Благословение моей бабушки. Когда я уходил на японскую, она мне

надела Егория Победоносца. «Не снимай в бою, — увещала. — С ним и прадед твой Роман Антонович, и дед твой Аверьян, муж мой, и твой отец, сын мой, Федор, в ратном деле преуспевали и хранимы были Егорием Победоносцем».— Анисим провел по иконе пальцем. — Вмятину нащупал?

— Палец входит, как в наперсток.

— Пуля угодила, в японскую.

— Да ну! — вскинулся Гриша.

Каждый раз он искренне восхищенно удивлялся, хотя знал эту историю с того момента, как себя помнить стал. Знал он и историю царапины. Но хотелось еще услышать объяснение отца. И он сказал:

— А тут еще есть шершавина, царапина.

— Это прадеда твоего Аверьяна турок копьем достал. А поменьше ссадина — меня в четырнадцатом под Варшавой шрапнелью садануло, — протянул Анисим руку за иконой. — Вот оно как, сын. — Надел ее на шею, помолчал...— Егорий Победоносец смерть отвел, на себя принял. Совпадение? Случайно? — спросил себя. И сам же ответил: — Нет, сын. Богом живем. Богом и возвеличиваемся.

— И маманя говорит: Бог милостивый. А зачем тогда карает? — подал голос Гриша.

Непросто Анисиму ответить. Задумался.

— Да, — спохватился наконец, — было нас у отца, твоего деда Федора, шестеро сыновей и две дочери. Вернулись в отчий дом с мировой войны в четырнадцатом году я и мой старший брат Афанасий, дома был дед мой Аверьян, отец еще дослуживал. Старшая сестра Анисья вышла замуж. Младшая с дедом хозяйствовали. И мы тут с братом подпряглись. Пошло хозяйство опять в гору. Отец пришел хоть и потрепанный на войне, но оклемался, и у меня раны зажили. Дядья, отцовские братья, крепко жили, да и мы не хуже. Младшая сестра уже не справлялась с хозяйством. Решили меня женить, а я уже давно присмотрел Евдокию, маманю твою. Ну, честь честью свадьбу справили. Родни понаехало, возами запрудили двор. Дядя Агафон чистокровну красавицу кобылу привел. Жить бы да не тужить. А тут — гражданская война приспела. Такая началась заваруха... Кто кого... понять невозможно. Красные, белые, колчаковцы, каппелевцы... хлещутся... Раз Гераська, соперник мой из соседней деревни — откуда я брал Евдокию, в красные пошел, то я — в белые.

Гриша от неожиданности даже сел на постели. Он всегда считал отца красным, и сам Гриша, когда играли в войну с ребятами, всегда шел за красных.

— Ты что-то, папань, не то говоришь?

— Не оговорился я, сын. Так оно и было. Как на исповеди. Это вроде как край на край сходились. Раз Гераська за красных, кому-то надо и за белых.

— Ну и ты бы за красных, — выдохнул Гриша.

— Не знаю, сын. Говорю, как есть, а иначе какой смысл... А вот старший брат, твой дядя Афанасий, воевал на стороне красных, был командиром. Может быть, из-за него и меня после не тронули. Не знаю, если бы довелось, как бы мы с братом встретились в бою. Был на моих глазах случай, когда старший младшего изрубил в капусту. Когда сын отца повесил... А за что?.. То-то и оно... Пришли люди в себя, Бог надоумил — опять взялись за плуг. Афанасий уехал в город на казенную службу, а мы с отцом и дедом — хлеб растить, Россию поднимать из нищеты и развалин. Только встали на ноги, а тут колесом по нам.

— Поезд, что ли? — испугался Гриша.

— Поезд... — засмеялся Анисим. — Повымели все до зернышка в амбарах, скот какой был согнали в общий гурт, а нам подводу на двор — собирайтесь... Выстроили обоз вдоль деревни по сибирскому тракту головой на восток, наши же, деревенские, с ружьями и погнали. Кто в чем был. Дед Аверьян успел плуг на телегу забросить да два мешка ярицы из колодца поднял, сеном привалил, а на мешки маманю твою с тобою на руках посадил. Загнали нас за Ангару, в дремучий лес. Ну, думаем, край света.

— А чего вы не побили этих, с ружьями? — вскинулся Гриша. — Ведь

они на вас напали, вы же только работали, никого не задевали, не обижали. Несправедливо вас прогнали... Что же вы, не могли их побить?

— Могли...— твердо сказал Анисим.— И побили бы. А дети? Женщины? Старики? Куда с ними? Бежать в лес? Мы и так в лесу, дальше некуда. Утром встали, тихо, птицы щебечут... Конвой исчез, видно, ушли ночью. Собрались мужики, чешут затылки. За старшего, само собой, дед Аверьян. Братья его, мои средные деды, спрашивают: что будем делать, отец? Дед Аверьян был им за отца. «Как что? Полезем в землю, — перекрестился он на восход, и все встали на колени, сотворили молитву. — Господь, — говорит дед Аверьян, — не оставил нас безродными. Будем рубить землянки. У кого есть топоры — на мою сторону становись. У кого нет ничего — из конских хвостов вяжите невод — река рядом. Бабы — в лес, собирать что съестное. У кого зерно, снесите сюда, на лабаз, чтобы грызун не достал... Евдокия за кашевара...» Весной раскорчевали тайгу — посеяли. А через три года приехали из волости отпевать усопших — у одного конвоира брат раскулаченный был, — приехали с попом и не узнали места: кондовые, с медным отливом дома на высоком берегу Илима, тучные хлеба колосятся, стада на выгонах пасутся — кто такие?.. На Сплавную тебя, Григорий, привезли, ты и не помнишь как, и мы не сказывали. Но уж со Сплавной, когда отработали лесной массив, по доброй воле сюда, в Баргузин, приехали. Так уж судьбой предназначено.

— А чего ж, папаня, на родину не вернулись? Дом ведь там.

— Был я там украдкой. Поглядел — и лучше не глядел бы. Горше видеть мало что приходилось. На поскотине, как въезжать в деревню, вместо ворот два столба с перекладиной да обгорелые сваи — все, что осталось от нашего дома. И целовал я, Григорий, землю, обнимал я эти столбы и никак не мог себя утешить.

Анисим смолк. А у Гриши затеснило в груди: жалко и отца, и деревню свою. Слышал, как тяжело вздыхает отец, ворочается с бока на бок, похрустывая лапником. И еще слышал, как потрескивают дрова в костре и со звоном сплескивает галькой речка. Отец о чем-то спросил, но Гриша слов не разобрал, погружаясь в глубокий сон.

Проснулся Гриша, выглянул из шалаша и сразу не признал, где он. Валил крупными мутными хлопьями снег. Отец сидел на корточках у костра и тоже был весь в снегу. Грише стало зябко. Выходить не хотелось. Снег тихо кружился над костром, шипели дрова. Гриша вылез из шалаша, подсел к костру, вытянув над блеклым огнем руки.

— С собакой веселее было бы, — какие пришли на ум слова, то и сказал Гриша.

Анисим выпрямился, сдвинул обгоревшие концы чурок на середину костра.

— Скука — это, сын, растерянность души перед жизнью.

— Да не растерялся я, — заоправдывался Гриша. — Хотел спросить, сколько часов?

— Часов? А кто его знает, по всем приметам чай ставить пора.

Гриша поднял слезящиеся от дыма глаза.

— Где, папань, котелок? Я схожу за водой.

— Да вот он, с водой уже, — побрякал Анисим дужкой и начал пристраивать котелок на костер.

Гриша вскочил на скамейку и стал высматривать речку.

— Да тут она, никуда не делась, посидел бы в шалаше, не мок бы.

— Я не сахарный.

— Разве что, — согласился Анисим. — Так с чего начнем? Зимовье ставить будем или побегаем по первому снежку?

— Походим, — оживился Гриша. — Потом и за постройку возьмемся.

Котелок зафыркал, Анисим подхватил его, поддев сучком, и пихнул в шалаш.

— Ну что ж, чайку попьем, тело наведем и айда.

Не успели выпить по кружке чая, как снег валить перестал. Редкие снежинки еще кружились, лениво оседая, и Гриша смотрел, как пыхала от их прикосновения зола.

— Ну, вот и солнышко проглянуло, — обрадовался Анисим. — Так стоит ли терять время? Я уж поглядел — следов видимо-невидимо, — подзадорил он Гришу. Достал ружье из-под лапника, передал сыну. — Проверь-ка, заряженное?

Гриша разломил ружье, заглянул в ствол — незаряженное.

Анисим ворошил лапник, что-то искал.

Гриша уже стоял наготове, с ножом на ремне.

— Ну, папань, что-то ты копаешься.

— Котомку не берем? Куда будем дичь складывать? — Анисим достал пустой мешок, положил в него пригоршню сухарей, выплеснув из котелка остатки чая, и котелок туда же, и кружки, чтобы не брякали, переложил их лапником. Вылез из шалаша, заткнул за опояску топор и оглядел сына.

— Ну, кажется, все, с Богом!..

Анисим поднырнул под ветви кедра, Гриша — следом. Снег взрывался под ногой и в просветах между деревьями горел на солнце, до боли в глазах. И лес, и река, и горы — все в одночасье переменилось. Будто и не шли вчера по этому лесу. Тайга словно в тулуп вырядилась, дорогой воротник надела. Тесно стало. Особенно где заколодило, не знаешь куда ступить. Гриша споткнулся, но ружья не выпустил из рук.

— Куда ты, Григорий, торопишься? Наша добыча от нас не уйдет. Давай ружье, надо будет — верну.

Гриша передал ружье, и тут им на головы посыпался снег: выдала себя белка.

— Дай я, папаня!

— На, — отдал ружье Анисим. — Только не горячись. — Он стал обходить кедр, не спуская с него глаз.

— Да вот она, папаня! — закричал Гриша и бросился к дереву.

Белка, перемахнув на соседнее дерево, ушла.

— Спугнул, — подосадовал Гриша.

— А я что говорю, — вышел из-за кедра Анисим, — охотник каким должен быть? Хладнокровным.

— А я готов на дерево запрыгнуть, — признался Гриша.

— Стой тут, — тихо сказал Анисим, — и смотри во-он на ту вершину, — показал он палкой.

Гриша впился глазами в макушку дерева. Анисим, пригибаясь, чтобы головой не задеть веток, осторожно подошел к дереву. Грише показалось, что отец сейчас полезет за зверьком. Но отец поцарапал ногтями кору, и тут же словно взорвалась макушка кедра, осыпался с нее снег, обнаружив белку. Анисим обернулся и, приложив палец к губам, потихоньку вернулся.

— Не торопись, — прошептал он, — выцели.

Гриша с замиранием сердца поднял ружье. Белка забеспокоилась, намереваясь переметнуться на другую ветку. Грянул выстрел. Снег осыпался и с соседних деревьев. Дым рассеялся, но ни белки, ни снега на макушке кедра не было.

— Испугалась, уйдет, — оправдывал промах Гриша.

— Кажется, задел, чуть бы повыше, — шаря глазами по деревьям, определил Анисим. — Она тут где-то затаилась. Поищем.

— Пошли, — с радостной готовностью кинулся Гриша.

Но Анисим придержал его за рукав, показал цепочку следов и спокойно попросил:

— Только бежать не надо.

Не прошли и ста шагов, как затарахтело над головой, подал голос зверек.

— Папаня!

— Вижу, — негромко сказал Анисим. — На лиственнице... — Он посмотрел вокруг себя, нет ли подходящей опоры для ружья, но не увидел. — Положи ствол мне на плечо, а перед выстрелом задержи дыхание. — И пригнул голову, чтобы Грише было удобнее целиться.

Анисиму казалось, уж чересчур долго целится сын. И выстрел был негромким. Белка вместе со снегом упала к ногам охотника.

Гриша и ружье бросил, кинулся за добычей...

День клонился к обеду. И как ни сопротивлялся, ни жался в низины охладевший за ночь воздух, солнце пока еще брало свое. Разметывая снег, распрямлялись ветки деревьев и кустарников, и нельзя было теперь разобрать, где зверек, где солнце сработало.

— Не повернуть ли нам к шалашу? — предложил Анисим. — И так неплохо поохотились, без лайки — шесть белок, рябчик...

Гриша все еще не мог унять охотничий пыл.

— Если бы не промахнулся, папань, было бы семь белок.

— Ты как насчет каши, Григорий?

— Поел бы, подвело.

За разговорами и не заметили, как подошли к шалашу.

Анисим освежевал добычу, рябчика отложил на потом. Достал из мешка узелок с пшенной крупой. Слой беличьего мяса, слой пшена, воды подлил из кружки. К котелку горячую золу пригреб. Пока собирал на стол, натягивал шкурки на пяльца, котелок уже вовсю пыхтел. И такой аромат, что Гриша не усидел.

— Ну, папань, скоро? — напоминал то и дело.

— Вот нетерпеливый, — Анисим и сам поминутно совал нос в котелок.

Когда поднялись из-за стола, Анисим взялся за топор.

— Пора инструмент в дело пускать...

— Заездок или зимовье? — спросил Гриша.

— Это уж как решим, — высматривая, в какую сторону податься, ответил Анисим.

«Если заездок, тогда с удочкой не посидишь», — прикинул Гриша. Анисим как будто угадал мысли сына:

— Загородим речку и тюкать зимовье примемся.

— Без мяса тоже тоскливо, — Гриша не хотел сознаваться, что ружью предпочитает удочку. — С ружьем можно походить, пострелять, глухаря поискать и козла выследить... А то орет по ночам как недорезанный. Доорет...

Анисим засмеялся, думал, Гриша не слышит ночной рев козла.

— Само собой... — поддержал Анисим сына.

Не так просто оказалось определить место для заездка. Там, где сужалось русло, глубина недоступная. На перекате — не позволяло дно реки. Измочалили не один кол, а вогнать в дно не смогли — мешали камни. Походили, походили по берегу, решили каменную запруду строить. Попинали снег, собрали камни, какие под ногу попали. На метр продвинулись от берега, и все. Одно оставалось — когда скует берега льдом, примораживать русло, но когда это будет, перекат долго не поддастся морозам.

Сколько Анисим ни вглядывался в речку, не видел выхода. По плесу плыло снежное месиво, казалось, прижми мороз, и остановится река, но как только подходила шуга к порогу, где вода переламывалась, корка льда крошилась на пороге и выплескивалась на перекат.

— Да-а, не скоро рекостав справится с порогом, — вздыхал Анисим. — А сунься бродить — и рыбы не захочешь...

— Папань, знаешь, что я скажу? — не отрывает глаз от реки Гриша. — Видишь, на том берегу над перекатом лиственница стоит?

— Вижу. Размашистая, подмытая водой, похоже, что весной ее унесет.

— Да не к тому я. Уронить бы на нашу сторону — мост готов, и рыбачь с моста...

— Мост, говоришь, — задумался Анисим. — А вот как на реку попасть? Вот вопрос.

— На плоту, как еще? — подсказывает Гриша.

— Ясно.

— Я и на плот и дерево высмотрел, — показал Гриша на сухостоинку на закрайке леса.

— Ну, если так, будем тюкать. Неси пилу.

Гриша принес. Свалили сухостоину, распустили. Вязали плот распаренными на костре березовыми прутьями тут же, на забереженном льду. Плот на воде сразу осел. С шестом в руках Гриша вскочил на него, но шуга тут же облепила бревна, со скрежетом давила к берегу.

— Двоих не возьмет, — с сожалением сказал Анисим.

— Да ты что, папань, — попрыгал Гриша на бревнах. — Возьмет...

— Постой, Григорий, не горячись. Не одолеем до водопада речку, течение свалит на пороге и сбросит, — потыкал Анисим рукой в русло реки.

— Навалимся в четыре руки, подналяжем...

— Хоть в две, хоть в четыре руки, не устоять... Ты как хочешь, не возьму я тебя за реку.

— А кто придумал мост? Я и легче тебя...

— Не спорю. Ты — так ты, — как бы сдался Анисим.

— Давно бы. — Гриша только опустил шест и нагнулся взять топорик, как плот зашуршал, разворачиваясь в реку. Гриша снова за шест. — Ну, папань!..

Анисим уже пожалел, что затеял с переправой! И отступить не знал как. Придержал плот.

— Давай так: я перегребу реку, а ты на случай, если посудина останется за перекатом, бросишь с берега мне конец веревки.

— А как же ты один валить на мост листвень станешь?

— Топором.

— Ладно... — с обидой в голосе согласился Гриша, спрыгивая с плота.

Анисим отвалил от закрайка, Гриша помогал ему своим шестом с берега. Как только вытянуло плот на стремнину, течение подхватило его и понесло. Гриша хватился, а веревка и не приготовлена. Кинулся к шалашу. Анисим навалился на шест, пытаясь протолкнуть неподатливый плот поперек русла реки, но лед, преграждая путь, наползал на плот, пригружая его, и Анисим чувствовал: шест сантиметр за сантиметром уступает под натиском шуги, а плот зарезается под воду. Вдруг плот качнуло, и он, стряхнув лед, выправился. Анисим успел перехватить шест и с новой силой уперся в дно, но шест завибрировал на глубине, заскользил по гладкому дну, ища опоры.

Анисим глянул на водопад, ему показалось, что плот теперь остановился в плену шуги, а отсвечивающий своим стальным холодным горбом порог надвигается с неукротимой быстротой. Шест все еще не находил опоры и бороздил дно. У Анисима мелькнула мысль выбросить на берег топор, он потянулся за ним и качнул плот. Ломаясь, лед отпустил его, в это время шест нашел опору, и Анисим сильным рывком оттолкнулся, опять качнув плот. Он немного продвинулся вперед. Анисим уже не смотрел на порог, а работал, собрав все силы, до крупицы.

Когда Гриша прибежал с веревкой на берег, плот уже чалился к другому берегу.

Гриша с облегчением вздохнул и зашел повыше на берег, чтобы лучше было видно отца.

— Григорий! — крикнул Анисим. — Отойди подальше, насупротив переката, чтобы я видел, куда «ставить» твой мост.

— Видишь? Вали на меня...

— Подальше отойди и палку в руку возьми.

Гриша отошел и остался стоять с поднятой в руке палкой. Топор отца звонко хлестнул по дереву и запел над рекой. Сильный голос в такт топору мощно отзывался в пророне реки, вздыбливался на вершину горы и гулким эхом стрелял уже оттуда. Земля под ногами Гриши содрогнулась, когда со скрежетом затрещало на реке и ухнуло, обдавая Гришу ветром и осыпая снегом с прибрежных кустов и деревьев. С берега на берег, перечеркнув речку, вздрагивая, пролег Гришин мост. Прорубаясь по нему, возвращался отец. Гриша бросился навстречу. Покачался на хлысте. Ветки вздрагивали, нижние хватали шуги, шевелились, шелестели, будто река намеревалась стащить мост.

— Укреплять давай, — спрыгнул с моста Гриша.

Свалили подходящее дерево, замерили дно реки, раскряжевали нужной

длины чурки. Не обрубея сучьев, волокли и ставили их в воду наклонно к мосту. Поперек запруды топили сырые жерди, ветки. Помогала шуга: придавливала и запечатывала дырки в запруде.

Гриша разохотился:

— Давай, папань, перегородим всю речку, тогда и удочкой с моста тайменя достану.

— А куда нам столько рыбы, солить?..

— Можно и вялить, — не понял Гриша.

— А ты не думал, что мы не одни живем на реке... Давай-ка лоток под рыбу мастерить. И место для лотка в заездке подходящее...

Лоток под рыбу сделали из тонких, не очень длинных жердей, наподобие челнока. Тонкие концы связали вместе, а толстые расщепили, сделали пасть — для захода рыбы. Оплели пасть красными таловыми прутьями и утопили между чурками в речку, а тонкие концы оставили с другой стороны заездка, за перепадом воды, сухими. Рыба вместе с водой через пасть зайдет в лоток, на выходе вода провалится сквозь жерди, а рыба останется в лотке. Подходи и выбирай улов. Пока лоток устанавливали, солнце село за гору. В тайге всегда так: за работой не хватает дня. Не было моста — и мост стоит, и вода заметно поднялась, от запруды накатила на припай шуги. И заездок обрастает льдом, сверкают ветки куржаком. А порог еще сильнее бурлит, будто сердится, что, не спросясь, обузили русло. Грише жалко уходить от реки. Да надо — отец от костра окликнул, над котелком колдует. Весь день работали — в тайге обеда не бывает, — сейчас и обед, и ужин, под задушевную беседу, пока сон не сморит...

Проснулся Гриша — отца рядом нет. Почувствовал, как настыли уши. Высунулся из шалаша — костер прогорел, и угли подернулись пухлым белым пеплом. Вскочил, обстучал поленья от снега и подложил в костер, поленья едко задымили и вспыхнули, огонь взметнулся и съел остатки дыма. Сразу стало веселее.

Анисим, пока Гриша спал, спустился по заснеженному берегу. Речка приглушенно шумела, подталкивая на закрайки шугу. Водопад шепотом переваливал через себя воду. «Наелся снежной каши, едва ворочает языком», — подумал Анисим. Ступил на закраек и, как на лыжах, не отрывая ног, прошел по льду, оставляя канавки следов. «Устоялся заберег», — определил, подшагнув на самый край. Зачерпнул воды, оставил на берегу котелок и направился к заездку. Колья и сучья вмерзли и хорошо держали запруду. Анисим зашел на мост, подошел к лотку и увидел: сквозь жерди торчали хвосты — рыба в лотке. Хотел было достать улов, но решил, что Грише будет интересно сделать это самому.

Прискрипывал под ногами снег, с котелком в руке Анисим поднялся к костру.

— Подбросило снежку, — навешивая котелок, как бы с сожалением сказал Анисим. — По-хорошему-то надо бы... если не под крышу зимовье подвести, так матицы накатить...

Гриша не откликнулся — сушил над костром портянки.

— И охоту упускать по свежему следу тоже не хочется... — Анисим смахнул со стола снег.

— Зачем упускать, — встрепенулся Гриша. — Договаривались...

— И я о том. Сходил бы, Григорий, проверил лоток.

— А чего тут, сбегаю, — надернул Гриша без портянок бродни.

— На пожар, что ли? Обуйся как надо.

Гриша подобулся, запахнул фуфайку, подпоясался, сунул за опояску топорик.

— Мешок возьми, — напомнил Анисим.

— Так принесу... — заскрипел Гриша броднями.

— Прижимает мороз... — сам с собой рассуждал Анисим. — И мох драть, и плитку добывать, и глину искать... все будет нас за руки держать...

— Папань, во! — Гриша держал за жабры двух ленков. — Еще не вся...

— Ну-ка, ну-ка! — Анисим стал взвешивать ленка на руке. — В этом фунтов пять-шесть смело будет.

— И этот в котелок не вместится, — вес другой рыбины прикинул на руке Гриша.

— Так, говоришь, оставил еще на берегу?

— Ага. Еще ленок, хайрюз. Налим был...

— Выпустил, ну это ты зря. Для скусу в ухе... налим не помеха... — взялся за нож Анисим.

— Да знаю я, папань, — сглотнул слюну Гриша. — Он сам... Я в беремя хотел его взять, а он уперся своим рулем и как даст в грудь, и скользнул, он же знаешь какой...

— Ну, это его дело, — задержал нож Анисим. — Крупный был?

— С меня... Я еще не поверил, как он в лоток влез...

— Чего же не крикнул? — Анисим вспорол ленка, выкинул только жабры и желчь (остальные внутренности байкальские рыбаки оставляют в ухе). — Ну да ладно. Наш налим от нас никуда не денется.

— Папань, — попросил Гриша, — давай еще голову кинем в уху... Я так голову предпочитаю...

Позавтракали. Анисим заглянул в котелок.

— Э-э, работнички... Два мужика котелок не осилили.

Гриша уже стоял с ружьем. Анисим закинул на спину тощий заплечник, и они вышли на берег.

— Папань, речка-то встала, — удивился Гриша.

— А я подумал, что на ухо туговат стал: не слышу шума, — сказал Анисим.

Притихшее плесо мертвенно-бледно искрилось. Только на пороге еще билась живая вода.

— Вверх по речке или вниз сходим? — спросил Анисим.

— Вверх пойдем, к скалам, — решил Гриша.

— Тогда берегом, какая дичь на льду.

— Пошли берегом, — согласился Гриша, — пока не устоялся лед.

Не прошли и версты, как напали на чьи-то отпечатки.

— К нам шел, папань, — чуть слышно сказал Гриша. — Кто?

По мягкому снегу след тянуло, и Анисим не сразу разобрал, кто прошел: лось, олень или изюбрь. Но когда отпечатки поднырнули под ветви пихты, где не было снега, Анисим твердо сказал:

— Изюбрь.

— Пошли по следу, а, папань?

— По следу, Григорий, — Анисим придержал шаг, — ходят, когда зверь ранен, а так — зачем, где нам угнаться за ним? Да еще когда хорошо тайгу знаешь — переходы, водопой, пастбища, ну и отстой, конечно. Когда можешь определить, куда зверь направление держит. Тогда наперехват — кто вперед...

— Давай наперехват, — подхватил Гриша. — Зверь к речке, а мы забежим навстречу ему.

— У нас четыре ноги на двоих, а у него на одного и какие... Наперехват заходят с большого круга и ждут зверя с подветренной стороны. Если нам бежать, так во-он ту горку огибать — светлого времени не хватит.

И Анисим направился по следу.

— Может, он к шалашу повернет, — предположил Гриша.

— Едва ли. Пойдет зверь вниз по реке. В сыром воздухе острее чувствуется гарь костра. Если уходить ему, так только вверх по реке. На лед побоится... Если отстой в скалах, тогда туда... Вот и гадай.

— Пошли в скалы, посмотрим звериный дом. Он что, на отстое отдыхает? — Гриша споткнулся и стволом ружья достал отца.

Анисим остановился, пропуская Гришу.

— Иди вперед... — И уже в спину Грише ответил: — Дом звериный, говоришь? У него всяко бывает: и отдыхает, и волки загоняют, и непогода.

— И крыша есть?

— И крыша, и засов, и стража... крепость, не доступная волку.

— Я серьезно, папань?

— И я. Выдалась скала, куда изюбрь или олень с ходу запрыгивают, а волк ни с какой стороны подступиться не может. Вот зверь и стоит на площадке как в крепости, это и есть отстой.

— А если волки подкараулят, когда изюбрь спрыгнет из крепости на землю? И схватят его?

— Зверь и это предусмотрел, сверху-то ему видно, да и запахи выдают волка... Правда, он тоже не промах. Бывает, волки гонят зверя — разогревают его, а потом видят, что не взять часом, отступятся. Обложат и не трогают. Ждут, когда зверь сгоряча нахватается снега и начинает дрожать. А они тем временем обужнвают кольцо. Мороз прижимает, гнет зверя, рад бы он бежать, да ноги не слушаются. И валится зверь с ног. Тут волки и наседают.

След, по которому шли Анисим с Гришей, начал петлять. Анисим понял: зверь встревожен.

— Нет, Григорий, — сошел со следа Анисим, — заведет он нас. Надо выбираться. С горы виднее.

Чем выше поднимались в гору, тем глубже становился снег. Чаще преграждали путь огрызки скал, они торчали старыми изъеденными за года клыками. Задавленные снегом кустарники цепко держали ноги. Гриша и шапку снял, и не замечал, как таял на голове снег, а струйки стекали по волосам за воротник.

Наконец забрались на макушку скалистой горы, глянули вниз: под самым обрывом виднелась речка.

— Папань, — Гриша схватил Анисима за рукав. — Смотри... — показал рукой.

И Анисим увидел на другой стороне речки, в тальниковых зарослях, оленей. Вскинув головы с ветвистыми рогами, они доставали молодые веточки, а когда откусывали, макушки кустов вздрагивали.

— Пять, — растопырив пальцы, показал Гриша.

— Да какая нас холера услышит, — потянул носом воздух Анисим. — Сколь раз замечал, снежный воздух сильнее пахнет дальним костром.

Гриша тоже понюхал воздух.

— Наносит. Наш костер.

— Дак чо, Григорий, творить будем?

— Скрадывать..

— Та-ак, — протянул Анисим. — Были бы крылья, бесшумно слетели бы. А огибать скалу — светлого времени не хватит. Так что отставить... И по своему следу возвратиться не успеем.

— Срежем кривун, — предложил Гриша.

— Я тоже так подумал. Давай пошустрее шевелить ногами...

— А завтра прямиком сюда...

— Пасти оленей, — досказал Анисим.

С горы налегке, где пробежкой, а где и юзом, спустились шустро, но когда врезались в заколоденный лес, помучились изрядно. Анисим топором прорубался и Гришу пересаживал через необхватные валежины. Со всех сторон навстречу ощетинились вершины поваленных гигантских деревьев. Анисим достал по сухарю.

— Ах ты, промашку дали, — посетовал, догрызая сухарь. — С горы вроде просвет был, думал, к шалашу, а куда угодили?.. Давай-ка, сын, дрова готовить да чай варить. Утро вечера мудренее...

Окончание следует



АЛЕКСЕЙ МАРКОВ



ИЗ ПЕПЛА ПОРОЗНЬ НЕ ВОССТАТЬ

* * *

Куда ты, глупый мир, несешься
От светлых, чистых родников?
Зачем душою с ложью сросся, —
Иль ход истории таков?!

От белокипенной гречихи
И сладостного гуда пчел,
Ромашковых просторов тихих,
От книг, которых не прочел...

От ясной синевы небесной —
В пустой, остуженный предел,
В ошеломляющую бездну
Зловонных слов и мертвых дел...

Уходишь от нажитков века
В бесстыжую нагую даль.
Чернобыльской полынной вехой
По свету разлилась печаль...

Куда ты, милый мир, несешься?
Куда тебя влечет прогресс?
На финише слепого кросса
Сам на себе поставишь крест..

* * *

Скрипят осенние деревья —
По небу пишущие перья.
То время пишет приговор
В почете жившим до сих пор.

И оправдания излишни,
Что все мы — из народа вышли.
Но вы и предали народ.
Встать, фарисеи! Суд идет!

МАРКОВ Алексей Яковлевич родился в 1920 году в станице Нины Ставропольского края. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1952 году. Автор книг стихотворений «Ветер в лицо», «Цветы и камни», «Березы светятся», «Русь всегда за нами» и ряда исторических поэм — «Михайло Ломоносов», «Ермак», «Пугачев» и других. Член Союза писателей. Живет в Москве.

* * *

Да бросьте! Надоел мотив,
Что жидоморлское отребье
Вас гонит нынче в Тель-Авив!
Вас гонит русское бесхлебье!

Ограблена до нитки Русь...
Трясется на ветру осина,
А я никак не научусь
В себе угробить верность сына.

Больна ты, матушка, больна!
Ну как же я тебя покину?
Кому ты, милая, нужна,
Коль надоела даже сыну.

Пускай клепают на тебя,
Что дышишь стужей в инородца!
Извечно, пришлого любя,
Пнуть своего тебе неймется.

Клеветникам России

Правдоискатели лихие!
Почто зажали удила,
Пытаясь в грязь втоптать Россию?
За то, что миру свет несла?!

Кому дано достичь Толстого
И Достоевского высот,
Измерить пушкинское слово
И в Космос Лермонтова взлет?!

Или Суворова уроки,
Или Кутузова прищур
Затмили кухонные склоки,
И разум помутила дурь?!

Почто, поводыри слепые,
Морочите вокруг народ,
Мол, всех обобрала Россия.
А может быть, наоборот?!

Или не кровью россиян
Горчат пучины Черноморья?

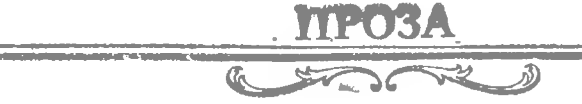
До сей поры саднит от ран
Поля, долины и предгорья.

Доселъ российских деревень
Гниют соломенные крыши.
Прислонишь ухо — и услышишь
Набегов вражьих гром и звень!

Нам порознь, други дорогие,
Из пепла века не восстать!
Плевать в лицо моей России —
Самим себе в глаза плевать!

От возбужденного Востока,
От Закарпатья до Кремля
Объединись в союз высокий,
Разноплеменная земля.

И пусть нам станет флагом общим
Луны и солнца гордый щит,
А тот, кто нас рассорить хочет,
Да будет Господом забыт!



ВАЛЕНТИН ВОЛКОВ



РАДОНИЦА

РАССКАЗ

Дым за дымом отклубились над крышами деревни. По безлюдным улицам тают поджаристые запахи праздничных печных труб.

Просыпается под солнцем, сдвигается с места настывшая, загустевшая за ночь роса, с разноцветными огоньками внутри течет по веткам, переливается из капли в каплю, сверху вниз, к земле.

Людская жизнь вся еще в тишине, под крышами, под высокими криками петухов, за крепкими дверями и воротами, за ночными занавесками.

Сонная, нагулявшаяся с вечера молодежь лениво отворачивается в постели от наступающего света окон, тянется и вздыхает со сладкой теснотой в глазах. Взрослые торопятся убраться по хозяйству, пораньше позавтракать и до прихода гостей успеть переодеться в праздничные одежды. Сегодня — Радоница. Поминание родителей. И в селе, и в городе готовятся к этому дню заранее: домашние гостинцы, бумажные цветы, горсточка зерна, вербные веточки с полураспущенными сережками.

Годовой праздник.

Почувстаовав, что убралась окончательно, Кузьминина моет руки, насухо вытирает их мягкой тряпкой и присаживается к столу. Осталось только пе-

---

ВОЛКОВ Валентин Алексеевич родился в 1936 году в селе Ивановское Козельского района Калужской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих поэтических и прозаических книг. Член Союза писателей. Живет в Калуге.

реодеться да причесаться. Скоро мимо дома зашагают люди из соседних деревень, понесут поминальные узелки, позовут и ее с собою. День такой в целом году один, выдался рано, до сева, земля еще не просохла, трактора буксуют и ломаются — никто не помешает сходить на кладбище.

Белый, испачканный сажей платок сам собою сползает с головы, падает на худые колени. Привычным движением руки Кузьминина опускает на спину спутанные, как намыка, седые длинные волосы, ищет гребень. Давно выпавший из них, он спокойно лежит на столе, белый, алюминиевый, с поломанными и погнувшимися зубьями. Много раз терялся он в сенцах, в дровах и мусоре, в амбаре среди мешков и ящиков, во дворе, в сенном сарае — везде, куда носила ее каждодневная домашняя суматоха, терялся, но снова находился. Вот чему не пропáсть! С войны служит, в волосах как надо не держится, а бросать жалко. Привыкла. Пропади он совсем — не пожалела бы. Но нет, не пропадает гребень, служит ей, как служил когда-то, в пору молодого бабьего лета, и верно, будет служить, пока сама она не свалится где-нибудь в темном домашнем углу.

Полная ожиданием особенных в этот день встреч и переживаний, она уже не торопится, причесывается без обычной спешки, медленно, с наслаждением. Не каждый день праздник, не каждый день и присмотришь за собой. Из-за спины волосы перекидываются на грудь, треплются ребром ладони — так трепали когда-то кленовым трепалом мятый лен или пеньку, — с помощью большого пальца разделяются по рядку на две косицы. Одна отправляется за ухо, на спину, другая остается на груди. Чуть касаясь и позванивая, движется по ней гребень. Голова свешена набок. Глаза полуприкрыты. Следом за гребнем — вверх, вниз — мягко движется левая рука.

То же самое проделывается и с другой косицей, и скоро, смазанные репейным маслом, ровные, чесаные, душистые, волосы ее льются, как дождевая вода с крыши, до самых колен.

Глядя на них, удивляется старуха — еще густые и крепкие! Пообсеклись только самые кончики, истончились, как паутинки, а выше, на сколько хватает глаз, еще такие плотные, что сквозь них не видно даже света окна. Шестьдесят лет, а ноги ходят, руки не отказывают, и волосы — не хуже, чем у молодых баб.

Поживет еще Катерина Кузьминина!

В это время с улицы доносится хриплый, но хорошо слышный женский голос:

— Не ходила?

Обрывая мысли и подвигаясь к окну, Кузьминина отводит волосы от лица. Кто бы это в такую рань? Сквозь реденький кустик сирени она различает красивую фигуру Смольниковой, молодой женщины из соседней деревни.

— Пойдешь?

Навалясь грудью на изгородь палисадника и цепко держась за кол холеными пальцами (на одном из них красуется коричневый, крупный, как майский жук, перстень), Смольникова печально смотрит на нее — красивая, стройная, в помятом и запачканном землей дорогом заморском пальто с черно-серебристым воротником, в сером пуховом платке, в простых резиновых сапогах. На бледном припухшем лице — темное горе.

— Чего ты? — не понимает ее Кузьминина и порывается выскочить на крыльцо, но Смольникова снова, сильнее прежнего повторяет свой вопрос:

— На кладбище пойдешь?

— Ну как же! — досадует Кузьминина, быстро отстраняясь от окна, и недовольно ворчит: такая рань! В храмах еще служба не окончилась, а она, пьяница, уже нахлебалась! Первый год без мужа, не знает, бедная, когда и как ходят на кладбище! Дура неразумная! Напоминалась ни свет ни заря и прется раньше всех! Господи!

Ворчит старая и прислушивается: не поднимается ли незваная гостья на крыльцо? Не открывает ли дверь в сенцы? Потому и от окна отступила, чтобы не заниматься с пьяницей: будет сквернословить в такой святой праздник!

Увернувшись от Смольниковой, она снова берется за гребень и теперь

уже быстро заканчивает с прической. Тяжелый узел волос прикрыт чистым, новым платком.

Откуда-то с конца улицы доносится вдруг неровная крикливая песня:

Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.

Кузьминина притихает, прислушиваясь, и узнает все тот же хриплый голос.

Бывшая когда-то замужем за авиационным мотористом, Смольникова, в то время учительница начальных классов, променяла его однажды на случайно подвернувшегося шофера из автоколонны, к двум своим детям прижила от него еще двоих, переехала в другую деревню, школу забросила, устроилась продавщицей в магазин. Перемены оказались печальными. Надо было сломать себе жизнь (и не только себе), чтобы за пять лет суеты с другим человеком понять, кем был для нее отвергнутый, год назад умерший от разрыва сердца моторист. Потому и пала на душу эта живая громкая песня, что была она о летчиках и тех, кто готовит самолеты к полету. В ее широкой распевности — дорогие для нее намеки, воспоминания, непоправимость.

Песня то поднимается над землей и летит высоко, то спотыкается обо что-то и падает, и тянется понизу, по самой дороге. Вот и совсем снижается, никнет, словно сама поющая наступает на нее заплетающимися ногами, и уже не песня, а какое-то длинное мычание волочится, тащится по мокрой земле, как тряпка. Грех распевать в праздничное утро! Над бабой смеются, глядя из окон, осуждают, показывают пальцами, но Смольникова не замечает никого, не останавливается, поет себе и поет, повторяя одно и то же — строки с любимыми словами «крыло самолета», «море тайги» и невыразимое, таинственное «о чем-то». Она теперь знает — о чем. Жизнь научила...

В некогда быстрой и прямой походке Смольниковой скоро появилась полусогнутая медленная степенность с поминутным посматриванием под ноги.

Под крылом самолета...

«И жалко бабу, и ничем не поможешь», — качает головой Кузьминина, провожая на другой конец деревни затихающую песню и думая, как это странно и непонятно получается у людей: вот бил ее муж за измену, за свою опозоренную судьбу, за детей своих — и на них падает тот же позор! — гонялся за нею по чужим дворам, по чужим городам-поселкам, пока сам на смерть не наткнулся, а она, дура брошенная, налила глаза с утра пораньше и ни свет ни заря прется к нему с поминанием!

Невольное сочувствие к судьбе одинокой женщины вдруг пробуждает у старой стыд за то, что не вышла она в сенцы, на голос ее, и не пригласила к себе домой. Посидели бы. Подождали бы других. Но совесть ее скоро успокаивается: сегодня — Радоница, праздник. Будет здесь кричать, материться! Грех!

Неожиданно отворяется дверь, в дом входит высокая, тонкая старуха с крутым носатым лицом, здоровается, как обычно, тихо, шепотом, словно боясь кого-нибудь разбудить; вытянутая в струну, на цыпочках продвигается от порога на середину комнаты и уже громко, не скрывая злорадного коленца в голосе, интересуется:

— Чтой-то она к тебе?

— Кто?

— Шоферова баба...

Не может Кузьминина спокойно выносить настырную любознательность Алтыновой. Где бы что ни случилось, кто бы к кому ни пришел, ни приехал — все ей надо знать, обо всем пронюхать! В другой бы день — оговорила бы! Но сегодня — праздник. Нельзя. Поднимется ругань, дым коромыслом. Лучше промолчать.

— Ай не в духе? — пристает к ней не получившая ответа Алтынова. — Ай не с той ноги поднялась?

Терпит Кузьминина, не отзывается. Деловито выдвигает из шифоньера ящик с тряпьем, молча копается. На часах — десять, время и собираться.

Зная всегдашнее по праздникам нерасположение к себе со стороны соседки Алтынова не обращает внимания на нее, усаживается на лавку поближе к окну, чтобы наблюдать за улицей, спокойно, но уже чуть подмасленным тоном замечает:

— Погода погожая. Народу на погосте много будет, и голосьбы тоже. Как думаешь?

Кузьминина словно воды в рот набрала, словно и не к ней обращаются. Широко расставив ноги, согбенно продолжает копаться в ящике, перебирая сложенные стопочкой шали, платки, полотенца. Развернет один платок — положит. Достанет другой. Сегодня нужен особый наряд — черный, под цвет земли. Чтобы ни цветочка, ни каемочки светлой.

Алтынова тоже замолкает, пережидая.

— Прошлую вёсну... помнишь? — опять начинает, не выпуская из виду улицу. — Паска ранняя выдалась. Грязь, вода, снег. Могилы порасплылись, порасслюнявились — не подступишься.

— Помню.

— Баба Новосельская, — вдруг начинает смеяться Алтынова, — подшагнула к ограде... ноги разъезжаются... Только обложила себя крестом — бах!.. Упала!.. Аж вода из-под ней!..

Смех разрывал старуху. Как ни крепилась Кузьминина — тоже рассмеялась.

— И чего ж тебя, дуру стогодовалую, нечистый расхватывает! — смеется и бранится Кузьминина одновременно. — У тебя там никто не схоронен, ты и ходишь, носом своим страшным водишь, высматриваешь, кто как голосит да кто как причеты причитывает...

— А что ж ты, — горячится Алтынова, — Смольникову не пригласила к себе? Чего ж пирожком не угостила? Она кричала в окно, звала, а ты глухой прикинулась и на порог не показалась! Вот это грех так грех! — платит Алтынова той же монетой и, довольная, усаживается поудобней.

Кузьминина запинается. И сама она знает, что поступила нехорошо, не пригласила, не посадила за стол. А ведь праздник же! Надо было отбросить все... надо было...

— Что ж молчишь? — торжествует Алтынова. — Так-то лучше! Помолчи, подумай...

Вся праздничная благость тускнеет в минуту — Кузьминина не знает, как оправдаться перед подругой, отправляется за ширму переодеваться.

— Да... Не вышла... Плохо... — оправдывается она не столько перед Алтыновой, сколько перед самой собой и перед святым праздником.

Дождавшись, когда Кузьминина переоденется и выйдет из-за ширмы, Алтынова как бы невзначай спрашивает:

— Паску-то носила святить? Я не носила: свечку пожгла, водой побрызгала — осталась от прошлого года — и ладно.

— Да ну тебя! — отмахивается Кузьминина и направляется к божнице, достает с нее белый марлевый узелок с кусочками освященного кулича, яйцами, творогом и салом.

За окном крик:

— Дев-ка! Пошли-и!

Две малорослые бабы — Крылова и Коровина — стоят перед домом с такими же марлевыми узелками в руках.

— Иде-ем! — отвечает Кузьминина. — Подождите! — и берется за увесистый, давно приготовленный дверной замок.

Апрель по-осеннему желт и стар.

Безжизненно покачивается сухая, бескровная трава по избитым рубежам дороги. Кое-где сквозь нее уже проклевывается красноватый росток щавеля, кудряшки рябинника и полыни раздвигают собою старые стебли. Еще не было ни тепла, ни грома с дождиком. На буграх сухо и пыльно, в низинах еще дотаивают последние косички снега, копится сырой тинный запах.

Тяжело переставляет Кузьминина больные ноги. Тесная новенькая фу-

файка сдавливает плечи, вяжет движения рук, но кладбище совсем близко, и праздник прибавляет ей сил.

С каждым шагом все чаще возникают перед глазами полузабытые лица матери и отца, умерших в неведомо какой давности, братьев, расстрелянных в оккупацию, сестер... Все они когда-то жили с нею, топтали эту землю, работали, разговаривали, спали на одних и тех же кроватях, носили одинаковые лапти, онучи, зипуны и шубы, и в живое свое время так же ходили на Радуницу по этой самой дороге, на это же кладбище, с таким же узелком в руках и горсточкой зерна в кармане. Сколько времени протекло с тех пор, как подрезались их ноженьки? Много. А она за всех них живет, и волосы у нее еще крепкие и густые.

Трепещут в небе поющие жаворонки. Светит солнце. Скрипят неподалеку телеги, нагруженные соломенными одоньями. Громко переговариваются впереди идущие женщины. Ничто уже не трогает Кузьминину — она готова закрыть глаза, чтобы ничего, кроме дорогих лиц, не видеть перед собой.

На поле, за кладбищем, трактористы старательно жгут прошлогоднюю солому. Целые стога охвачены огнем. Веселый дым, радуясь простору и ветру, закидывает хвост то в одну, то в другую сторону, огромный и длинный, становится на попа, качаясь, поднимается к небу, и тогда стога словно повисают на парашютах.

Из кладбищенских кустов уже раздается чей-то плач.

Кузьминина прибавляет шагу, догоняет Крылову и Коровину, запыхавшись, спрашивает:

— Кто же это так сильно голосит?

— Смольникова.

Навстречу поднимается истошный крик с причетами — ветер заламывает его, как лозинку, гнет и раскачивает над землей, и всем, кому слышен он, подступает комком к горлу особенный смысл наступившего дня. Обрывая беседу, все трое — каждая со своим узелком, со своей памятью, — кланяясь кустам, разбредаются по «своим» уголкам. Пока пройдут через все кладбище, треща крапивным сухостоем, будут креститься на все стороны, здравствоваться с теми, кто пришел раньше них.

Народу прибавляется. Свои. Из чужих деревень. Пожилые. Молодые с детишками. Убирают мусор. Сморкаются. Плачут. Тихо переговариваются через ограды, успокаивают друг друга. Детишки с печальным любопытством наблюдают за ними, ежатся от холода и нетерпения поскорее удрать домой. Им непонятно, отчего это плачут здесь, корчатся на земле, кричат в голос. Они боязливо оглядываются, прячут подбородки в воротники, хмурятся и сами готовы зареветь. И тогда обязательно кто-нибудь обласкает их — какие хорошие ребята! — и угостит пряником или конфетой.

Туда, где за кустом бузины сильнее других кричит Смольникова, и ведет Кузьминину кривая, чуть брезжущая сквозь мусор тропинка. Там, под высокой многоствольной ветлой... тесно друг к дружке... мать и отец... братья и сестры... ее последышек — трехлетний мальчик Ваня...

Она уже волнуется, дыхание сбито, глаза опущены. Кто-то обращается к ней, здоровается, спрашивает о чем-то — она уже никого не слышит, не видит. Она идет к с в о и м. Не останавливается даже возле Смольниковой, которая, одурев от крика, молча сидит на земле в дорогом своем заморском пальто, бледная, перепачканная глиной. Подойти бы, успокоить, вымолвить бы словечко, напомнить о том, что земля еще не прогрета после зимы, что сидеть на ней грязно и вредно, но глаза уже наполнены слезами, двоятся и размываются в них стволы деревьев, ограды и памятники. Она уже не стоит, а преклоняется к холмику, ноги слабнут, губы шепчут растяжливые, кровные слова.

Черная темень земли провально открывается перед нею, и еле заметные, еле различимые, растворенные в темноте лица ее родных, медленно всплывая, приостанавливаются на миг, как бы по неведомому знаку своего родового единства. Одни — давно умершие — далеко, их черты размыты и почти неузнаваемы. Другие совсем близко — протяни руку и достанешь. Хочется приблизиться к ним, позвать: подойдите поближе... отец и мать... братья и сестры... надо сказать вам что-то...

Рука на память отыскивает узелок, развязывает мягкие марлевые концы — запах поджаристого хлеба охватывает дыхание.

— Земля вам пухом.

Губы вытягиваются в нитку; она ничего не видит, кроме одного ясного личика — утреннего солнышка — личика Вани, последышка своего, трех лет от роду убившегося со стула. Надо бы и ему что-то сказать, но он и говорить не научился, только ресничками двигает. Сколько бы теперь годков было тебе, сыночек! И ведь приказывала, приказывала: не лезь! не лезь! Говорила: убьешься! Не послушался. Так и получилось.

Пальцы нащупывают ядреное, крашенное луком яйцо, сжимают его крепко: возьми!.. но лицо ребенка, дернувшись отражением на воде, пропадает во мраке... Мертвая прошлогодняя трава колко упирается в ладони, старая мать открывает невидящие, потусторонние глаза, щурится от света и, продышавшись, тяжело поднимается с корточек.

— Царство вам... сестры и братья...

Народу кругом прибавилось. Трактористы, что с утра жгли солому, уже здесь, снуют, толкаются между старушками, поминают знакомых и незнакомых, пьют водку, уважительно закусывают, приговаривая:

— Им погнить, а нам пожить.

Не зная, как лучше обставить поминки, — для своих ничего не жалко! — не все, но многие, кроме обязательных приношений — кулича, яиц, творога, — приспосабливаются ко вкусам современного человека, обновляют древний обычай и приносят с собою грешную поллитровку, стаканы, огурцы, кочанные листья. И сами пьют, и других угощают. Возле них и праздник, возле них и народ. И ходит жирный, захватанный стакан ото рта ко рту, от могилы к могиле, и кивают ему веселые головы, и роятся беседы на целое лето вперед: поможем дома, привезем соломы, напилим дров, вспашем усадьбу, сварим железную оградку с крестом...

Отворачиваясь от пьяниц — грех распивать вино в таком месте! — Кузьминина рассыпает по могилам зерно для птиц, крошит хлеб и творог, стряхивает освободившуюся марлечку и, еще раз поглядев на с в о и х, выбирается из кустов. Теперь можно и встретиться с подругами из соседних деревень. Где они? Иные уже собираются домой, чтобы, наплакавшись, не развеивать в пустой болтовне горевого своего настроения. Иные затаиваются в отдалении, подальше от пьяного шума и ненужных соболезнований. Это родственники тех, кто умер недавно, чьи могилы еще свежи, не заросли травой. Всяк по-своему празднует этот день. Привыкнут и они, и так же, как многие, будут собираться в кружок, выкладывать друг перед другом свои печали и радости.

— Бабушка! — выходит навстречу Кузьмининой незнакомая молодая женщина в красном, не по празднику ярком плаще. — Здравствуйте!

Старая ответила ей поклоном, поинтересовалась:

— Ищешь кого? Так гуляешь?

— Ищу, — оживляется незнакомка. — Мать свою потеряла. Схоронена здесь в пятьдесят третьем году.

— Кто ж такая? — силится Кузьминина припомнить покойников названного года.

— Митрофановну знали?

— Ну как же! Труханову? Одногодка. Возле церкви жила. А ты — не Райка ли, дочь ее?

— Райка.

— А меня не признаешь?

— Да уж признала! — обнимает она Кузьминину, и приступ рыдания сотрясает ее. — Милая!.. Тетя Катя!.. Помоги!.. Никак не найду своей матери. Все тут позаросло у вас бурьяном да бузинником... Самой первой электричкой из Москвы поехала, собиралась подольше побыть здесь, могилку прибрать, посадить что-нибудь для заметки... Помоги, тетя Катя!.. Может, вспомнишь, где схоронили ее... На денек отпросилась у заведующей. Боюсь, опоздаю и ни с чем, ни с чем вернусь...

— В заводе ай на фабрике?

— В ателье. Пальтошницей работаю.

— Хорошо пристроилась.

— Дура я... За столько лет не наведалась ни разу.

— Ладно, — высвобождается Кузьминина из сильных объятий приезжей землячки, — не голоси! Поищем сувместно, всем обчеством, глядишь, и найдем твою Митрофановну.

Не переставая плакать, Труханова успевает пересказать ей всю свою жизнь, прожитую на стороне. Больные, непослушные дети. Ревнивый муж. Беготня по магазинам, очереди, работа. Это и было все то, что мешало ей приехать сюда вовремя.

Помогая друг другу, они выбираются на стежку, где стоят кружком несколько человек.

— Теперь ее не найдешь, — разуверяет сама себя расстроенная Труханова. — Помнится, здесь в пятьдесят третьем, — показывает она рукою на непроходимые заросли смешанного кустарника, — березки росли, яблони... Просторно было... Теперь — и примет не осталось.

— Милая, — сочувствует ей Кузьминина, — рази это кладбище? Ни порядку, ни сторожа, ни указшика... Одна неразбериха. Кто где надумал могилу копать, тот там ее и копает, и ему все равно: твоя ли тут мать лежит, чужая ли. Ему надо свое получше положить, подальше от края, от дороги, чтоб скотина, к примеру, не затоптала, пьяная машина не наехала. Это понятно, все так хотят, да зачем же другие могилы рушить? Я, грешница, говорю: нынче даже мертвых норовят по блату пристроить за счет других мертвых. Во мода пришла! А погляди на ограды! У кого есть сила, нахальство — ворочают дуром. Надо поставить обыкновенную оградку — ставят в три раза больше... Как огород, хоть свеклу с картохами сажай!.. Место захватывают... А зимою!.. Что делается зимою! Рая, милая, поглядела бы ты! Приедут могильщики, трактористы да электрики, видят — земля смерзлась, ломом не уковыришь. Так они, родимцы, пропойцы проклятые, что придумывают! Не лопатой, а трактором...

— Что-о? Как же это?

— Загоняют его... с подвешенной вертушкой... железка такая, ямки для столбов копать... Загоняют прямо на погост и вертушкой этой роют где ни придется! Одурели, а!

Труханова почти не возмущается, согласно кивает головой — не в диковинку слышать ей подобные рассказы.

— И креста не поставила? — вспоминает Кузьминина о пропавшей могиле. — И креста не поставила?

— Нет. Не поставила.

— Тогда и нечего искать.

— А время-то какое было! — плаксиво и поспешно защищается Труханова, трогая сзади Кузьминину за локоть. — Вспомни! Печки топили хворостом, на себе таскали за четыре километра. Ни лошадей, ни машин. Столба дубового не достанешь, а достанешь — не принесешь. Забыла ты, тетя Катя, как хоронили ее! Забыла совсем! А я помню: хватились гроб делать, а из чего — нету ни тесинки. Ни дома, ни в колхозе. Куда подаваться? Хорошо — ворота на дворе были, старые... С них и тес, и гвозди... Эх! Забыла ты! А я помню. До креста ли мне тогда было? Одна осталась. Одна. Ни отца, никого. Пустой дом. Помянили — я и завербовалась на торфоразработки, думала: вернусь — все сделаю, и ограду, и... Да спознналась с одним... и присохла, как грязь на колесе.

— И получается: работала, работала Митрофановна, всю жизнь угомону себе не находила, а за работу свою и креста деревянного не заработала. Во как! Ни от дочери, ни от колхоза! Померла, сердешная, — и как ветром сдуло, следа не осталось.

Благодушие, с каким в первые минуты встречи с Трухановой Кузьминина называла ее милой, тотчас уступило место ворчливому старческому тщеславию. Нельзя спокойно выслушивать такие речи! За столько лет не вспомнить про могилу матери — и в голове не укладывается!

— Тетя Катя, да я... Да разве... — пытается оправдаться Труханова, но усилившееся рыдание не дает ей говорить.

— Молчи! — с нарастающим отчуждением продолжает Кузьминина, обшагивая чужие могилы. — И плакать после этого стыдно. Все вы, нонешние, баламуты и чужбинники, с ума посходили! Зачем же, скажи мне ради праздника святого, спонадобилась тебе эта могила теперь? Жила ты без ней — и жила бы!

Труханова даже приостанавливается на миг от такого неожиданного упрека старой женщины.

— Да как же!.. Да можно ли так?..

Собравшиеся в кружок старушки, уже отплакав и наслушавшись чужих причитаний, все с тем же притворным для Трухановой праздничным благодушием старательно осматривают ее со стороны: да чья же ты, матушка? да откуда явилась такая расхорошая? да кто у тебя здесь лежит?

Белые, опорожненные от куличей марли и платки торчат из карманов новых, выходных фуфаек — от них еще пахнет сдобным тестом и творожной сывороткой.

Когда Труханова называет им себя и рассказывает о своем горе, все вместе они отправляются искать уголок на кладбище, где росли березы и яблони, видимо, срубленные кем-то.

Одно за другим называются имена похороненных здесь с пятьдесят третьего года, болезни и несчастные случаи, оборвавшие людям жизнь, воспоминания следуют за воспоминаниями, споры за спорами, доказательства за доказательствами, но точного места, где покоится их подруга, никто не может указать. Широкие, захватистые ограды с железным упорством отстаивали вверенные им территории.

Только теперь Труханова ясно понимает: слишком поздно она вернулась сюда. Если бы даже и указали ей эти старушки на приблизительное место нахождения материнской могилы, она бы, кажется, и не поверила им. Ведь за столько лет ее отсутствия здесь не один раз перелопатили кладбище, беспорядочно всаживая одну могилу в другую. Может, вот здесь, где она стоит в своих красных сапогах, рассыпан потревоженный прах ее матери, и в том, что его потревожили, осквернили, выбросили наружу, затоптали ногами и разнесли на подметках, не чья-нибудь, а единственно ее вина.

— Пораньше бы, матушка!

— Пораньше бы!

Слушает Труханова, скрепя сердце, соглашается — да, да, пораньше бы, пораньше! — а в душе заодно с тупой нарастающей оторопью перед непоправимостью случившегося растет, поднимается острое несогласие: как же так! материнскую могилу стерли с лица земли, а вы, люди, живущие здесь, не приглядели за ней, не защитили, и даже теперь, когда это случилось, вы спокойно стоите и рассуждаете! Она же, мать, лучшая в колхозе пахарица, жила и работала вместе с вами, месяцами пропадала на лесозаготовках, на расчистке и ремонте военных дорог, водила с вами карагоды, пела песни — что же вы, люди, так быстро забыли о ней?

— Пораньше бы, матушка!

— Пораньше бы!

Надламывая тонкую веточку, она растерянно смотрит на собравшихся, молча осуждает их, потому что ей не выговорить всех пронесшихся в сознании упреков: больше их виновата она сама, и все-таки не хочется верить, что приехала она сюда напрасно. Неправда, собственная память поможет ей!

Со стороны доносится слабый стон, и все оглядываются. Неподалеку от них лежит на земле, словно брошенная, одинокая Смольникова. Уже не плачет. Просто лежит на сырой глине, обнимает расплывшийся от воды холмик, не хочет уходить.

— Вот, — назидательно указывает пальцем Кузьминина, обращаясь к Трухановой, — а тебе, девка, и припасть не к чему!

Труханова кусает губы, отворачивается. Да, мысленно соглашается она, у каждого человека должно быть такое место, куда можно посреди трудных дней прийти и притиснуться душой к земле, как к матери, чтобы земля сняла

с нее уже непосильный, с ног сбивающий жар и влила крепости, остуды, новых сил. Должно быть! И она хотела его иметь! Люди через газеты и телевидение обращаются с просьбами к бывшим фронтовикам и узникам концлагерей помочь разыскать им потерянных в войну родственников, находят могилы с длинными списками фамилий на цементных и гранитных плитах, подолгу живут там и, уезжая, просят жителей близлежащих деревень приприсмотреть за дорогими им памятниками, оставляют деньги на возложение цветов... Что же она допустила такую оплошность?

Не отвечая на упреки, Труханова, как побитая, медленно удаляется на край кладбища. Она силится вернуть себе то зрение, те глаза, которыми смотрела тогда, в далеком пятьдесят третьем году, в день похорон. Не подскажут ли? Сквозь треск подножного мусора ей вспоминаются первые удары земляных комьев по темным доскам гроба со следами ржавых гвоздей на них (этих гнилых досок ей никогда не забыть!), прохладные березовые стволы (она держалась за них), возвращение в пустой дом... бегство из дома... Память скользит, не слушается, перескакивает из прошлого в сегодняшний день — московский вокзал, электричка, автобус, — но Труханова настаивает, возвращает ее назад, в пятьдесят третий год, и, как сыскную собаку, наставляет на след. И опять — гнилые доски, следы гвоздей, комья земли...

Вдруг она замечает — люди заметались по кладбищу, засновали по кустам, кто куда, словно застигнутые на месте преступления воры. Что за недостойная беготня? Рассовывая по карманам ополовиненную посуду и закуски, трактористы один по одному на полусогнутых скрываются из виду.

— Начальство! Начальство! — перелетает остерегающий шепот от куста к кусту. — Мурашко!.. Председатель!.. Бригадир!..

Возле кладбища останавливается забрызганная грязью легковая машина, и сразу из трех дверей вылезают три человека.

— Что за сборище? — преувеличенно громко спрашивает бригадир Антонов, поравнявшись с женщинами. — Полюбуйтесь, товарищ уполномоченный райкома партии и товарищ председатель колхоза! Убедитесь — вся бригада в полном составе! Вместо того чтобы втыкать свой нос в разные вопросы на период сева, они по случаю религиозного праздника с утра устроили кутёж! Меня гложете на заседаниях! С показателями отстаем! А что я с такими кутилами сделаю?

Он умолкает и улыбается, довольный, предоставляя теперь возможность действовать самому начальству.

В давние времена он был отозван из межколхозной ремонтной станции (заведовал складом запчастей) для укрепления руководящих кадров колхоза, на что, конечно же, согласился не сразу, пока не пригрозили ему отрезать огородный участок в деревне. Он принял бригаду, но, словно в отместку за партийное настояние, долго не являлся на разнарядку, в поле, на склад. За ним бегали все, кому нужен был бригадир, чуть ли не били за срыв работы, а он только посмеивался. Кричите, судите, как бы говорил он, жалуйтесь, пишите докладные, лепите выговора, гоните меня в шею, все равно я работать не буду.

Ему снилась первая должность на ремонтной станции.

Так и остался Антонов пожизненным бригадиром. Не торопить и не торопиться, не нападать и не сопротивляться, молчать и посмеиваться, хоть бы все кругом горело огнем, — такое он выбрал себе правило, зная, что дальше, ниже ему катиться некуда.

Названное бригадиром начальство высокоохватно взирает на окрестности. Нераспаханные поля. Горящие стога соломы. Заглушенные трактора. Неприглядная картина.

Первым ступает на землю кладбища уполномоченный райкома Мурашко, бывший прокурор, бывший директор технического училища, редактор местной газеты, про которого сотрудники пустили по району злую шутку: без бумажки он букашка, а с бумажкой он Мурашко! В отличие от бригадира и председателя колхоза, одетых в простые прорезиненные плащи поверх фуфаек, он представительно выглядывает в окружении бедной апрельской природы в темном, без

единой складки пальто, отделанном по вороту иглистым мехом, в шляпе и туфлях. Из кулака небрежно торчат смятые кожаные перчатки. Бригадир и председатель молча следуют за ним.

— Здорбво, бабоньки! — четко и громко, и очень дружелюбно приветствует он всех сразу.

— Со светлым праздничком, Виль Семеныч! Со светлым праздничком, Иван Максимыч! — выходит навстречу им неунывающая Крылова. Она, молодая, немного стыдится своего присутствия здесь, рядом с набожными старухами, излишне жестикулирует. Она не раз встречалась с прибывшими товарищами в правлении колхоза, на ферме, в городе, на совещаниях, потому держится смелее других. — С пресветлой Радоницей!

Мурашко не понимает и не поддерживает ее веселого тона.

— Что-о? — словно карандашом, обводит он всех собравшихся строгим взглядом поверх голов. — С каким еще праздничком? С какой Радоницей?

— Сами знаете, Виль Семеныч, — заискивающе улыбается перед ним подруга Крыловой, Коровина, маленькая, проворная, одна из тех женщин, что любят считать себе года, да не поддаваться им никогда. — Радоница! Родительский день! Один-разъединый в году! Раньше, верите или нет, приду на погост, гляну — все голосят, обмирают, а у меня, дуры, и слез нету! Ажно стыдно, хоть луком глаза три! А как дочку положила сюда, в земельку, — и слезы отыскались: как на погост — так и голосьба накатывает.

— Нет, вы скажите, что это значит? — прибавляет Мурашко строгости. — Что это значит?

— Что?.. Что?..

Женщины переглядываются в нерешительности, мнутся, не знают, что ответить в оправданье своей вины: им, конечно же, ясно, для чего прикатило начальство.

— Земля сохнет! — кричит Мурашко, оттеснив себе за спину бригадира с председателем. — Сев срывается! День — год кормит! Минута каждая дорога! А вы что? А вы тут святки устроили!

— Не святки, Виль Семеныч, — пытается успокоить его Крылова. — Радоница. Попусту никто сюда не пойдет.

— Земля сохнет! — повторяет Мурашко и привычно вскидывает над собой руки (в одной из них перчатки). — Земля! Понимаете? Еще тебе-то, Крылова, объяснять надо. Жена коммуниста! Передовая работница! Сама бы, как говорится, объяснила людям, что к чему. Стыдно! В век космонавтики!

Крылова замолкает.

Одна за другой заговаривают все женщины и сразу обо всем на свете. Объяснения. Несогласие. Дружное сопротивление. Злые укоры. Выкрики. Плевки.

— Земля не поспела!

— Сев идет пока только на выбранных местах!

— Вчера на мерзлоте разодрали плуг!

— Зачем жгут солому? Осенью обещали раздать ее по дворам! Не раздали! Вредительство!..

Не ожидавший подобного отпора Мурашко охранительно затыкает пальцами уши. Он прибыл сюда спрашивать, а не отвечать. С ответами пусть потрудятся бригадир и председатель.

— В самом деле, — обращается Мурашко к председателю, — Иван Максимыч, почему солому не раздали по дворам, а теперь сжигаете, пускаете на ветер? Это бесхозяйственность! Отвечайте, люди требуют! — строго, по-прокурорски наступает он на хозяина колхоза. — Почему?

— Потому...

— Нет, вы не уклоняйтесь, ответьте!

— Все они и сами хорошо знают, — спокойно, чувствуя неловкость от горячности и крика Мурашко, отвечает председатель. — Дожди были. Картошка пропадала, хлеб сыпался... Не до соломы было.

— Не до соломы, — подтверждает и Антонов.

— Так! Днем некогда. А ночью? Ночью! Что вы делали ночью? В других хозяйствах, насколько мне известно, по ночам работали, не стеснялись. Фонари зажигали и работали! И солому спасли! А вы свою — проспали!

— Верно, — поддерживают иные женщины. — И мы бы могли. И мы бы зимовали с соломой, кабы у нас бригадир был попроворней.

Сыплются бесконечные жалобы на бригадира, сыплются так бурно, так наступательно и крикливо, что представитель райкома невольно думает: не хитрят ли эти бойкие старушки, не затыкают ли ему рот встречными неурядицами?

Антонов, улыбаясь, помаргивает выпуклыми красными глазами, с удовольствием слушает, словно говорят не о нем, а о каком-то другом человеке.

Председатель хмурится, коротает время.

— Так что же будем делать, дорогие колхозницы? Что будем делать? Духовные стихи распевать? Псалмы и акафисты? Молиться всем колхозом? Или все-таки пойдем на работу? Земля на вас смотрит, посмотрите и вы на нее!

Дружное молчание.

— Мне ли вас уговаривать? Сами — старые хлеборобы, сами знаете, что весенний день год кормит, что земля, повторяю, смотрит на вас, и никто ее, кроме вас, не засеет.

— Раньше, — выдвинулась наперед старушка в толстой суконной шали, — попы говорили: молись! молись! и будешь хорошо жить! а ныне коммунисты: работай! работай! и будешь хорошо жить! Ишь ты!.. Ей вон сколько, земли-то! Уйма! А нас?

— А-а! — злорадствует Мурашко. — Детишек своих распихали по городам, теперь жалуетесь на малочисленность. Написали бы им. Что ж они матерей побросали одних? А-а!

Отрезала старушка:

— Не акай! Твои-то учатся, а нашим не надо? Не старые времена!

— Ладно, бабоньки, не будем ссориться. Колхоз ваш уверенно отстает по севу. Поможем ему, а? Кто на сеялки пойдет, кто на склад — там и совки для вас, и лопаты, и штопальные иглы, а? Поможем! Каждый человек на счету!.. А родителей своих... вот будет отсевная... помянем всем колхозом, а? Я тоже помогу, была не была! А сейчас, прошу, одумайтесь. Земля же сохнет!

— А что? И пускай посохнет, — добавляет от себя долго молчавшая Кузьминина, — лучше на плуг налипать не будет. Давно ли стаял снег? Ты прошлый год крутил нас, погонял: сеять! сеять! А другие не спешили. И что? Хлеб-то один уродился.

— У тебя земля, а у меня душа сохнет! — выкрикнула старуха в толстой суконной шали. — И сама я вся высохла от работы. Что ж теперь, и родителев не помянуть?

— Указчик нашелся!

— Завтра без указок выйдем.

— А нынче не пойдем! Радоница! Грех!

Поднявшийся шум возмущает Мурашко, покрывает его нежное, чисто выбритое лицо красными пятнами.

— Вы что? — решительно забрасывает он руки за спину и делает шаг на месте, как бы наступая на собравшихся — слишком долго он рассчитывал на их сознательность! — Вы что? Вы в своем уме? Одумайтесь! Из-за вас срывается сев... Из-за вас.. трактористы напились пьяными... Что это такое?

— Праздник!

— Молчи! — обрывает Мурашко Кузьминину. — А теперь... А сейчас... Ты, Крылова, — не привыкший отступать, указывает он пальцем, — и ты, Коровина, шагайте к сеялкам. Ты, Гравнова, — на склад, мешки чинить. А ты, — озябший палец его указывает на подошедшую Труханову, — чего ради вырядилась? Не стыдно со старухами христосиничать здесь, нюни разводить? Молодая! Почему не в поле?

Не ожидавшая к себе особого обращения, Труханова непонимающе смотрит на Мурашко во все глаза.

— А что я?

— Почему не на работе? Как фамилия?

Молчаливый председатель колхоза, испытывая неловкость за крикливую

распорядительность уполномоченного, выступает, наконец, из-за его спины и в свою очередь спрашивает, откуда и кто эта нарядная незнакомая женщина. Ему объясняют. Он понятливо кивает головой и снова замолкает.

Это совсем не нравится Мурашко:

— Я спасаю положение... Обязательства... Ищу возможности... А он молчит! Председатель! И бригадир тоже! Вы что стоите как мертвые? Мобилизуйте народ!

Антонов улыбается, зябко двигает плечами. Председатель, скособочившись от холода, смотрит себе под ноги. Оба молчат.

— Я к вам обращаюсь! — наступает Мурашко на председателя. — Я что — один буду здесь сеять?

— Сегодня они не наши, — в который раз объясняет ему председатель, не меняя позы усталого, перемогающего время человека. — Сегодня Радоница. Я живу здесь и знаю, что это за день. И говорил вам — бесполезно ехать.

— Ка-ак? — отшатывается от него Мурашко. — И ты туда же? Потакать пережиткам? Мистике? Феноменально! Теперь я понимаю, откуда в колхозе такая расхлябанная дисциплина. Рыба с головы гниет!

— На дисциплину не жалуемся.

— Просто заигрываешь с народом? Понимаю! Простачка из себя валяешь? Производишь впечатление? Хорошо!

— Не потакаю и не произвожу, — выпрямляется председатель. — Просто думаю, что сегодняшний день, — он смотрит на часы, — уже перевалил на другую половину, а пока мы будем переговариваться да собираться — и совсем кончится. Пускай уж они сегодня как хотят. А завтра...

— А ты знаешь, какая завтра погода?

— Не знаю... А что до мистики — напрасно вы так, Виль Семеныч. Сами бываете в Калуге, в других городах. Видели, наверно, площадь Победы. И Вечный огонь. И цветы. И молодожены. И люди в почтительных позах. И деньги под факелом... Разве это не трогало вас и не заставляло вспомнить своих погибших родственников? Своих умерших? Плохо, если не трогало, если все это для вас мистика и связь с загробным миром. А могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены? А сотни обелисков по дорогам? Это хорошо, что люди не забывают приходить к ним. Это — память. А мы с вами, материалисты... до того уматерились... живых перестали замечать, а не то что мертвых.

— Всё? — вызывающе избоченившись, показывая всем, как терпеливо слушал он председательскую речь, спрашивает Мурашко. — И что же ты предлагаешь?

— Сесть обратно в машину. Холодно.

— А сеять? А зерно затаривать?

— Завтра.

Уполномоченный резко натягивает перчатки, не глядя ни на кого, решительно направляется к машине. Председатель с бригадиром не спеша — за ним.

— Милый ты наш! — приговаривают женщины. — Иван Максимыч! Как хорошо рассудил! Дай Бог здоровья! Мы ешо побудем здесь, потолкаемся, поговорим. Со всех деревень собрались. Когда еще соберемся? Ни праздников не стало, ни сходов...

Когда Мурашко с председателем и бригадиром выбираются из кустов на дорогу, обрадованная Крылова выкрикивает общее им приглашение:

— Оставайтесь! Погостюйте у нас! В каждом доме нажарено, напарено всего по глотку, а есть некому! Оставайтесь! А завтра — всем животом налегнём на работу!

Никто не отзывается. Скрывается машина за крайними домами деревни, долго провожают ее озябшие женщины.

Кончается праздник. Все расходятся по домам.

Только маленькая, в красном плаще, неприкаянная фигурка Трухановой просматривается сквозь темень кладбищенских кустов.

— Вот и еще год миновал, — удовлетворенно вздыхает Кузьминина, приближаясь к родному порогу. — Со всеми повидалась, всех вспомнила. Слава Богу!

ПЕТР ГОНЧАРОВ

ЛЮБАЯ РЕФОРМА В УСЛОВИЯХ РОССИИ — ЭТО ЖЕРТВЫ, БОЛЬ И ПОТЕРИ

Беседу ведет Вячеслав ОГРЫЗКО

То, что экономика нашей страны больна, ни для кого секретом не является. Вопрос в другом — как ее излечить. Одна группа ученых полагает, что спасти общество может только хирургическая операция. Но такой подход категорически не приемлет Петр Гончаров. Много лет занимаясь проблемами конкретной экономики и финансами, он считает, что хирургическое вмешательство сейчас работает на уничтожение страны. На его взгляд, экономика России нуждается в планомерной, очень аккуратной терапии, которая со временем позволит вывести ущербный организм в нормальное течение русла. Впрочем, прежде чем говорить о методах лечения, следует поставить диагноз.

— Петр Сергеевич, обществу сейчас активно внушается мысль о том, что сегодняшний кризис в экономике страны был неизбежен. Но, честно говоря, в это трудно поверить. Думается, нынешний кризис скорее надо рассматривать как результат крупных ошибок, допущенных руководством страны в годы перестройки.

— Безусловно. И это подтверждается множеством фактов. Давайте рассмотрим хотя бы один пример, посмотрим, как, скажем, менялась бы ситуация, если бы отношение общества к кооперации складывалось по-другому, то есть пойдем от упущенной возможности.

Начало кооперативного движения приходится на 87-й год. В тот момент общество существовало в еще едином экономическом пространстве. В нем, правда, уже проявлялись будущие проблемы Карабаха, уже закладывались мины больших межэтнических столкновений. Специалистов отнюдь не обманывало появление Народных фронтов. Они явно понимали, куда клонили лидеры этих фронтов, при всех их клятвах верности КПСС и политике перестройки. Но тем не менее общество тогда еще не надо было сдерживать силой. Вот в такой политической ситуации и вышел Закон о кооперации.

Что давал тот закон с точки зрения права? Прежде всего возможность людям соединиться по определенным, в том числе профессиональным, принципам, отмобилизовать какие-либо ресурсы и на этом попытаться изменить «пространство» и своей жизнедеятельности, и экономики. Кооперация получала право спокойно развиваться в том же пространстве, в котором работала промышленность, то есть на тех же производственных площадях. У рабочих появлялся шанс создать параллельные структуры — кооперативы. Это означало, что к 90-му году кооперативы значительно увеличили бы номенклатуру выпускаемых изделий, которую так или иначе вынуждено было бы искать производство. И тогда кооперативы выступили бы некоей новой, но ассоциированной силой.

К 90-му году кооператоры уже имели бы достаточно большие накопления для того, чтобы выступить в роли субъектов при приватизации тех предприятий, на которых они работали. В таком случае бюджет получил бы дополнительные и весьма значительные средства, а кооперативы могли бы покупать промышленные производства. В итоге у трудового коллектива появлялась реальная возможность стать собственником предприятия. Кстати, за счет полученных от приватизации средств можно было бы соответствующим образом отфинансировать и социальную программу. А если параллельно к этому в режиме свободного волеизъявления, а не насилия подошли бы к вопросу о земле, то государство получило бы нового — подчеркиваю — ассоциированного собственника. Не одиночку, — а массу граждан, которые бы заняли совсем другую социальную нишу, и взаимоотношения этой социальной ниши с государством велись бы уже на другом языке.

А что тогда, в 87-м году, было сделано? Захотел шашлыком заняться — пожалуйста. Продажей решил пробавляться, спекуляцией — давай. А вот на производстве работать в интересах кооператива не смей. Почему? Да потому, что товарищ Абалкин решил, что если на одном и том же производстве будет выпускаться го-

сударственная продукция — это одни цены, а такая же продукция, но кооперативная, — это другие цены, а так нельзя. Абалкин полагал, что это приведет к расслоению общества. И в итоге Закон о кооперации оказался нереализованным, а государство упустило уникальную возможность создать новую социальную силу.

Я привел только один частный пример. Если же говорить в глобальном плане, главная ошибка кабинета Рыжкова — Абалкина заключалась в том, что его политика не была адресована хотя бы одному социальному слою.

Сложившаяся система управления напоминала верхушечную пирамиду, ноторая реально владела государством. Вот и политииа Абалкина заключалась в том, чтобы уступать — но медленно, мансимально сохраняя механизм и струнтуру управления. Вроде бы такая цель государственная. Но на поверку получалось, что это вело и разрушительной политике.

Политину, которую реализовал Абалнин, получил в ладошни Рыжнов, оставшись один. Но Рыжнов при этом получил уже этничесние напряжения в обществе. Он уже получил рвущееся эномомичесное простран ство. И он пытался сохранить тольно две регулирующиеся до предела системы. С одной стороны. Рыжнов напряженно стремился удержать в рунах систему фондирования через госзаказ, то есть контроля над промышленностью. А с другой стороны, Рыжнов пытался через Павлова удержать каним-то образом под нонтролем пространство денежного обращения. Вот те две вожжи, норыми Рыжков пробовал сдержать явные процессы децентрализации.

Не допусная энономичесной децентрализации. Рыжнов естественным путем шел н децентрализации политичесной. Увы, нн Абалнин. ни Рыжнов не могли понять, что есть тольно два варианта выбора: либо осуществить децентрализацню эиономичесную и создать нового собственника, и тогда сам собственник станет персонифинатором государства, собственнин будет выступать в роли государственнина, ему будет необходимо государство; либо пойти на децентрализацию политичесную. Но в последнем случае собственнин стал бы стремнться отвоевать себе наное-то пространство. Вчера он чувствовал себя просто рабочнм или интеллигентом, а теперь он ощущал бы себя эстонсннм или литовсним рабочим или унраинсним интеллигентом. Возннкла бы уже не социальная, а этническая иерархия, сразу же появилнсь бы друг н другу претензии, потому что вопросы претензий — это прежде всего вопросы собственности.

Проблема выбора встала в начале 91-го года и перед кабинетом Павлова. Но Павлов повел двойную игру: с одной стороны, он попытался сохранить за собой вожжи централизации, а с другой — стал активно заигрывать с населением. Вспомним: при Павлове мы наблюдали сверхвысокую денежную эмиссию — и тут же отпуски зарплаты; игру с ценами, повышение цен в конфискационном режиме у населения — и тут же повышение зарплат по разным социальным группам. Какую же все-таки идею исповедовал кабинет Павлова? Избежать социальной ориентированности внутренней экономической политики. Думаю, что экономист Павлов прекрасно понимал ошибочность цели, но, как опытный царедворец, он посчитал, что уж лучше жить в этой системе отношений, зная точно, что данная система обязательно рухнет, чем попытаться ее переделать. Отсюда вытекают известные события 19 — 21 августа, когда система, уже все утеряв, сделала последнюю попытку вернуться обратно к наиболее для нее объективной системе управления — военно-командной.

Кстати, о терминах. Я считаю, что нет административно-командной системы. Была система военно-командной иерархии, которая после 53-го года постепенно теряла различные кусочки обеспечения, уступая место различным формам гражданских структур. Завершилась она застоем.

Августовские события 91-го года, на мой взгляд, представляли обреченную попытку, которая в любом режиме, даже в случае победы, не могла состояться. Даже если 22 августа президентом СССР стал бы Янаев, возвращение к системе управления предшествующего периода не было бы возможным. Реальней всего можно было бы ожидать за очень короткий промежуток времени вспышку этнических столкновений, но уже на уровне проявления гражданских войн. И тогда оказался бы неизбежностью конфликт территорий, ибо время реальной консолидации было упущено, да и вообще не такими методами можно было добиваться консолидации.

А посмотрите, какие иллюзии воцарились в обществе после 21 августа. Любой непредвзятый исследователь видел тогда, что рухнуло не правительство СССР, рухнул сам Союз ССР. Рухнул как политическая система, как экономическая система, как военная, а идеологически он рухнул еще раньше. И неглупый человек Иван Силаев покинул пост премьера в России для того, чтобы возглавить правительство вот этого СССР. То есть были ожидания того, что победившая демократия вновь сведет рухнувшую систему воедино и что сразу начнется консолидация общества. Для Силаева новое место казалось более престижным. Хотя было абсолютно ясно, что 21 августа завершилась история государственного образования под названием СССР и никаким образом свести воедино национал-патриотические силы, уже к этому моменту обеспечившие себе власть на территориях бывших союзных республик, было невозможно. Отсюда оценки всякого рода СНГ. Нереально такими методами собрать воедино то, что распалось. Ибо распалось одно, а появляется нечто совсем другое. И цели распавшегося и появляющегося абсолютно разнонаправленны.

— По вашим прогнозам, СНГ к моменту публикации нашей беседы сохранится или рухнет?

— Я думаю, что это окажется вялый политический жупел, который не будет иметь ничего реального под собой. У СНГ, как надгосударственного образования, нет даже корректирующих звеньев ни по одной из выдвинутых для Содружества программ. С точки зрения надгосударственного контроля, я думаю, даже армия сможет оказаться вне контроля. Россия, как я полагаю, не получит в конечном счете возможность полного контроля над ядерным вооружением. И, на мой взгляд, не Украина разрушит это согласие. Я думаю, что инициатором разрушения этой части соглашения явится Казахстан, который оставит на своей территории ядерное оружие.

На наших глазах возникают два совершенно разных полюса геополитической, стихийной, кристаллизации. Один полюс образуют исламские государства Средней Азии и нижней части Поволжья. Другой полюс появляется на западе. Несколько лет назад мы вместе с Ксенией Мяло выдвинули теорию дуги. Уже тогда нам было ясно, что северо-западные границы бывшего СССР разрушатся и что эта зона станет некоей надгосударственной структурой взаимовлияния на уровне трех балтийских стран. Этот исход неизбежен, потому что ни одна из этих стран сама по себе не является персоной для мирового хозяйства, им предстоит объединение в режимах наднациональных, это будет что-то типа микро-«Общего рынка». А эпицентром прибалтийской политики станет, как я полагаю, Эстония. Литва в это содружество в режиме сотрудничества войдет последней. Но войдет.

Неизбежно возникнут проблемы и на Украине. В этом государстве наиболее крепко шумящие политические силы имеют корни на Западной Украине, этнически более близкой к Украине традиционной. И совсем другое дело — украинское население, которое живет по территориям, прилегающим к России. И третье дело — Крым. Я отнюдь не говорю о территориальных претензиях. Я говорю о количестве проблем внутри территорий, которые неизбежны.

Украина сейчас повторяет логику кабинетов Абалкина, Рыжкова и Павлова. Кстати, эту логику во многом повторяет и правительство Гайдара. Правда, есть одно правительство, которое эту логику не повторяет, — это правительство Казахстана. Я должен сказать, что из всех политиков, ныне действующих на политической арене бывшего СССР, наиболее высокопрофессиональный, успешный и мудрый политик — это Назарбаев.

— Хотя, с другой стороны, в его кабинете нет, на первый взгляд, неожиданных фигур, в правительстве преобладают вчерашние функционеры, опытные аппаратчики и хозяйственники, и сам Назарбаев (как и его коллеги — первые руководители суверенных государств) из бывшей партийной номенклатуры. Поэтому интересно узнать, в чем, по-вашему, тайна Назарбаева?

— Секрет, как мне представляется, заключается в ориентации на профессионализм. Посмотрите: Назарбаев в свое время пригласил команду Явлинского. Правительство Казахстана с ней немного поработало, а потом команда Явлинского тихо, без шума, вернулась в Россию, и, таким образом, программа Явлинского в Казахстане не была реализована. Назарбаев приглашал и другие команды, тщательно знакомился с их программами. Но в конечном счете он пригласил специалистов по структурным изменениям в экономике из Юго-Восточной Азии, из «большой семерки» и из США и, не кланяясь одному идолу, попытался принять то пространство, которое не является для него профессиональным.

Назарбаев работает с экономикой как с многофакторной моделью, к которой надо подходить осторожно. Но он делает главное — создает себе социальную опору. Политика наделения собственностью в Казахстане гораздо динамичнее, чем на любых других территориях.

Вглядитесь, как подходят к одинаковым проблемам в Казахстане и России. Возьмем вопрос о валютных счетах. В России, вы знаете, Внешэкономбанк в начале 92-го года обнулил все счета и почти изъял у граждан всю валюту. Больше того, в печати появились статьи о том, какие сложности возникнут у наших граждан, если они будут иметь за границей валютные средства. А какой закон в феврале вышел в Казахстане? За границей ты ни как физическое, ни как юридическое лицо права держать валюту не имеешь. Но на территории Казахстана ты обладаешь правом делать любые валютные вложения, причем в любые банки, с правом в любой момент всю валюту или часть ее изъять для собственных нужд. Отдельно оговорено право перевода этой валюты за рубеж, а также получения этой валюты из-за рубежа. Естественно, в этих условиях Назарбаеву удастся больше мобилизовать валюты, чем Гайдару.

А что в России? Здесь наверняка тьма нуворишей имеет валютные счета за рубежом. Значит, в ближайшее время стабилизируется рынок недвижимости, потому что запретительная система отношений, которая сейчас продекларирована, приведет к тому, что российские держатели на имеющиеся средства купят недвижимость на Западе, и у них не окажется счетов, с которых надо валюту переводить в Россию. Поэтому в Россию валюта не придет.

Теперь возьмем проблему отпуска цен. Почему Казахстан, идущий в рынок с гораздо большей скоростью, чем Россия, не торопился вообще все цены отпустить, а пытался все-таки контролировать динамику цен? Потому что Казахстан не хотел разрушения сбалансированности и так больного экономического организма.

А что в России произошло? Цены отпустили. И промышленность, которая никогда не имела достаточных оборотных средств, вышла на рынок сырья, цены на которое враз изменились в 20 раз. Простая логика говорит о том, что без привлечения кредитных ресурсов промышленности теперь не обойтись. Но в этот момент устанавливается нижняя планка платы за кредит в размере 20%, и эта планка постоянно растет. Следовательно, любой производитель в России сегодня продает то, что он сделал позавчера, за сумму, меньшую, чем стоит сырье завтра. И он за каждый акт продажи формирует себе кусочек прямых убытков. Эти убытки накапливаются, и они не могут быть закрыты ни бюджетом, ни банковскими кредитами, ибо никто не желает кредитовать организацию, идущую к разорению. Значит, через 3—4 месяца произойдет коллапс промышленности.

По логике правительства, ничего страшного в этом нет. Значит, промышленность плохо работала, не надо было предприятиям в новых условиях оставаться гигантами. Но какова логика социальной картины? Она такова, что в одном районе на улицы выйдут 9 тысяч человек, потерявших работу, потому что их предприятие оказалось разоренным, в другом районе —

12 тысяч человек, в третьем — 15 тысяч. Что это будет? И что будет с правительством, если на улицы половина России выйдет? А оно примерно так и получается по расчетам, ибо только за январь-февраль 1992 года уровень непроплаченных долгов (это те деньги, которые не получили продавцы) вырос в 170—180 раз.

Откуда взялась эта цифра, если сами цены выросли всего в 20 раз? Оказывается, все, что сидит сверх двадцати раз, — это прямые убытки, которые уже сегодня закрывать нечем. Да плюс еще цены стали таковы, что средства производства стали социально невостребованными. Не может альтернативная экономика любого рода, так же, как и государственная экономика, покупать средства производства в этой динамике цен. Она тогда должна их окупать лет десять-пятнадцать. Но тогда должны быть льготные инвестиционные кредиты и целая экономическая система, которая будет обслуживать рост производственных площадей и рабочих мест. Но этой-то системы нет. Ведь опять идет реализация некоей программы.

Что же это за программа? Приватизации нет, так как на нее нужно два-три года. А разорение есть, и на него понадобится полгода. Через полгода предприятия-банкроты не смогут принадлежать трудовым коллективам, потому что те просто будут уволены на улицу. И получается, что завод окажется ничьей собственностью, ибо он уже превратился в залог. Значит, возникнет поле реального товара, собственником которого является государство. Нетрудно догадаться, каким следующим будет экономический шаг. Начнется создание концессий, передача хозяйств крупному зарубежному капиталу.

— Чего же, на ваш взгляд, добивается команда Гайдара?

— На первый взгляд, команда Гайдара стремится либеральным путем достичь стабилизации финансов. Но, на мой взгляд, такой масштаб отпуска цен при реальном дефиците оборотных средств означает шаг к разрушению национальной экономики, потому что разбудить умершую промышленность значительно труднее, чем стабилизировать рубль.

Существо финансовой политики Гайдара заключается в том, что Гайдар получит стабилизированный рубль, который уже никому не будет нужен. Ибо основной источник этих рублей, источник, обеспечивающий госбюджет, — промышленность, — в скором времени сдохнет. Иного выхода в рамках ныне проводимой политики нет. Невозможно дефицит бюджета, складывавшийся шесть лет, погасить за один-два квартала. Эта идея безумная.

Команда Гайдара результата не достигнет. Она не стабилизирует рубль. У правительства нет никакого другого варианта, кроме как через некоторое время приступить к конфискационной денежной реформе. Либо кабинет Гайдара, либо другое правительство вынуждено будет начинать с этого. Одно дело, когда общество приглашают к приватизации, и происходит, с одной стороны, изъятие (даже принудительное, конфискационное) денег, но взамен гражданское население получает собственность, хотя бы некое право выживания. И совсем другое дело, когда человек остается без собственности и без денег, и ему предлагают еще раз начать с нуля. А сколько раз можно начинать с нуля? Абалкин приглашал начинать с нуля, Рыжков приглашал начинать с нуля, Павлов приглашал начинать с нуля. Но те хоть полегонечку приглашали, а правительство Гайдара все делает для того, чтобы населению реально стало накапливать свои богатства с нуля. Но так же не бывает. В итоге, сколько ни считаешь, получаешь: все равно должна быть эмиссия по первому кварталу 92-го года в пределах 40 миллиардов рублей минимум. Если и была эта эмиссия при драконовских объемах налоговых платежей и объемах изъятий, то все равно темпы формирования собственных оборотных средств промышленности значительно отставали от темпов новых цен. Промышленность неизбежно стала снижать производство. Вот это и есть смерть экономики. Нет экономики с одними деньгами без товаров любого рода. Останови производство — получай разруху.

Разруха — это не разбитые двери с грудой кирпича. Это — молчащие стены. Разве кризис в 1929—1931 годах был связан с тем, что Америка оказалась в руинах? Нет. Америка не была в руинах. Но какие социально-демографические потери и какие потери национального капитала очутились в петле? Колоссальные. А ведь США представляли организованное пространство. Все американские штаты имели одни и те же законы. И был достаточно просчитываемый период, за который общество выскакивало из кризиса. А тут происходит все в каком пространстве? С нарушенными кооперационными связями, с разорванными системами обеспечения, с нетвердой национальной валютой, с колеблющейся политикой правительства, с постоянными столкновениями местных и центральных властей меж собой. И все это должно породить, по словам Ельцина, через полгода-год стабилизацию? Чем же это отличается от иллюзий по поводу пятилеток?

Кто может сказать, что при недостатке оборотных средств удалось обеспечить посевную кампанию? Россия ведь утратила пространства, которые были житницами СССР (Казахстан, Украина, другие территории), у нее остались Кубань, Ставрополье, Алтай. Своей пшеницы России и при царизме не хватало, хлебом России была рожь. При Рыжкове купили американское зерно и ухитрились его привезти в период уборки урожая. Пока возили американское зерно, сгноили большую часть своего урожая. В марте у России оставалось чуть больше месячного запаса зерна. Ну, сейчас американское зерно прокормит нас какой-то период. А что будет с зерном нового урожая? И кто считает? Кому, чего и на сколько хватит, если речь идет о том, что Россия будет обеспечиваться зерном со своих площадей! Ведь «сырьевая война», которая уже началась между республиками, будет продолжена. К тому же сырьевые транспортные потоки проходят у нас либо через Прибалтику, либо через Украину на порты Черного моря. Но что сегодня Россия имеет? Жалкий огрызок от того, что она имела до революции. Она имеет Санкт-Петербургский порт, Архангельский, Мурманский, новый порт на Дальнем Востоке и Новороссийск. Вот и все морские коммуникации. Все эти порты, кроме Находки, маломощные. Значит, возникает проблема освоения новых портовых точек, либо придется сыпать валютой за транзит по государствам Прибалтики и по Украине.

Я не сторонник названия СССР. Но, как профессионал, как аналитик, я знаю, что невозможно сделать так, чтобы селезенка и почки стали жить порознь. Живой организм экономики не будет нормальным до тех пор, пока каждый орган не обрастет всем остальным. А на это надо не два года, как обещает Гайдар. На структурные изменения в экономике каждой республики необходимо при очень точно адресованной политике 10—15 лет напряженной работы, и не меньше.

Ключом же всего народного хозяйства остается сельское хозяйство. Но оно сегодня требует обеспечивающих отраслей, прежде всего машиностроения. Но попробуйте поднять машиностроение без громадных инвестиций в эту область. Так чего же можно добиться, если первый коллапс будет в машиностроении? Ведь уже пытались наскоком решить проблемы конверсии. Сколько фондов по конверсии было рождено, сколько уже алюминия продали, чтобы военные заводы сделать гражданскими. А результатов до сих пор нет. И такая же картина по каждой истерически реализуемой программе, принимавшейся в свое время как некое озарение. Ужас в том, что у нас нет экономической политики, ее не видно.

Тот опус, что сделан для стран «Общего рынка», мало чем отличается от «Основных направлений развития народного хозяйства СССР». Он такой же декларативный, как наши бывшие пятилетние планы. Это скорее пожелания, чем реализуемые возможности.

При этом я совсем не хочу сказать, что у правительства Гайдара полное отсутствие политики. Политика есть. Но она отвечает периоду конца XIX — начала XX века. Эта политика неравноразмерна той мировой экономике, которая есть сегодня. Она слишком заориентирована на некое ожидание существенной помощи. И в этом смысле у меня возникает другое поле оценок. На сегодня западный мир имеет дефицит кредитных ресурсов для него самого в 300 миллиардов долларов ежегодно. Ресурсов не хватает для мировой экономики. Такое экономическое пространство, как Россия, — бездонное. Если его всерьез поднимать, надо вкладывать десятки, если не сотни миллиардов долларов. И тут вопрос не в том, что нам не хотят давать денег. Вопрос в другом: у Запада нет этих десятков или сотен миллиардов долларов. Нет хотя бы потому, что в том мире за каждым долларом стоит его реальный хозяин. Государство (кроме Тайваня) не является инвестором.

Существо дела в том, что государства как таковые не являются партнерами в инвестиционном процессе. Единственное, что они могут сделать, — создать правовой и политический климат, который обеспечивает приход частным владельцам доллара. Но куда частник должен прийти? Ведь реального образа-собеседника для бизнес-диалогов в России у него нет.

Получается, что политику нашего правительства невозможно определить в понятиях. Можно говорить только о знаках. Вот я помечаю знак, сделанный командой Гайдара в сторону Международного валютного фонда. Правительство заявляет о своем стремлении ликвидировать дефицит госбюджета. Валютный фонд ждет, он никуда не спешит. Уморило, скажем, правительство половину населения страны. Ну и что, валютный фонд от этого не пострадал. Это эксперимент российского правительства, а не его. Это совсем не значит, что руководство МВФ прибежало к нам, как только увидело первую смерть, и заявило: да вы что, так нельзя поступать, ведь народ уже умирает. Нет, МВФ будет ждать. Но даже когда бездефицитный бюджет будет достигнут, это совсем не значит, что тут же на страну обрушится поток долларов. Он не обрушится хотя бы потому, что — повторю — такого объема средств, который нам необходим, на Западе нет.

10 миллиардов, которые как бы подсчитаны для стабилизации рубля, — ничто. Потому что это отголосок монетарных представлений о деньгах. Деньги давным-давно двигаются не потому, что под ними лежит золото или СКВ (никакого золота не хватило бы). Деньги становятся свободно конвертируемой валютой только в том случае, если по массиву национальных счетов в экономике государства экспорт этого государства превышает в объеме импорт. И вот тогда валюта становится конвертируемой. Сама. Без того, чтобы ей помогло какое-то правительство. А если этого не происходит, любые попытки помочь этому процессу по-своему обречены на неуспех.

Проблема конвертируемости рубля не есть проблема, равная отсутствию дефицита бюджета и присутствия какого-то количества валюты под этим рублем. Валюта кончается. Положи В миллиардов долларов, и будет у тебя рубль конвертируемым целых шесть месяцев. Потом кончатся В миллиардов долларов, и рубль опять станет неконвертируемым.

Можно пойти другим путем. Можно убивать все, пока не оставишь то, что работает на экспорт, — сырьевую промышленность. Но тогда придется существенно проредить население России.

— Судя по всему, вы солидарны с Хасбулатовым, который в дни VI съезда народных депутатов России не поддался эйфории правительства по поводу обещанной Содружеству независимых государств многомиллиардной долларовой помощи.

— Хасбулатов, безусловно, прав. Но я бы сделал при этом одну оговорку: никому мы не нужны для того, чтобы нас специально разорять. Экономика нашей страны давным-давно находится не на коленях, а на брюхе. Другой вопрос в том, что вся система взаимоотношений на Западе имеет строго логический, структурный механизм. И если какой-то механизм однажды успешно состоялся, то в последующем все без исключения структуры, в том числе и МВФ, требуют неукоснительного соблюдения этого механизма.

Тот механизм, который сейчас нам рекомендует валютный фонд, оправдал себя в небольших государствах Африки и Латинской Америки. Там национальная валюта очень быстро приводилась в реальное соответствие с долларом. В итоге местная национальная, как правило, полукустарная промышленность исчезала. Она не выдер-

живала конкуренция. И на рассчитывание пока приходили инвесторы — крупные зарубежные держатели средств, которые уже вкладывали деньги в освобожденное пространство.

Но одно дело, когда речь идет о республике Коготь Большой Птицы или о государстве Хвост Бурого Медведя, где живет всего три миллиона человек. И другое дело — Россия с населением в 150 миллионов человек. Уже сегодня мы не в состоянии прокормить себя на достаточном уровне. И завтра ситуация будет еще хуже.

Кто позаботится о нас? Напомню, в России сейчас нет базового ценсобразования. Пока у нас иррациональная иерархия цен. Она складывается не от энергоносителей, а от продуктов народного потребления и товаров, втащенных по бартеру и импорту. В этих условиях тушится национальная промышленность. И кому будет охота в такой ситуации вкладывать деньги, чтобы до бесконечности кормить 150 миллионов голодных людей.

— На что же рассчитывает Гайдар?

— Есть такие две своеобразные вещи: когда исчерпываются доводы разума, тогда обычно надуваются щеки и говорится, что Россия не такое переживала и находила в себе силы и творческие возможности так вот решить проблемы, что все равно взять и выскочить. Как Феникс из пепла. Но как Феникс из пепла страна может выскакивать тогда, когда удается мобилизовать все творческие потенции населения.

На что рассчитывает правительство, которое сейчас у власти? Для того, чтобы повести за собой людей куда-то, необходимо иметь опору среди этих людей. А для этого надо, чтобы хотя бы цели правительства были осязаемы, понятны и близки. Кого и куда это правительство может послать? Вот оно зовет в светлое будущее, которое неясно нарисовано. Для Международного валютного фонда что-то и нарисовано, а для населения страны и этого нет.

Куда идет тот, кто работает на селе? Не будем пытаться назвать его крестьянином. Нельзя. Он без земли. Без средств производства. Работником тоже нельзя. Потому что он наполовину крепостной. Потому что он привязан к дому своему, который он не может оставить, ему тогда негде будет жить. Он полукрепостной, полурабочий, полукрестьянин. Так пойдет он куда-то за этим правительством? Вряд ли. Он от этого правительства ничего, кроме трудностей, не имеет. Он видит перед собой бумажки, которые обесцениваются. Ежесекундно. И даже если он наберет кучу куриных яиц, он из своей глубинки в тот самый город, где так ждут его яйца и где действуют законы рынка, не сможет добраться. И поезда ходят плохо. И на самолеты керосина не хватает. Он никуда не пойдет за этим правительством. Он в апатии.

Пойдет ли за этим правительством рабочий, которого Горбачев на протяжении пяти лет обещал сделать новым собственником? Теперь вроде бы и приватизация началась. Но с кем, почему, как — никто толком не знает. Значит, по-видимому, и рабочий станет относиться к этому правительству как к чужому.

Что же касается интеллигенции, то она изначально в нашей стране люмпенизирована. Это абсолютно нищая часть населения, которая претендует на сложный умственный труд, но существа которого уже в нынешнем механизме отношений не знает. Интеллигенция с ужасом думает, как будет меняться пространство и где же ее предложения могут быть востребованы, причем уже не как мыслителей, а хотя бы как рабочие руки.

Так кто пойдет за правительством?

Я практик в экономике, двадцать лет работающий на перекрестке экономики. Я не вижу общей картины движения. Я не вижу какого-то концептуального пакета. Я вижу какую-то импровизацию.

В нашей стране все банкроты. Когда я слышу про векселя и про акции, мне становится смешно. Когда я слышу, что удастся продать государственное имущество в первый год на столько-то миллиардов рублей, во второй — на столько-то, мне снова смешно. Потому что все это говорится в стране, где, как оказалось, система, отвечающая за денежно-финансовое обслуживание и населения, и экономики, не была готова даже к эмиссии в связи с ростом цен. Ведь не всякое сокращение денег в обращении оправданно. Если у нас выросли цены в безумное количество раз, то должна быть масса денег, обеспечивающая движение товаров в этих ценах. Это законы. От них никуда не деться. Но поскольку ожидали, что цены вырастут в два-три раза, то, вероятно, и денежную массу приготовили в два-три раза большую. А цены выросли в 10—20—30 раз. Возник дефицит денег. И теперь уже речь идет о том, что мощностей Гознака не хватает для печатания денег.

Тогда что же такое гиперинфляция на фоне стагнации? Какова же роль реформы? Что выплескивается на рынок? Товары? Нет. Может быть, недвижимость или госимущество, или государственные обязательства (приватизационные счета — тоже товар)? И этого нет.

А что может сделать стабилизационный фонд рубля? Ничего. Если выбросить стабилизирующие доллары на внутренний рынок под рубли и провести валютную интервенцию на бирже валюты, то удастся лишь на три-четыре месяца затормозить падение рубля. Но потом это плохо кончится. Наше правительство забывает о том, что рубль и платежность рубля не связаны с долларом.

— Да, картины вы рисуете мрачные. Но как воспитать собственника? У меня такое ощущение, что наше правительство нисколько не заинтересовано в появлении собственников. Когда Бурбулиса по телевидению спросили, как он относится к людям, занимающимся у станций метро перепродажей пива, он ответил, что ничего страшного в этом нет, идет формирование рынка. Возмущенные зрители попытались напомнить, что раньше такой рынок называлсе спекуляцией. Но Бурбулиса сразу же под защиту взял Гайдар. По мнению правительства, всякий бизнес достоин уважения. А что в итоге? Многие люди теперь предпочитают зарабатывать деньги не на строительстве домов и не на выпуске мебели, а на перепродажах. Так выгодней. Сил затрачивается меньше, а доходов можно получать побольше. Нетрудно догадаться, сколько производителей общество теряет каждый месяц. Я уже не говорю о том, как разлагающе перепродажи влияют на молодежь. У подростков пропадает желание чему-либо учиться. Зачем им школа или институт, чтобы потом с утра до вечера вкалывать за полторы-две тысячи целый месяц на каком-нибудь заводе, когда за один вечер на перепродаже пива можно заработать сразу три тысячи.

— Когда разговор идет о рынке, то нравственные категории отпадают сами собой, кроме одной — исполнения взятых на себя обязательств. Рынок не знает ни цинизма, ни благодушия. Если оценивать с какой-то этической стороны то, что вы сказали, это, в общем, неудачный пример. Почему? Потому что скопировано это — и отношение, и процесс — в какой-то степени с польской реформы.

Но польская реформа сидела на других нитях. Дело в том, что до реформы в Польше значительная часть поляков уже проживала за рубежом. Значительная часть польских семей имела некую поддержку в лице своих родственников из-за рубежа. И когда стало происходить падение производства в Польше, то частник вышел на рынок, продавая товары не те, которые он друг у друга перекупал, хотя это значительная часть товаров, но и товары, привлеченные по разным путям (за счет того, что родственники переводили валюту своим родственникам в Польше, за счет того, что родственники присылали посылки, за счет того, что родственники отправляли контейнеры с товарами своим родственникам). Стал складываться, грубо говоря, блошиный рынок, который начал вытягивать какие-то структуры населения, поддерживать их. Это происходило не за счет национального продукта, а в значительной степени за счет импортного товара. И с точки зрения процессов в Польше с бешеным темпом ее инфляции, этот товар относительно социально был востребуемым, так как тот, кто его продавал, был заинтересован получить груду злотых, на которые он мог купить яйца, хлеб, масло и т. д. Но он не мог купить все это за одни джинсы. Ему надо было продать джинсы, получить деньги и потом рассыпать эти деньги по продавцам продовольствия. Получалось, что Польша перешла на гражданское самофинансирование, сохранив поставщика сельскохозяйственной продукции — частника.

В результате Польша сбросила с бюджета расходы на сельского производителя, на фермера, потому что она дала ему возможность немножко кормиться, и сбросила с себя проблемы социального обеспечения населения, которое могло торговать.

Но это Польша, где был частник на земле, где был фермер и где были родственники за границей (20 процентов населения к этому времени находилось за пределами Польши). Польша оперлась, грубо говоря, на польскую диаспору.

Есть у России такая диаспора? Нет. Нет родственников. И великий князь Владимир Кириллович вряд ли мог найти кому посылать посылки с джинсами в Россию. И оставшиеся от второй волны эмиграции люди здесь родственников не найдут. Родственники по третьей волне эмиграции или уже там, или почти там. Это не то пространство, которое будет поддерживать некий платежеспособный спрос, обеспечивать какое-то движение товарной массы. И поэтому в нашей стране сокращение производства сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления смертельно. Смертельно для общества. И для экономики.

С этой точки зрения, процесс, который сейчас идет, неизбежно должен привести к деградации государства.

Мы сейчас в начале пути, о котором завершаиив плохое: каждая территория будет претендовать на верховную власть в пределах опять же самой себя. Каждая территория будет иметь иллюзию, как эту иллюзию имели четыре года назад республики, что в одиночку легче. А во многих республиках и сейчас сохраняются эти иллюзии.

Многие думают: то, что происходит сейчас в Литве, доказывает, как правилен польский метод, ибо в Литве все очень дорого, но зато все есть. Но Литва — это пространство с большим объемом транзитных расчетов. Это место, которое так или иначе посещают скандинавские туристы. Это место, которое имеет свою диаспору за рубежом. Литва ближе к польской модели по этнической структуре, по диаспоре и по своему географическому расположению. И Эстония ближе. Латвия подальше. А Россия невероятно далеко. Она на другой планете. Она вне такой формы разрешения кризиса. Такая реформа в России не сможет успокоить население, к моему очень большому сожалению, потому что в принципе любая реформа в условиях России — это жертвы, боль и потери. И, конечно, любая быстрая реформа лучше, чем реформа медленная. Но совсем плохо, если концепция реформы ошибочна и не отвечает уже сложившемуся механизму страны.

— Так все же: что делать? Что может стать альтернативой программе Гайдара?

— Во-первых, нельзя сказать, что вся концепция правительства Гайдара полностью неверна. Кое-что верно. Но это кое-что, к сожалению, таково, каково оно есть. Цены все равно пришлось бы отпускать, в том числе и на энергоносители. Вопрос в том, как отпускать. Отпускать, полагаясь лишь на случай, невозможно, потому что в нашей стране нет рынка, нет систематики во взаимоотношениях цен, нет механизма, который выстроил бы реальные взаимозависимости. Значит, надо идти только регулируемым путем: с одной стороны — поднимая цены на энергоносители, а с другой — приводя в соответствие платежный баланс по товарной массе и по количеству денег, находящихся в обращении. Да, деньги сначала обесценились бы. Но процесс инфляции в какой-то степени был бы контролируемым. Затем, поскольку деньги хотя бы отчасти сохранили свою платежеспособность, надо было создавать рынок движения собственности. А для этого необходимы приватизационные счета с начислением на них соответствующей суммы участия человека в собственности. Естественно, потребуются соответствующие законы, при которых на этот или иной завод сможет претендовать только такая инвестиционная компания, что предъявит не деньги на покупку, а пакет собранных приватизационных листов. В таком случае люди, которые получат приватизационные счета, имеют возможность докладывать к ним собственные деньги и входить в любое дело, пусть даже маленьким участием, обеспечивая себе хоть какой-то сторонний механизм подкормки. А кто-то захочет продать свое право на этот счет. И это нормально. Вот тогда начнется движение собственности.

Да, это приведет к расслоению общества. К сожалению, этот процесс не остановить, потому что в нем есть как минимум одна объективная реальность. Плохое ли, хорошее, но единое экономическое пространство, которое прежде называлось СССР, разрушено. А новое экономическое пространство, которое называется Россия,

только будет строиться. Но снять этические конфликты еще можно только так — обеспечив всех участием в государственной собственности и дав возможность всем от этой собственности отказываться, то есть продавать и отчуждать от себя. Лишь в этом случае никто, скажем, не захочет в Татарстане выходить в режим свободного полета, но без собственности, все предпочтут оставаться в России, но с собственностью. А реальное движение этих прав обеспечит концентрацию соответствующего капитала и опыта.

Существо проблемы не в оценке нужности или ненужности реформ. Реформы витально необходимы. Существо — в подходе к реформам, к самой концепции реформ как таковым и к тому, каким образом идет реальная передача имущества. Нынешнее правительство так же, как и большевистское, не понимает, что, сохраняя за собой собственность как базу своей власти, оно создает условия для своего безвластия. И это опасно.

— Видите ли вы лидера, который способен осуществить в России реформы! Кто он!

— На мой взгляд, сегодня нет реального политического лидера. Популярность Ельцина падает. И если V съезд народных депутатов России не позволил бы себе смеяться при его докладе, то в апреле 92-го года съезд бурно хохотал, когда президент говорил об успехах экономической реформы. Это свидетельствует о том, что произошел раскол демократического движения и падение рейтинга лидера.

Но на сегодня рядом с президентом нет такого привлекательного для масс лица, который может выступить конкурентом для Ельцина. Отсюда возникает вопрос другого типа — поиска лидера для осуществления экономических реформ.

Колоссальная ошибка президента России в том, что он решил соединить два лидерства — политика и практика-реформатора, замыкая оба лидерства на своем авторитете. Но если ему хватало авторитета быть политическим лидером, то в качестве лидера экономических реформ он будет выглядеть мальчиком для битья и постоянно подставлять свой лоб за действия Гайдара или любой другой команды. Есть ли достаточно приемлемые для населения лидеры, которые, не претендуя на политическую роль нового президента, могут на своих плечах тащить экономическую реформу? Сегодня реально я таких людей не вижу. И проблема не только в том, что их быть не может. Я уверен, в России такие люди есть, и их, видимо, не так мало. Вопрос в другом — в том, что состоявшаяся система политической драки вокруг властного механизма привела к такому структуированию союзников и оппозиционеров, при котором диффузия реальных людей почти исключена. Я подчеркиваю, демократическое движение тоже раскололось. И база для любого личностного выбора все меньше и меньше.

— А вот в кулуарах нашего парламента тем не менее постоянно обсуждают фигуры Лобова, Малея, Скокова, Вольского. Российские «Вести» даже не раз называли Вольского в качестве возможного нового премьера России. Вы верите в эту фигуру!

— По моим оценкам, Вольский отнюдь не простой в своем мышлении человек. Если вы поглядите на его карьеру, то, по существу, там, где он явно мог претендовать на следующий этап политической карьеры, он предпочитал слегка отойти в тот момент, когда еще рвались занимать свои кресла в ЦК или Политбюро. Это человек с очень высокой политической интуицией.

Как человек номенклатуры, он хорошо знаком с принципами управления в вертикально властном механизме. И в этом смысле его опыт, наверное, побольше, чем опыт Малея или Скокова. Как человек, который привык работать с ВПК, с крупным сектором, он известен достаточно большому количеству реальных хозяйственников.

Но может ли человек типа Вольского, мало известный кругам зарубежного бизнеса и для них представляющий не полностью доверительную фигуру, ибо это человек большой политики времен КПСС, человек, который достаточно близко стоял к Горбачеву, быть сейчас у руля?

В наших условиях я не могу сказать, кто мог бы быть более приемлемой фигурой для партнерства — так же неизвестный для Запада Лобов, но менее связанный с механизмом КПСС, или Вольский, который известен более политически.

Тут есть еще и такая вещь. Так или иначе наша страна стала очень зависеть от системы определений, которые будут приняты за ее пределами. Для Запада очень важно, как это называется. Вы посмотрите: совершенно несводимая политическая масса с очень разными целями и устремлениями верно назвала себя демократами. И получила автоматическую поддержку мирового сообщества. Почему? Потому что важен знаковый принцип — как ты называешься. Именно с этой точки зрения на Западе определяют политиков. Горбачева оценивали, даже при явных неудачах политических решений, как приемлемую фигуру, потому что он доказал, что как бы никакого отношения к КПСС не имеет, он ее последовательно раскалывает на кусочки. И Запад его принимал как демократа, когда он был Генеральным секретарем ЦК КПСС. Ельцин же был отторгнут от тела КПСС, и тем не менее Запад воспринимал Ельцина как номенклатурную фигуру, ибо не мог до конца уяснить себе проблему взаимоотношений треугольника Горбачев — Ельцин — Лигачев и не мог понять, то ли это война двух крупных политических боссов (Лигачева и Ельцина) в рамках КПСС за место около Генерального секретаря, война двух коммунистов за власть, то ли что-то непонятное происходит. И только тогда, когда, по существу, произошло крушение Горбачева, рейтинг Ельцина как политической фигуры пошел за рубежом вверх, но не достиг того уровня, на котором была фигура Горбачева даже накануне крушения.

Поэтому очень важно, как кто называется. И Вольскому очень существенно может мешать то, что он в партийной иерархии занимал очень большое место. Это раз. И во-вторых, не всем, конечно (тем более за рубежом) будет импонировать то, что Вольский исключительно близко стоит около военно-промышленного комплекса. Потому что, вообще говоря, ВПК в том виде, в котором он сейчас существует, — молох экономики России. Если бы Россия сохраняла лицо достаточно самодержавное, этот комплекс мог бы выпускать то, что Россия могла бы продавать. Но Россия попала в очень большую политическую зависимость и поэтому не в состоянии без контроля со стороны других государств выйти на рынок оружия со своим производством.

— Военно-промышленный комплекс долгое время находился в привилегированном положении. Туда направлялись значительные средства и ресурсы. В недрах ВПК формировалась научная элита, там разрабатывались самые передовые технологии. Теперь ВПК все, кому не лень, унижают. Как вы думаете, будет ли ВПК сносить все оскорбления! И способен ли ВПК в нынешних условиях выдавать новые управленческие, организационные, технологические и иные решения!

— Понимаете, когда процесс управляемый, когда интересы государства строятся таким образом, что используются потенции и такого сектора, каким является ВПК, тогда я за этот сектор. Потому что тогда его можно принципиально переструктуировать. В частности, еще три года назад вполне реально было перепрофилировать некоторые производства на создание маломерных небольших комплексов. Что это дало бы? Это значит, что в рамках заново складывающихся социальных потребностей появилась бы единственная возможность обеспечить новое машиностроение. Тогда это была бы государственная политика, опрокинутая на ВПК. Тогда и сам бы ВПК нормально вышел из своего кризиса, и выиграло бы государство. Это одна ситуация.

Совсем другая ситуация, когда ВПК в силу складывающихся объективных причин может сам выступить субъектом политики. Это уже страшно. Потому что тогда будет самодовлеть сложившийся механизм. Тогда ВПК захочет сохраниться как ВПК, а не как конверсируемое производство, переходящее на гражданские, социальные и другие нужды. И здесь необходимо помнить, что ВПК хотя и составляет колоссальную долю в народном хозяйстве нашей страны, но, с точки зрения народонаселения, в нем занято не так уж много людей, как это принято думать. Подавляющая часть населения к имуществу ВПК никакого отношения не имеет. Она для ВПК есть сегодня лишь источник ресурсов, ибо с этих людей брались налоги для финансирования ВПК. Сейчас налоги брать уже не с кого. И если возникнет ситуация субъективизации ВПК в политике, то это будет претензией на свою часть бюджета. Но бюджет и так голоден. Люди, промышленность и так обобраны. Народное хозяйство страны просто не сможет выдержать еще и претензии ВПК.

— Но не окажется ли так, что ВПК в своих претензиях — и заметим, во многом справедливых претензиях — будет похож на раненого зверя, который своим смертельным ревом поднимет всю страну!

— Проблема в данном случае не в ВПК. Проблема шире и глубже. Она заключается в том, что политика реформ, не имеющая социального пакета, точно очерченных интересов и лишенная массовой поддержки, в конечном счете приведет к тому, что 90 процентов населения задаст вопросы тем десяти процентам, которые платежеспособны, а также тем структурам, которые считаются властными. Видимо, в пределах этих претензий окажется и ВПК. Но военно-промышленный комплекс не будет стоять на острие этого направления. Потому что если взрыв последует, то это будет социальный взрыв, а не структурный.

— Ваш прогноз о том, как в нынешних условиях поведет себя армия. Станет ли она политической силой!

— В России армия никогда не была политической силой. Но она всегда была близка — то в лице конкретных военачальников, то в лице отдельных частей — к механизмам дворцовых переворотов.

Армия в наших условиях — это далеко не армия даже в Африке. Понимаете, когда какой-то майор Бумбук совершает переворот в стране Берег Забвения, у нас забывают, что за плечами этого майора колледж в Сорбонне и стажировка в каком-нибудь крупнейшем технологическом центре. У этого майора, как правило, более широкое, чем только военное образование. Это другой менталитет, это другая готовность к лидерству. Наша армия всегда была внелидерской. В Советской Армии лидером всегда был дух КПСС. У нас такого рода фигур в армии, которые могли бы потянуть политическое одеяло на себя, я, честно говоря, не вижу.

На мой взгляд, в России армия может быть лишь силой, которая используется, но не субъектом политики. Она может быть только средством в нашей стране. А вот такого рода влиятельных фигур, которые могли бы рассчитывать на армию как на средство, не так уж много. Хотя, конечно, есть.



АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

СЛЕД СОБЧАКА

(ГРУЗИНСКОЕ ЭХО)

Случайные люди овладели Россией... В предчувствии грозных событий обостряется память о настроениях переломного 89-го года, когда под пропагандистский марш «Иного не дано!» цекистские режиссеры выпустили на политическую арену новых лидеров. В ту пору народ наш, поверивший в искренность очередного сладкопевца и пребывавший в глубокой наивности, принял выборный спектакль за чистую монету. Но теперь обнаружились замыслы разрушителей, фарисейски присвоивших себе созидательные прозвища «прорабов» и «архитекторов», и начинают проступать ускользнувшие от нас странности того года.

Есть какая-то тайна в том, как на первых же альтернативных выборах переустроителям Отечества удалось нащупать неизвестные фигуры, которые потом всплыли в межрегиональной группе. То была сущая селекция случайных людей: прессе и ТВ откуда-то открылось, каких кандидатов надо поддерживать, как по команде они обросли группами поддержки, и именно их плакатами густо обклеили заборы. Теперь-то известно: предвыборная борьба обходится недешево. И возникает вопрос: из каких фондов субсидировали будущих межрегионалов? Однако при всей его важности не менее серьезен вопрос о принципах селекции. Не говорю о подборе политическом — тут все ясно. Но вот сторона нравственная...

Вспоминаю выскочку в клетчатом пиджачке, который рвался к микрофону на первой сессии Верховного Совета СССР и был замечен Горбачевым. Кто и из каких расчетов рекомендовал Собчака в состав ВС? Памятуя жесточайший контроль «архитекторов» за списками для голосования, случайности здесь исключены — людей подбирали под свою руку, о Собчаке уже знали.

Но где сейчас расчетливый яркий пиджачок, который помог неизвестному юристу примелькаться на телеэкранах? Символом тех обманных дней суждено войти в историю клетчатой униформе нового демократического кумира, ибо нравственная пестрота обладателя сего пиджачка стала одной из примет нашего смутного времени.

Прожив полжизни со скромными перспективами и вдруг оказавшись на острие государственной политики, случайные люди сломя голову бросились делать бешеные карьеры и большие деньги, не только позабыв о достоинстве, но и не осознав своей новой ответственности. Мастера мелких институтских интриг, они потащили свое сомнительное умение в сферу власти, не учитывая, что вопросы власти затрагивают судьбы Отечества и сопряжены с такими абсолютными категориями, как кровь, смерть, народное горе. Конечно, они понимали, что история ответит на вопрос о пружинах, не случайно вытолкнувших случайных людей на вершины власти. Однако рассчитывали, что момент истины настанет не скоро, мечтали о долгожитии на государственном олимпе.

Но бумеранг вернулся быстро: разразилась грузинская катастрофа.

Общеизвестны подробности «гражданской войны 1991 г. на проспекте Руставели», которая стала трагедией древнего народа. Не было недостатка в телерепортажах, запечатлевших смерть и руины, хватало и пояснений к ним. Но чем дольше длилась дворцовая междоусобица на пятачке у Дома правительства, тем более вызывающим выглядело тщательное умолчание московских политиков и комментаторов о тбилисских событиях 9 апреля 1989 года. Хотя ясно, что именно те события, разыгравшиеся на том же пятачке и с участием тех же действующих лиц, послужили завязкой грузинской катастрофы, стали для СССР первым ударом погребального колокола. И заговор молчания о 9 апреля с головой выдает виновников страданий Грузии, а если взять шире, в совокупности дальнейших перемен, то и развала державы.

Когда грянула расплата, они убоялись, что в людской памяти воскреснет дата 9 апреля, когда затоптанные толпой невинные жертвы были использованы безнравственными политиками в целях захвата власти — в Грузии и по всей стране. Но подобно тому, как ночь 9 апреля явилась им предвестием звездного часа, так дворцовое междоусобие в декабре знаменует собой путь временщиков к закату.

Впрочем, сначала полезно напомнить обстоятельства «тбилисского дела», раскрученного после 9 апреля 1989 года.

Чувство неловкости за политиканство, до которого унизились достойные люди, не покидает меня при чтении стенограммы первого Съезда народных депутатов СССР. Съезд и открылся-то с истерики: на трибуну выбежал рижский врач Толпежников, и депутаты услышали скандальный «демократический» тон:

— Требую сообщить во всеуслышание и сейчас, на Съезде народных депутатов СССР, кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси 9 апреля 1989 года...

И началось. В тот же день Э. Шенгелая без суда и следствия вынес окончательный приговор:

— Вследствие этой — другого слова я не нахожу — военной карательной акции погиб к сегодняшнему дню 21 человек.

Ярлык «карательная акция» подхватила Лауристин из Тарту. «Саперную лопатку, занесенную над демократией» эксплуатировал в своем выступлении академик Сагдеев, по семейным обстоятельствам перебравшийся вскоре в США, но не посчитавший уместным сложить депутатские полномочия.

Профессор Гамкрелидзе заявил:

— Эта военная операция... задумывалась, очевидно, как заранее запланированная карательная операция по уничтожению людей... Солдаты преследовали убегающих, добивали раненых, вырывая их из рук медицинского персонала.

Нетрудно представить, как эта жуткая сцена бесчеловечной расправы взбудоражила депутатов. Подхваченная прессой, яростно напавшей на армию, она всколыхнула общественное мнение. Однако сегодня, когда опубликованы результаты прокурорского расследования, читать это заявление еще страшнее. Ведь душераздирающие подробности трагической ночи живописал не наивный простолюдин, доверчиво внимающий сказкам и россказням, а народный депутат, профессор. И он говорил не в узком кругу, где дозволены эмоциональные перехлесты, а перед телекамерами. Неужто же и впрямь все дозволено — даже эта ужасная публичная ложь, трагические последствия которой невозможно счесть?

Что творилось в те дни в прессе, по телевидению, в собраниях! Не говорю о таких «бешеных» (термин Великой французской революции), как Адамович, Карякин, Черниченко. Не удержались даже люди, не рвавшиеся к подножию власти.

Грузинская катастрофа-91 по-новому ставит вопрос об авторах политического «тбилисского дела», созданного в Москве в 1989 году. Кровавая схватка между героями 9 апреля — Гамсахурдией и его прежними единомышленниками — принесла слишком много страданий грузинскому народу. И чем дольше она длилась, тем больше тяжести было на душе от молчания тех, кто был прямо причастен к искажению сути апрельских событий.

Гробовое молчание «передовой» интеллигенции в дни грузинской катастрофы показало, что в нашем разобщенном обществе, где, по библейскому речению, «честь унизится, а низость возрастет», политика возобладала и над нравственностью. Все оказалось просто, как в школьной задачке: бывший диссидент Гамсахурдия на поверку вышел антидемократом, значит, его противники — демократы. Вот и весь политический расклад, вполне умиротворивший совесть «капризной дамы с претензиями», как назвал интеллигенцию Плеханов.

Именно из капризов эта благополучная и в быту хорошо устроенная «дама» в начале века обручилась с молодцом в комиссарской тужурке и, ввергнув народ в страдания, сама оказалась в опале. Но помаленьку, снова заняв достойное и небедствующее положение в обществе, эта «дама» соблазнилась очередной «синей бородой» — на сей раз в модных джинсах. И вот опять горюет народ, а сама интеллигенция отброшена за черту бедности, живя старыми запасами и с ужасом ожидая полной нищеты завтра.

Увы, давно вызубрив мнение Ключевского о повторяемости русской истории, «передовая» интеллигенция, среди которой не так уж много «бешеных», обреченно бредет на поводу у не терзаемых муками совести радикальных вожаков. И, понимая в глубине души всю дьявольщину происходящего в Грузии, она глушит подступающую тоску и дурные предчувствия примитивными политическими индульгенциями, оправдывающими жертвы и страдания во имя демократии *.

Да неужели же еще непонятно, что паровоз наш мчится под уклон к пропасти? Зачем же подбрасывать в топку дровишек, молчаливо одобряя грузинскую «игру в перемену местеми», как писал о подобных ситуациях Бунин? Игру, при которой народ (по бунинским же словам) всегда попадает из огня да в полымя.

Нетрудно заметить, что я не касаюсь сугубо политических аспектов «тбилисского дела», хотя для многих «прорабов» они играли решающую роль при выборе позиции. Но поскольку все обернулось большой кровью в Южной Осетии, в Тбилиси, то невозможно полностью обойти истоки грузинской трагедии и ведущих политиков 89-го года, руководивших страной и общественным мнением.

В этой связи хочу вернуться к первому депутатскому съезду, к дебатам вокруг

САЛУЦКИЙ Анатолий Самуилович родился в 1938 году в Москве. По образованию инженер. Автор книг «Артельные люди», «Богатые и бедные», «Районный масштаб», «В глубинке», «Пророки и пороки», а также многих статей и очерков. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

* Как не припомнить опубликованное в газете «Молодежь Эстонии» заявление Коротича: «За то ощущение свободы, которое есть в нас сегодня, я готов заплатить еще годами ожидания экономических результатов!» Известно, что этих результатов Коротич вместе с семьей предпочитает дожидаться в Америке, а обманутые соотечественники хлебают жидкие щи, затягивая пояса до позвоночника. И отъезд Коротича за границу превращает его редакторскую и политическую деятельность в беспринципный обман народа.

комиссии по расследованию событий 9 апреля. Шенгелая говорил:

— Я думаю, что было бы очень правильно, если бы эту комиссию возглавил член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Яковлев Александр Николаевич (аплодисменты). Это важно потому, что некоторое время тому назад, в феврале месяце, тоже в трудное и напряженное время он был в Тбилиси и занял определенную позицию, выступал по телевидению, и его выступление было принято всеми формалами и неформалами очень хорошо.

Господи, опять Яковлев! В Прибалтике — Яковлев, в Грузии — Яковлев... Оказывается, всего лишь за два месяца до ночной трагедии «серый кардинал» Горбачева занял позицию, **очень хорошо принятую неформалами** — теми, кто спровоцировал 9 апреля. Из слов Шенгелая ясно: как и в Литве, это была позиция поощрительная, благословлявшая «демократические преобразования».

Впоследствии Яковлев признал, что недооценил угрозу прибалтийского национализма, но в отношении Грузии отмалчивается, не привлекая внимания к тому знаменательному факту, что побывал в Тбилиси за два месяца до 9 апреля. Однако и в данном случае грузинская катастрофа по-новому высвечивает роль Яковлева, напоминая о вывернутой наизнанку фанатичной одержимости тех, кто ради победы мировой революции ставил на кон судьбы народа и Отечества.

Под Бостоном, в Гарварде, близ университетской церкви возвышается массивный кирпичный куб Хогтонской библиотеки, где хранится архив Троцкого, представляющий исключительную ценность для понимания не только первых большевистских лет, но и радикальных настроений политической элиты времен «перестройки». Здесь невозможны обильные цитирования, но одну выдержку из документа 1919 года все же приведу. Эта записка в ЦК РКП с грифом «секретно» была написана Троцким 5 августа в Лубнах. В ней, в частности, говорилось:

«Один серьезный военный работник еще несколько месяцев тому назад предложил план создания конного корпуса (30 000—40 000 всадников) с расчетом бросить его на Индию. Разумеется, такой план требует тщательной подготовки — как материальной, так и политической. Мы до сих пор слишком мало внимания уделяли азиатской агитации. Между тем международная обстановка складывается, по-видимому, так, что путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии».

Эти ур-ра-революционные бредни сегодня кажутся историческим казусом. Но если вдуматься, их ультрарадикальный дух ожил в деяниях «архитекторов перестройки». С такою же не терпящей сомнений уверенностью в своей правде, не задумываясь о народных бедах, они постановили немедля совершить обратное тому, чего жаждали вожди мирового пролетариата: излагая этот замысел выспренним яковлевским слогом, они решили вернуть Россию в лоно общечеловеческой цивилизации, быстренько, на ходу, а вернее — мимоходом, заменив социализм капитализмом. Ничто не было принято в расчет — ни устойчивость массового сознания, ни монопольная экономика, ни опасность межнациональных конфликтов. Впереди на белом коне снова мчалась очередная революционная идея, презирающая народные страдания.

И даже путь к победе «демократических преобразований» без всякого плагиата, но по сродству душ и умозрений был позаимствован у вождей пролетариата. Те полагали, что Париж и Лондон можно завоевать через Пенджаб и Индию. А нынешние посчитали, что путь к торжеству их идеалов в Москве лежит через Тбилиси и Вильнюс.

Нет, неспроста Шенгелая, вынесший приговор о «карательной акции», предложил Яковлева в председатели комиссии по расследованию: видимо, Яковлев дал повод воспринимать его как политика, способного подтвердить сию версию. Это предложение поддержал Горбачев: «Если нужно, давайте включим Яковлева, пусть он возглавит».

Но возражения были — у самого Яковлева. Он-то не только понимал истинную подоплеку происшедшего, но и знал нечто такое, что удерживало его от участия в расследовании «тбилисского дела». Он ведь поздним вечером 7 апреля присутствовал на совещании в аэропорту Внуково-2 и лично слышал, как Горбачев дал Шеварднадзе наказ завтра же утром, отложив все дела, вылететь в Тбилиси. Возглавь Яковлев комиссию, ему пришлось бы доискиваться, почему послушный Шеварднадзе в тот раз не выполнил указание Горбачева*. К тому же в тот период Яковлеву еще не настал срок раскрыть свои истинные намерения.

В итоге дали отбой. Имя Яковлева больше не возникало в связи с тбилисскими событиями. Если бы не поспешность Шенгелая, мы вообще бы не узнали, что «серый кардинал» за два месяца до 9 апреля поощрил грузинских неформалов на «демократические преобразования».

Вместо Яковлева на роль председателя депутатской комиссии подыскали Собчака. Напомню, события разворачивались на первом Съезде народных депутатов СССР, когда народ и слыхом не слыхивал такую фамилию. И тем не менее неизвестному юристу дали роль, которая предназначалась всемогущему члену Политбюро. Кто после этого усомнится, что наверху уже знали, на что способен Собчак?

А может быть, иначе: знали, что он способен на все...

Свои выводы комиссия Собчака подготовила к декабрю 89-го года, к скандальному второму Съезду народных депутатов СССР — на нем бушевали страсти вокруг «дела Гдляна», «тбилисского дела», пакта Молотова — Риббентропа. В целом выводы были взвешенными, они разительно отличались от прежней истеричной вакханалии. Члены комиссии убедились в передержках относительно «убийств саперными лопатками» и «запланированной карательной акции по уничтожению людей». Заключение комиссии не содержало «бомбы», на которую рассчитывали московские организаторы «тбилисского дела», — ни громких разоблачений, ни политического процесса над армией не получалось.

Но интересы политической игры требовали продолжить скандал.

И здесь никак не обойти вниманием знаменитое выступление Собчака по ленинградскому телевидению, которым он начал свою, **не совпадавшую с выводами комиссии** политическую игру.

Само это выступление стало грубым нарушением норм и правил депутатского поведения: ведь в ту пору сложился, говоря словами Лукьянова, «консенсус» о недопустимости публичных оценок «тбилисского дела» до его рассмотрения на Съезде. Кроме того, Собчак обнародовал такие соображения, которые вызвали возмущение в армейских кругах, и телевидение вынуждено было предоставить слово следователям главной военной прокуратуры, опровергнувшим Собчака.

Нет необходимости углубляться в детали той полемики, но главный ее итог состоял в том, что покатился снежный ком нового скандала. Накануне депутатского Съезда опять вспыхнули споры вокруг «тбилисского дела», и это был хорошо рассчитанный ход. Ибо на Съезде случился превеликий общественный обман, в котором отразилось истинное содержание «эпохи гласности».

Из-за накала страстей решили рассмотреть выводы комиссии в закрытом заседании и не публиковать доклад и стенограмму прений. Но это, казалось бы, разумное решение было блестяще использовано Собчаком в своих целях.

Он стал единственным глашатаем истины о «тбилисском деле».

Именно он докладывал на Съезде, а затем, круша все этические нормы, дал огромное интервью «Огоньку», в котором снова изложил свою версию, далеко не во всем совпадавшую с выводами комиссии. В итоге общественное мнение, лишенное возможности ознакомиться со съездовскими дебатами и официальным заключением комиссии, вынуждено было довольствоваться лишь точкой зрения Собчака, который вдохновенно делал свою политическую игру. Если же вспомнить об атмосфере 89-го года и могучей поддержке, какую оказала «глашатаю истины» яковлевская пресса, то легко объяснить вознесение Собчака в кумиры демократической толпы.

Однако это лишь внешняя сторона дела, предоставившая председателю комиссии возможность выложить свои козыри. Главный-то замысел таился в том, чтобы использовать «тбилисское дело» в интересах острейшей политической борьбы того периода. И когда читаешь сегодня стенограмму доклада по «тбилисскому делу», вопреки решению депутатов опубликованную газетой «Молодежь Грузии», хорошо видно, что сама по себе ночная трагедия интересовала Собчака лишь в той степени, в какой позволяла вызвать новый взрыв общественного негодования по отношению к «антидемократическим силам».

Словно чесноком, за три версты разило от доклада тенденциозностью. Признавая, что на погибших не обнаружены следы саперных лопаток, Собчак упомянул об этом мимоходом, зато самой проблеме «саперных лопаток» уделял непомерное внимание. Но верхом безнравственности и историческим позором для Собчака стало то, что он не назвал в своем докладе фамилии Горбачева и Шеварднадзе, хотя в заключении комиссии они фигурировали. Более того, фамилии Горбачева и Шеварднадзе не появились и в огоньковском интервью. В обоих случаях из членов Политбюро упоминался только Лигачев, и этим предвзятым подбором фактов Собчак косвенно подводил к выводу, будто в событиях 9 апреля замешан Лигачев. Но главное — полностью выводил из-под удара Горбачева и Шеварднадзе!

Этот пример иллюстрирует те безнравственные способы, какие избрал Собчак для политического возвышения. Но если бы дело ограничилось лишь карьерными интригами и особой преданностью Горбачеву, этому можно было бы не придавать значения. Однако в том беда, что Собчак с такою же беспринципностью подошел и к самой сути конфликта 9 апреля. А это уже имеет самое прямое отношение к развитию событий в Грузии, вплоть до войны в Южной Осетии и декабрьско-январского столкновения в Тбилиси.

В этой связи полезно обратиться к цитатам того периода.

Корреспондент «Огонька» спрашивал Собчака:

«— Означает ли это, что вы видите главную причину апрельских событий не в национальных конфликтах?

— Тбилисская трагедия вообще не имеет под собой межнациональных корней...

— Так что же тогда в основе?

— Нормальные процессы демократизации...»

Этот ответ напоминает оценку Яковлевым положения в Литве, когда там уже бушевали неформалы из «Саюдиса», и текстовое совпадение не случайно. То была негласная политическая установка того времени, побуждавшая сквозь пальцы смотреть на бурный рост националистических настроений.

Теперь Яковлев сетует: «Недооценил...» Однако в 89-м году речь шла не просто о мнении политолога и публициста Яковлева, который вправе ошибаться. Речь шла о позиции всемогущего члена Политбюро, который использовал для проведения своей политики партийный аппарат, средства массовой информации. А это в корне меняет природу и оценку его ошибки.

Собчак очень точно следовал политической установке того периода, в чем убеждает его доклад на Съезде. Признавая,

* Впоследствии Шеварднадзе утверждал: грузинские товарищи по телефону сообщили ему, что нет острой необходимости лететь в Тбилиси 8 апреля. Но дело в том, что первый официальный разговор Шеварднадзе с Тбилиси состоялся около полудня, во время заседания в ЦК КПСС. Именно в этом разговоре Патиашвили неожиданно сообщил, что обстановка, мол, нормализуется. Между тем к полудню Шеварднадзе уже должен был находиться в Тбилиси. Почему же он проявил такую нерасторопность?

что на митинге у Дома правительства были националистические лозунги, он делал знакомый собчаковский вираж и принимался за оправдания:

«Надо сказать, что при встречах с руководителями неформальных организаций, которые организовали этот митинг, они обращали внимание на то, что за многие лозунги, которые были на митинге, они не несут ответственности, потому что это были лозунги, не поддержанные их организациями. Это правильно, потому что действительно на митинг приходят люди с самыми разнообразными лозунгами».

Зная теперь, какую вспышку национализма поощрило политическое «тбилисское дело», спровоцированное московскими радикалами, эти суждения Собчака перечитываешь с недоумением. Может быть, сказались неопытность, наивность новичка в политике? Но такие вопросы можно было задавать лишь до обнародования итогов расследования событий 9 апреля. Ибо в информационной записке главной военной прокуратуры приведены факты, буквально уличающие Собчака как минимум в недобросовестном изучении обстоятельств, приведших к ночной трагедии.

Однако сначала хочу дать выдержки из Заключения комиссии Съезда народных депутатов СССР по расследованию событий 9 апреля. Важнейший документ этот, спрятанный от общественности и замененный его произвольным толкованием от имени Собчака, сегодня приобретает сенсационный характер, ибо в нем провидятся дальнейшие грузинские беды. 24 уважаемых депутата разных взглядов дали в целом объективный анализ тбилисских событий. Но председатель комиссии безнравственно скрыл многие принципиальные факты и оценки, содержавшиеся в Заключении *.

Здесь я привожу именно те важнейшие выдержки из этого впервые цитируемого в печати документа, которые не вошли в доклад Собчака, были полностью обойдены им и утаены от общественности. «В конце марта — начале апреля 1989 г. в республике произошло серьезное обострение политической обстановки в связи с событиями в Абхазии, которые послужили непосредственным поводом для проведения неформальными организациями многодневного несанкционированного митинга перед Домом правительства в г. Тбилиси. Однако к 6 апреля антиабхазская направленность митинга резко меняется и выдвигается крайнее требование о выходе Грузии из состава СССР».

И тут требуются комментарии. Как же мог председатель комиссии полностью обойти вниманием тот факт, что митинг начался в связи с абхазскими событиями! Да еще категорично заявлять «Огоньку», что «тбилисская трагедия не имела под собой межнациональных корней»! Это же прямая ложь, входящая в противоречие с выводами комиссии. Зато Собчак пустился в рассуждения о несанкционированных митингах, хотя таких «пассажей» в Заключении тоже нет. И какое право имел председатель утаивать важнейший вывод своей комиссии о том, что митинг выдвинул требование о выходе Грузии из СССР? Ведь это же в корне меняло дело!

Но вот еще один потрясающий факт из Заключения, который вообще по-новому освещает события той трагической ночи: «Днем 08.04.89 г. состоялся разговор т. Горбачева М. С. с т. Патиашвили Д. И. по телефону. Тов. Горбачев М. С. выразил уверенность, что грузинский народ, партийная организация республики найдут пути политического урегулирования создавшейся сложной ситуации».

Что же получается? За несколько часов до трагических событий Горбачев, оказывается, говорил по телефону с Патиашвили, а мы ничего об этом не знаем! Ведь, по свидетельству депутатской комиссии, к тому времени уже было принято решение о вытеснении митингующих с площади. Сказал об этом Патиашвили Горбачеву или нет? Что говорил Горбачев по поводу комендантского часа? О направлении в Тбилиси дополнительных войск? Это, впрочем, лишь малая толика вопросов, возникающих в связи со скрытым от общественности наиважнейшим телефонным разговором Патиашвили и Горбачева.

А Собчак даже не упомянул фамилию Горбачева! Да ведь это политический скандал почище уотергейтского.

Но зато председатель комиссии непомерно раздул политическую «проблему саперных лопаток», хотя в Заключении о них говорится лишь вскользь, просто подчеркнуто, что не от саперных лопаток погибли люди.

Сокрытые от общественности факты столь серьезны, что перехлестывают фигуру Собчака и ставят вопрос шире — о новом понимании перестройки. Если в эпоху провозглашенной гласности возможен был заговор молчания вокруг выводов депутатской комиссии, если можно было ловко подменить их демагогией Собчака, то что это за гласность и что это за политики, которые столь бесцеремонно и корыстно обходились с правдой? Кто вообще эти люди, перевоплотившиеся из Савла в Павла, из правоверных коммунистических вождей перелицевавшие себя в поборников демократии, но продолжавшие руководить посредством скрытых закулисных интриг? Кто эти люди? Чего они хотели в действительности? Зачем так резко поменяли свои политические убеждения, оставшись прежними узурпаторами власти и истины? Истории уже не уйти от этих вопросов...

В очерке «Кочующая номенклатура» («Наш современник», 1991, № 8) я писал, что горстка цекистских лидеров, незаконно правивших страной, переехала со Старой площади в Кремль, чтобы сохранить власть и узаконить свои привилегии. Но с тех пор цена, заплаченная державой, угодившей в волчью яму, замаскированную под перестройку, возросла непомерно. И уже не только в нравственном смысле приходится рассматривать политическое лицедейство прежних цекистских бонз, взявшихся вдруг кадить новоявленным Растиньякам и ввергнувших народ в пучину нищеты. Сегодня уже очевидно, что «перестройка» была грандиозным обманом, и тот же строгий счет, какой мы сегодня предъявляем фанатикам Октября, вскоре предъявят радикалам от «перестройки».

Но вернусь к Собчаку, который оказался на острие некрасивой игры 89-го года. Выполняя политический заказ, он виртуозно уводил общественное мнение от фактов, способных скомпрометировать Горбачева, выставлял грузинских неформалов пламенными демократами, далекими от националистических настроений. И тут самое время процитировать информационную записку прокуратуры.

Оказывается, незадолго до 9 апреля на митинге в Леселидзе Гамсахурдия, Церетели и другие неформалы требовали упразднить абхазскую автономию. А уже непосредственно перед Домом правительства 5 апреля (!) Гамсахурдия заявил: «Абхазская нация никогда не существовала...» Как-то не по себе становится, когда сопоставляешь эти факты с собчаковскими «оправданиями» организаторов митинга, не ответственных якобы за националистические лозунги...

Кроме того, в прокурорской записке приведен «Меморандум правительству Грузии», составленный неформалами, где говорилось:

«1. Покончить с русификацией и арменизацией Аджарии.

2. Прекратить арменизацию Месхети—Джаванхети.

3. Положить конец заселению Грузии, Менгрелии и Имерети армянами и русскими.

4. Прекратить заселение дагестанцами Кварельского района.

5. Принять меры в Телавском, Лагоходском, Сагареджойском районах, где ведется азербайджанизация.

6. Репатриировать мигрировавших в Краснодарский край грузин».

В «Меморандуме» ставилась задача: «Все организации... абхазская, осетинская, армянская, азербайджанская и турок-месхетинцев осуждаются нашим движением, объявляются антигрузинскими преступными группировками, против которых будет вестись непримиримая борьба». За этим националистическим кредо стоял Гамсахурдия, который истово стал реализовывать свою программу, добившись власти.

В этой связи полезно вновь обратиться к огоньковскому интервью Собчака, где он говорил: «Грузия испокон веку отличается спокойным характером межнациональных отношений. Столетиями вместе проживают сотни тысяч армян, абхазцев, других народов... По своему характеру, по центральному положению на Кавказе, грузины всегда отличались высоким уровнем национальной терпимости». С этим мнением нельзя не согласиться. Но именно поэтому поражает, как мог Собчак пройти мимо небывалой для Грузии националистической шизофрении Гамсахурдии, одного из главных организаторов митинга у Доме правительства? Нужна особая, превосходная степень безнравственности и карьерной устремленности, чтобы в угоду сиюминутным политическим соображениям выдать отъявленного националистического волка за демократическую овечку.

Но история жестоко мстит за предательство истины и детские представления о государственном деле. Как бы ни отмалчивался Собчак, его тбилисский след не только не смывается волнами новых событий, но, наоборот, проступает все явственней. Именно коварная политическая интрига Собчака на втором Съезде народных депутатов СССР открыла Гамсахурдии путь к захвату власти, а в итоге привела к большой крови в Южной Осетии и Тбилиси.

О декабрьско-январских событиях в Грузии известно немало. Между тем само отношение российского официоза к схватке в тбилисской элите во многом повторяло ошибку, совершенную после 9 апреля, когда истину принесли в жертву политике. Людей, выступивших с оружием против президента, почему-то именовали оппозиционерами, а не путчистами, как того требует закон, независимо от политических симпатий и исхода борьбы. Телевидение в Москве охотно подхватывало нелепые слухи о расстрелах в бункере Дома правительства. Но зато потрясающие кадры Би-Би-Си, запечатлевшие, как среди бела дня расстреливали мирных демонстрантов, проскользнули бочком, без особых эмоций. И в сопоставлении с истерикой вокруг 9 апреля это коробит. Неужели же в 89-м главными были не грузинские жизни как таковые, а возможность обвинить Советскую Армию в гибели людей? И если грузины гибли не в давке при разгоне демонстрации солдатами, а от стрельбы в упор, затеянной самими грузинами, то незачем поднимать шум?!

На восприятие грузинских событий, похоже, заметное влияние оказали не столько даже политические, сколько идеологические соображения. Снова чувствовались отголоски «демократии любой ценой», причем под «демократией» подразумевалось прежде всего соответствие идеологическим устремлениям российского официоза. Конечно, тут сказалось и влияние Шеварднадзе, одного из столпов новой идеологизированной «демократии».

С Гамсахурдией у Шеварднадзе отношения решительно не сложились. Но совсем по-другому завязались его связи с оппозиционерами, особенно после августа-91, о чем сообщил Сигуа. Сейчас преждевременно делать выводы о роли Шеварднадзе в развязывании гражданской войны на проспекте Руставели — таким закулисным деяниям, если они, конечно, имели место, оценку дает лишь история. Но непреложный факт состоит в том, что Шеварднадзе, который месяцами воздерживался от комментариев по грузинской ситуации, странным образом возник со своим мнением сразу после бегства Гамсахурдии. С этим совпали и слухи о его возвращении в Грузию.

Разумеется, элитная схватка за власть

---

* В свете последствий, которые повлекло сокрытие истины о «тбилисском деле», действия Собчака нуждаются не только в нравственной оценке.

идеологически обосновывалась противостоянием демократов националисту Гамсахурдии. Но Сигуа и его сторонникам еще предстоит доказать свою демократичность делом, а не очередными клятвами на «библе о правах». Начали-то они с расстрела демонстраций, арестов и запретов на митинги.

Но, пожалуй, самым впечатляющим поводом для сомнений служат упомянутые факты о националистических вывертах некоторых грузинских неформалов. Ведь нынешние оппозиционеры знали о них, — почему же молчали? Почему Сигуа стал у Гамсахурдии премьер-министром? По его словам, расхождения наметились через месяц после начала совместной работы. Значит, махровый национализм Гамсахурдии, проявившийся еще до 9 апреля, не смутил Сигуа?

Но в этой связи остро встает более широкая проблема о политических метаморфозах руководящей верхушки вообще. И наиболее отчетливо она просматривается на примере Шеварднадзе.

Даже на фоне елея брежневской эпохи тогдашние заявления Шеварднадзе выделялись своей неуемной, запредельной лестью. «Высокая компетентность, масштабность и конкретность, гуманность и классовая нетерпимость, лояльность и принципиальность, искусство проникать в душу человека, способность утверждать между людьми атмосферу доверия, уважения и требовательности, обстановку, при которой исключаются слепой страх, эгоизм, зависть и подозрительность, — вот качества, которые наряду с многими другими должны мы перенимать и перенимаем у Леонида Ильича Брежнева», — славил Шеварднадзе на XXV съезде КПСС.

Однако наиболее примечательны на сей счет события вокруг последнего брежневского съезда — XXVI, где Шеварднадзе превзошел самого себя. Он вдохновенно воскликал: «Доклад Леонида Ильича — этапное событие современности. Он представляется не только эпохальным документом, но и живым организмом... Кажется, этот живой организм вобрал в себя все качества его автора, его творца, нашего мудрого руководителя, великого революционера-ленинца Леонида Ильича Брежнева».

Такой небывалый панегирик не мог быть оставлен без внимания. И произошло нечто невиданное даже в истории съездов: когда Шеварднадзе возвращался с трибуны в президиум, Брежнев на глазах у всего зала расцеловал его и объявил, что Эдуарду Амвросиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Напоминаю обо всем этом не для укора тем нынешним лидерам, которых в брежневские времена обязывали к реверансам престарелому генсеку, — таковы были политические нравы эпохи, и нелепо предъявлять за них счет теперешним политикам. Но Шеварднадзе-то не просто выполнял партийный ритуал, а вдохновенно делал на славословиях карьеру. И этот человек стал одним из лидеров нового курса!

Разумеется, в переломные эпохи политикам свойственно совершать идейный дрейф, и примеры этого дает Великая французская революция, показавшая, что из пламенных якобинцев нарождаются не только деятели директории, но и консулата, а в отдельных случаях даже реставрации. Однако этот же пример показывает: от таких политических перевоплощений всегда проигрывает народ.

Шеварднадзе предстал ныне в роли злого гения Гамсахурдии. В свое время он посадил в тюрьму диссидента Гамсахурдию, а потом поддержал силы, избавившие Грузию от президента Гамсахурдии. И неизбежно возникает вопрос: нет ли в новой позиции Эдуарда Амвросиевича личных расчетов, связанных с политическим возвращением в Грузию? — При Гамсахурдии это было невозможно. Ситуация в СНГ неясна. Неизвестно, завершится ли успехом новый социальный эксперимент над подопытным народом, которого за волосы тянут в капиталистический рай. Значит, под вопросом российская судьба самого Шеварднадзе. Куда понесет рок событий — неужели в европы?

При кажущейся отвлеченности этого суждения оно совсем не так уж невероятно. Но если отбросить личные соображения и осознать, что трагический закат перестройки вплотную подвел страну к народной катастрофе, по масштабам и гибельности равной гражданской войне красных и белых, то для такого политика, как Шеварднадзе, видится иной удел, нежели жалкая участь политэмигранта.

Через Грузию, а не через московские политические игры отныне ведет судьба Эдуарда Шеварднадзе — и в здешней жизни, и в истории. Пока же он подогрел стремление к «экспорту демократии», слишком уж напоминающему большевистский «экспорт революции».

До чего же въелась в плоть наших демократов истинно большевистская страсть видеть на соседних престолах идейных единомышленников! Все окрашено в идеологические тона. Если безальтернативные выборы в Киргизии, это не страшно, ибо Акаев — демократ. Но безальтернативность в Туркмении — козни партаппаратчиков.

«Экспорт демократии», проявившийся в недвусмысленной поддержке грузинских оппозиционеров, оказался мощной торпедой в борт едва сошедшего со стапелей корабля СНГ. Никто не высказался вслух, однако каждый из независимых президентов намотал на ус новые российские замашки и прикинул, как могут повернуться дела у него дома. Многих смутил «грузинский» посвист московского «соловья-разбойника», пережившего драматический август, но не потороплившегося осудить вооруженное выступление против законного президента в Тбилиси.

«Экспорт демократии» — далеко не единственный большевистский инстинкт, который отчетливо проявляется в повадках новой власти. В этой связи небезынтересно привести выдержку из третьего письма Короленко Луначарскому, датированного августом 1920 года:

«Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в какие-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого поклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике народ сразу перешел к коммунистическому правительству. Нравы остались прежние, уклад жизни тоже... Почему же теперь иностранное слово «буржуа» — целое огромное понятие — с вашей легкой руки превратилось в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов? Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением. Крепость вами была взята, и вы отдали ее на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — народное достояние, что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали только то, что быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат. Вы тоже считали своими успехами всякое разрушение, наносимое капиталистическому строю, забывая, что истинная социальная революция состояла бы не в разрушении капиталистического производственного аппарата, а в овладении им и его работе на новых началах».

Эта несколько затянутая цитата все же достойна того, чтобы привести ее. Ведь достаточно подставить сюда иные понятия, и она в точности объяснит происходящее на наших глазах: вместо самодержавия и капитализма держать в уме социализм, а вместо коммунистов вписать демократов. Спустя 70 лет история повторяется с такой пугающей схожестью, что становится не по себе от недоброго предчувствий.

Увы, события развиваются слишком уж по-большевистски,— да ведь кто их крутит? В основном бывшие партфункционеры, преподаватели марксизма-ленинизма да лучшие перья главных печатных органов КПСС. Всё, всё до боли знакомо в нынешних «демократических» повадках, взошедших на коммунистическом навозе истории. По-прежнему дергают за верхушку, чтобы быстрее росло дерево, подменяя всю сложность российской действительности честолюбивыми планами Джеффри Сакса, которому мало горя от нашей беды и которого даже в Гарварде ценят не слишком высоко. Зато и ответы на эти знакомые передержки истории тоже известны. О них, кстати, уже в 1920 году писал Короленко в пятом письме Луначарскому:

«После идиотского преследования всяких попыток к борьбе с капитализмом вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало. Они ринулись за вами. Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности... Среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всех живется всякого рода грабителям. Не создав ничего, вы разрушили очень многое».

В этих строках, написанных 70 лет назад в связи с социальным переворотом противоположного толка, содержится исторический приговор и нынешним переустроителям России, тоже ломящим напрямую, по-большевистски. Тяжко слышать, когда в телеинтервью, глядя в глаза миллионам россиян, Ельцин утверждает нечто прямо противоположное тому, о чем твердит защищаемый им Гейдар. На вопрос телекорреспондента, как отразится на промышленности либерализация цен, президент, глазом не моргнув, ответил, что при свободных ценах производство, конечно, вырастет, ибо заводам будет выгодно наращивать выпуск товаров.

Столь катастрофическое непонимание сути затеянных реформ главою высшей исполнительной власти и правительства дорого может обойтись народу. Видимо, таким же непониманием объясняются и некоторые пункты земельных президентских указов, разрешающие немедленную продажу и банковский залог крестьянских земель и грозящие России моровым голодом в зиму 1992/93 годов *.

Грузинские события, как ни странно на первый взгляд, имеют весьма близкое отношение к экономическим недоразумениям. Из-за обострения больных вопросов жизни в новых властных элитах неизбежно усилятся внутренние напряжения. Причин тому немало, и объективных и субъективных, связанных с извечной челобовью политиков поровну делить ответственность за провалы. Ведь при всем своеобразии грузинского противостояния оно тоже вызрело на предчувствии катастрофы, к которой толкал Грузию Гамсахурдия, по словам Жвании, превративший национализм в государственную идеологию.

Кстати, Жвания объяснил былую популярность Гамсахурдии тем, что он был в Грузии «самым известным антикоммунистом». И этот пример показывает, какие бедствия может принести идеологическая «отрыжка», ставящая во главу угла не

* По подсчетам аграрников, из-за стремительного растаскивания колхозов и совхозов посевные площади в России могут уменьшиться в среднем на 30 процентов. Если еще учесть десятикратный рост цен на горючее, удобрения, технику и запчасти, то, по мнению специалистов на местах, зерновой и кормовой клин 1992 года может составить лишь 60 процентов от предыдущего сезона. Соответственно сократится и поголовье КРС. Никакие фермеры не смогут компенсировать это катастрофическое сокращение пашни, угрожающее следующей зимой моровым голодом. То, что творится сейчас в деревне, невозможно назвать иначе, как преступлением против народа — столь же тяжким, сколь и сталинская коллективизация.

суть дела, а исключительно заслуги в борьбе с предшествующим строем. Но эта «отрыжка» сказалась и в России — при назначении глав администрации разных уровней вплоть до районного. Слишком часто утверждали на эти должности «своих», демократических «комиссаров в джинсах», абсолютно не сведущих в практических вопросах жизни и принявшихся возрождать щедринские нравы «генералов и мужиков». А если учесть, что многие администраторы влезли в правления кооперативов, то можно говорить и о воскрешении знаменитого средневекового принципа «кормления» государственных людей от населения. Потому-то везде видны сейчас признаки разрухи и запустения, но нигде не наблюдаема цивилизующее влияние частного или акционерного капитала, долженствующего облагораживать на западный манер города и окрестности.

Даже в Эстонии, по традиции весьма благоприятной для экономических новшеств, хозяйственные дела пошли из рук вон плохо, что привело к смене правительства. Демократы в Москве увидели за этой переменой признаки цивилизованности. Но эстонская рокировка отличается от западных правительственных кризисов, когда смена кабинета мало отражается на общем течении жизни, влияя лишь на политическую линию и экономические частности. В Эстонии грядет разруха, и новому правительству вряд ли удастся остановить ее. Если же принять в расчет, что Сависаар был лидером Народного фронта — главной политической силы, скидывавшей власть коммунистов и Москвы, то за сменой правительства угадывается внутренний кризис власти — с прибалтийским «акцентом», но по природе своей такой же, что и в Грузии: кризис в правящей элите. Уход в оппозицию лидера Народного фронта предвещает обострение борьбы в коренном слое общества, которое раньше сплачивалось «русскоязычной опасностью».

Но более всего заботит, конечно, возможный поворот событий в России. Еще год назад я писал, что в «Белом доме» проклюнутся свои лигачевы и яковлевы — как символы постепенности и всесокрушающего радикализма. И они явились — в образах Руцкого и Бурбулиса, осложнив расклад сил в демократическом лагере. Но в отличие от горбачевского Политбюро на сей раз именно Бурбулис может стать первой политической жертвой, ответственной за неудачу реформ, а народом избранному Руцкому без его желания отставка не грозит.

Но дело еще в том, что многие российские депутаты-демократы с каждым днем становятся более патриотичными. Куда делась беспечность, с какой они разбазаривали российские достояния через артемов тарасовых! Сегодня они озаботились судьбой Черноморского флота и Севастополя, ставят вопрос о Крыме. Именно они грудью встали против гайдаровских планов приватизации промышленности без ведома трудовых коллективов.

В этой связи надо сказать, что возникшее противостояние парламента и правительства России тоже лишь внешне напоминает западные правила, а по сути-то своей несет зерно непреодолимого конфликта. Ибо прогнозировать через девять месяцев начало подъема — это такой же блеф, как и обещание лечь на рельсы в случае роста цен.

Каким же будет грузинское эхо в «Белом доме» и вокруг него? Как повернется грядущий конфликт в правящей демократической элите? Год назад я писал, что новые политики-разночинцы вышибут из Кремля переехавшую туда со Старой площади кочевую цекистскую номенклатуру. Горбачеву пришлось дописывать обращения к прессе в чужом кабинете. Но в знакомом треугольнике «Белый дом» — Старая площадь — Кремль, над которым реют сегодня одинаковые флаги, опять нарастают трения. Однако центр тяжести новых противостояний сдвигается из идеологической сферы в политическую. Борьба идет между теми, кто под козырек берет перед требованиями Международного валютного фонда, и патриотами, глубоко обеспокоенными судьбами российской государственности.

По всему видно, первой опять провалится Старая площадь, куда, вопреки народным приметам, въехало правительство, по указке Джеффри Сакса буквально истязающее народ ценовым шоком. И снова начнется противостояние «Белого дома» и Кремля — на сей раз депутатов и Ельцина, который занял оба горбачевских кабинета, совместив президентскую власть с ролью премьер-министра в правительстве. Как много повторяется недавнего, горбачевского! Ельцин даже окружил себя яковлевской командой академкратов — все те же Заславская, Тихонов, Богомолов. Им не удалось «троянским конем» втереться в «Белый дом», чтобы оттеснить на задний план новую демократическую поросль. Зато они сполна взяли реванш в Кремле и плотным кольцом консультативного совета полонили Ельцина.

Да, все больше появляется у Ельцина горбачевского! Что ж, и судьба будет такой же... Но в отличие от горбачевско-ельцинского перетягивания каната, когда все решалось в политических верхах, сегодня последнее слово за народом. А это значит, что и в «Белом доме», и в Кремле пройдет глубокий разлом между государственниками, под каким бы флагом они ни выступали, и новоявленными глобалистами, твердящими зады Европы, не озабоченными судьбами России. Они хотели расколоть общество, но перед угрозой гибели Отечества расколется сама власть; я продолжаю верить, что в России не разразится гражданская война, ибо в грозный час над социальным размежеванием возвысятся объединительные патриотические чувства.

Теперь уже ясно: в Кремле — временщики!

Январь 1992 г.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСЕЙ БОРЗЕНКО

РУМЫНСКИЙ СЕКУНДОМЕР БЕЖИТ БЫСТРЕЕ

1. «СОЖЖЕМ ИХ ЗАЖИВО...»

Окунувшись после работы за рубежом в фантасмагорию российской жизни 1992 года, глядя в глаза измученных, понурых россиян, видя коммерческую вседозволенность нового уклада, я, к удивлению своему, обнаружил большие аналогии с недавним прошлым Румынии. Один знакомый политолог из Бухареста как-то в беседе сказал мне следующее: «В России и Румынии происходят очень похожие социальные трансформации, только румынский секундомер бежит быстрее, так как стране меньше. России еще предстоят те социальные потрясения, через которые Румыния, похоже, проскочила. Возможно, ваши последствия будут более серьезными и тяжелыми».

Дважды, в 1990 и 1991 годах, мне довелось увидеть народные волнения в Бухаресте, вызванные непосредственно курсом на приватизацию и либерализацию цен и названные в печати беспорядками.

Год 1991-й. 25 сентября четыре тысячи шахтеров из долины Жиулуй, самовольно захватив два пассажирских поезда, прибыли в Бухарест, чтобы встретиться с премьер-министром страны Петре Романом. Еще раньше горняки приглашали лидера к себе на «крепкую беседу», чтобы познакомить его со своим уровнем жизни в условиях второго, апрельского этапа либерализации цен. Замечу, что за год до этих событий шахтерам значительно была увеличена заработная плата. Премьер отказался, сославшись на неотложные дела, и тогда горняки сами прибыли в столицу.

Шахтеров ждали в Бухаресте, и слух о том, что первые отряды с минуты на минуту прибывают на железнодорожный вокзал Беняса, быстро полетел по городу. Было странно и жутковато видеть, как начали пустеть улицы, люди в спешке перепарковывали с тротуаров во внутренние дворы и гаражи свои автомашины. Было видно, как нервничали полицейские. В воздухе Бухареста запахло психологической гарью предстоящих беспорядков.

В тот момент я оказался по делам в редакции газеты «Ромыния Либерэ» («Свободная Румыния»), которая как раз была расположена на пути с вокзала в центр города. У журналистов все стояло вверх дном; кто прятал в массивные сейфы компьютеры, рабочие досье, кто лихорадочно спешил перегнать свое авто в безопасное место, подальше от редакции. «Нам только что позвонили с вокзала, максимум через полчаса шахтеры будут здесь!» — крикнули мне на ходу мои знакомые. Переполох был вызван тем, что кто-то из шахтеров, недовольный общим тоном газеты, пообещал в одном из телевизионных интервью «выяснить отношения» с «Ромыния Либерэ» по дороге в город. Это означало разгром редакции и избиение ее сотрудников.

С двумя коллегами из этой газеты мы отправились на машине встречать шахтеров. По дороге румыны откровенно дали мне совет: «Общайся с шахтерами, но не забывай поглядывать на телеоператоров. Они берегут свою дорогостоящую технику и в случае опасности побегут первыми». Да еще полицейские на вокзале посоветовали не оставлять здесь машину, так как они не гарантируют ее сохранность. Меня поразило тогда, что четыре тысячи рабочих встречал отряд всего в полсотни полицейских — значит, им разрешили войти в город. О том, что шахтеры настроены агрессивно, уже знали, по дороге они разнесли в пух и прах железнодорожный вокзал в одном небольшом городе, разгромив попутно несколько частных магазинов.

БОРЗЕНКО Алексей Сергеевич родился в 1957 г. в Москве. Журналист-международник, работал в Агентстве печати «Новости», был корреспондентом в Бухаресте.

Чумазые, в горняцких касках с фонариками, в черных комбинезонах и резиновых сапогах, окруженные своими же активистами, следившими за порядком, они шутили и огрызались на вопросы репортеров. В ожидании прибытия второго поезда по команде лидеров они послушно сели на перроне, уверенные, сознавая свою силу. «Мы настроены решительно и не уйдем из столицы, пока не будут удовлетворены наши политические и экономические требования», — отвечали они журналистам, поигрывая перед камерами палками и стальными прутьями. Кто-то мелом написал на вагоне: «Петре Роман, спускайся к нам в забой, от тебя будет больше пользы там, чем в кресле премьер-министра!»

После прихода второго поезда колонны горняков организованно прошли пешком в центр города, оставив без внимания опустевшую редакцию газеты «Ромыния Либерэ». Шахтеры расположились на площади Виктория и устроили сидячую забастовку перед зданием правительства. В считанные часы они обросли толпами настроенных оппозиционно жителей Бухареста. Так начиналось это — в первые часы еще мирное — противостояние власти и народа, вызванное процессом либерализации цен.

Демократы пришли к власти в Румынии в результате декабрьской революции 1989 года, коммунисты были преданы анафеме вместе со своими слабыми социальными обязательствами перед народом. А в результате народ оказался один на один с новыми экономическими порядками, не подготовленный к ним. История в конце концов расставит все по своим местам и даст всему оценку временем, но, встав на путь повышения цен, правительство взяло на себя колоссальный груз моральной ответственности за судьбы миллионов людей. Понимают ли экономисты, что жизнь — это не листок бумаги с графиками?

Незадолго до взрыва 1991 года — 14 мая 1990 года шахтеры срочно прибыли в Бухарест и стояли ночь перед зданием правительства, защищая его от оппозиционно настроенных бунтовщиков с Университетской площади. Грозным валом прокатились они на следующее утро по всему городу, разъезжая на самосвалах, наводя страх и ужас на горожан, арестовывая и избивая всех подозрительных. На моих глазах были в кровь избиты стальными прутьями два молодых человека лишь потому, что какая-то полоумная старуха заявила, что они студенты. Тогда, в течение двух дней, шахтеры были полновластными хозяевами города.

Но уже через год, 25 сентября 1991 года, после осуществленной правительством «непопулистской» либерализации цен, горняки снова прибыли в столицу, чтобы жечь и штурмовать то самое здание своего правительства, которое они до этого так отчаянно защищали. Этот факт должен заставить политологов кое над чем серьезно призадуматься.

Год 1990-й. Крылатая фраза классика «булыжник — оружие пролетариата», относившаяся к тем временам, когда по булыжным мостовым катили конные экипажи, и которую и по сей день некоторые политики считают справедливой, была в корне опровергнута событиями в Румынии. Оружием толпы на переполненных автотранспортом улицах города стала бутылка с бензином. Мне довелось увидеть страшную разрушительную силу этого оружия, особенно в мае 1990 года, в «пик» событий на Университетской площади. В ночь с 13 на 14 мая толпы оппозиционно настроенных горожан, среди которых было много цыган, окружили румынское телевидение с требованием добиться «гласности». Не получив доступа к «открытому микрофону», толпа стала штурмовать здание.

Шум уличных боев докатился своими отголосками до бюро, в котором я работал над очередной корреспонденцией. Было около полуночи. Переулками я вышел к телевидению. Картина, которую я увидел, останется в памяти навсегда. Румынское телевидение представляет собой многоэтажную башню, на крыше которой стоит антенна. Перед зданием — газоны, кое-где кусты, в общем, открытая территория. Толпа со всех сторон окружила этот куб из стекла и бетона, внутри которого заперлись в ожидании штурма полицейские и малочисленная группа десантников. При мне был взломан пункт приема стеклотары, расположенный поблизости. На угнанных грузовиках откуда-то из центра также привезли пустые бутылки. Патрули из добровольцев тормозили все проезжающие машины и заставляли водителей сливать бензин. Тем, кто оказывал сопротивление или пытался уехать, пробивали заостренными железными палками бензобаки, крошили лобовые стекла и фары. Залитые «зажигалки» перетаскивали на линию огня прямо в ящиках. Я даже не мог представить себе, что заполненная до половины бутылка из-под «пепси-колы», заткнутая полоской ткани от рубахи или носового платка, способна долететь до высоты шестого этажа.

— Эй, посторонись! — прохрипела старая цыганка прокуренными легкими. — Скоро мы сожжем их заживо. — Из последних сил она тащила тяжелую черепицу, содранную с крыши старинного особняка. На моих глазах яркими пятнами горящего бензина засветилось в ночной темноте бетонное здание. С нескольких этажей толпу пытались отогнать водяными струями из брандспойтов, чего явно было недостаточно.

Метание «зажигалок» выглядело следующим образом: осажденный объект был разделен на сектора, выбирались наиболее уязвимые места — подвалы, складские помещения, технические комнаты. Отдельные незаметные люди руководили толпой, показывали нужные окна. В атаку шли три цепи нападающих. Первая выбивала камнями стекла, другая метала «зажигалки», остальные подносили ящики с приготовленными бутылками, камни, выполняя роль тыла. Шумными возгласами восторга толпа приветствовала меткое попадание, а «чемпион», как футболист, забивший гол, поднимал руки. Туда, где разгорался пожар, методически подкидывали новые бутылки — для поддержания огня. А в это время первая цепь не давала пожарникам тушить пламя, отгоняя их камнями внутрь здания. Было дико смотреть на это современное средневековое варварство. Что же пережили за эти часы полицейские, журналисты, техники, находившиеся внутри здания? «Мы предпочли бы сгореть в здании телецентра, чем быть забитыми до смерти толпой», — признались потом отдельные работники телевидения. Ну, а как вы думаете, что станет с современным бетонным строением, напичканным аппаратурой, горючими пластиками и лакированными деревянными панелями, если бросить в его окна 1 — 2 тысячи бутылок с бензином?

Подоспевшие вскоре армейские части, которые, как потом выяснилось, были вообще не в курсе происходящих в Бухаресте событий, не дали окончательно сжечь телецентр, без единого выстрела, в считанные минуты, разогнали толпу по соседним улицам. Многие из пойманных участников штурма пытались доказать свою непричастность к событиям, но солдаты требовали протянуть руки — запах бензина разрешал все сомнения. Через несколько часов, уже на рассвете, в город прибыли шахтеры, тогда еще «положительные герои» румынской действительности. Уроки из происшедшего извлекло правительство, извлек их и народ. Проведение реформы было отодвинуто во времени.

Год 1991-й. В сентябре — снова штурм телецентра. После неудавшейся попытки завладеть домом правительства на площади Виктория отряды шахтеров переместились в район телевидения и несколько часов осаждали его. Они были менее организованны, чем их предшественники, но более смелы и настойчивы. Все та же территория снова стала ареной уличных гражданских боев.

Отличительная деталь: полиция и части специального назначения снова не применили против возмутителей спокойствия огнестрельного оружия. Почему? Да потому, что это означало бы полную дискредитацию существующего режима. «Чаушизм» отошел в прошлое. Если бы такое вдруг произошло, то на общем демократическом фоне достижений декабрьской революции 1989 года правительству Румынии не оставалось бы ничего другого, как подать в отставку. Один знакомый «скутиер» (дословно «щитовик» — полицейский, вооруженный щитом и длинной штурмовой резиновой дубинкой) сказал мне тогда: «Я сдал автомат и не завидовал сам себе, когда стоял со щитом и дубинкой. Я очень боялся быть оторванным от своей цепи. Мне пришлось на себе испытать эту «Ахиллесову пяту» демократии».

В этот раз для борьбы с шахтерами в Бухаресте применили испытанное цивилизованными западными демократиями оружие — «хлопушки» и слезоточивый газ. Когда толпа с «зажигалками» наготове приближалась на опасно близкое расстояние к цепи «скутиеров», охранявших объект, в ее ряды по команде выбрасывались специальные взрывпакеты, разрывавшиеся с большим грохотом, но не причинявшие телесных повреждений. Звуковой эффект вызывал инстинктивное чувство страха. Один из таких пакетов разорвался в пяти метрах от группы журналистов. Мы были оглушены и две минуты не понимали друг друга, так как ничего не слышали.

Использовались и капсулы со слезоточивым газом, выстреливаемые из специальных приспособлений, по мнению специалистов, обычного раздражающего действия, без нервно-паралитических компонентов. Вкус газа ни с чем нельзя сравнить — это что-то особенное, непривычное, его присутствие ощущаешь скорее не ноздрями, а интуитивно, подсознательным шестым чувством. У меня сохранилась одна из газовых капсул — дюралюминиевая трубка с выгоревшим химическим порошком внутри, без надписей, без маркировки. Один из шахтеров объяснил тогда на площади, что их производят в Израиле.

Сначала на узких улицах Бухареста газы отбросили отряды горняков, но вскоре атакующие разобрались в механизме воздействия вещества на организм. Выяснилось, что газ вызывает сильное слезовыделение, раздражая не столько глаза, сколько носоглотку. Тогда рабочие использовали смоченные водой носовые платки, чтобы дышать через них. Я проверил на себе действенность такой защиты: глаза все-таки сильно щипало, но ориентироваться в дыму с платком стало легче. Почему-то тогда мне вспомнились палестинские мальчишки в черно-белых платках во время интифады, показанные по телевидению. Как завороженные, мы, журналисты, стояли среди шахтеров и смотрели на летящие в нашу сторону и горящие лиловым огнем звездочки — капсулы с газом. Из гуманных соображений головка капсулы покрыта фосфором, поэтому в темноте видно, куда летит снаряд. Но, с другой стороны, есть опасность зазеваться и получить ожоги от фосфора, если он коснется лица или открытых частей тела. В слабом свете уличных фонарей, в дыму, было плохо видно людей, но я слышал крик — видимо, капсула попала в лицо одному из шахтеров.

Газ тяжелее воздуха, и поначалу даже не придаешь особого значения шипящим и крутящимся на асфальте цилиндрикам. Но постепенно газ вытесняет воздух и начинает подниматься, доходит через какое-то время до головы, начинает сильно щипать глаза. Инстинктивно хочется проморгаться, вытереть глаза, но этого нельзя делать, слезы потекут ручьем, и тогда становишься полуслепым, полубеспомощным, как маленький ребенок. Газ осел в низинах, и жители близлежащих домов, живущие на первых этажах, на несколько дней были вынуждены перебраться в другое место, пока газ не рассеялся. Долго еще, проезжая это место на машинах, люди были вынуждены закрывать окна.

В рукопашных схватках со «скутиерами» шахтеры применили изобретенное ими

еще год назад оружие — полутораметровые металлические палки, нарубленные из толстого стального троса. Гибкая, в чем-то использующая эффект штурмовой полицейской дубинки, только во много раз мощнее, эта «палица» способна перебить позвоночник человека даже в бронежилете. Мой друг, оператор советского телевидения Андрей Леонов, снимавший в свое время боевые действия в Афганистане, похоже, понравился шахтерам за смелую съемку в облаках газа, и они подарили ему такую стальную плеть. Потом, уже дома, мы с ним долго вертели в руках это ужасное оружие, Андрей переживал: «Глаза сильно слезились, было трудно наводить фокус в объективе».

В качестве другого оружия шахтеры использовали также дорожностроительную технику — бульдозеры, гусеничные экскаваторы, просто грузовики. Разогнав многотонные махины, их как таран направляли на здание, попутно поджигая. Под прикрытием таких своеобразных танков-крепостей шли на штурм. Я видел, как на телебашню направили гусеничный экскаватор, за рычаги которого сел мальчишка лет пятнадцати. Он пригнал экскаватор со стройки на соседней улице. Обстрелянная в упор взрывпакетами и капсулами, машина заглохла и загорелась. Перепуганный мальчишка в облаках концентрированного дыма выскочил из нее и дал деру, преследуемый градом капсул.

Среди шахтеров я заметил немало стариков, пенсионеров, инвалидов и бездомных. Люди, ранее просившие подаяния у церквей, в процессе либерализации цен выплеснулись на центральные улицы города, площади и рынки. Не в силах участвовать в боях со «скутиерами», они разбирали руками булыжную мостовую.

Многое еще можно было бы рассказать об ужасах увиденных гражданских беспорядков, главная побудительная причина которых заключалась в экономической политике государства. Я сделал для себя печальный журналистский вывод: в нашем современном индустриальном обществе конца XX века уличная толпа, не сознавая этого до конца, при определенном стечении обстоятельств может стать колоссальной разрушительной силой, приносящей обществу многомиллионные убытки и даже способной сменить правительство.

Румынский народ во многом похож на русский — своим терпением, совестливостью, любовным отношением к труду как к процессу, а не способу получения денег. Я помню голодную и холодную Румынию в последние годы правления Николае Чаушеску, серые понурые лица людей, каждодневную пищу которых в основном составляли хлеб, сладкий перец и брынза. Кусок мяса тогда был роскошью, а лучшим подарком считался маленький кулечек с натуральными кофейными зернами. Особенно тяжелыми были зимы, когда людям приходилось жить в домах при температуре в 10 — 12 градусов. Конечно, первыми не выдерживали старики... В некоторых особо неблагополучных уездах страны новорожденных младенцев регистрировали лишь в возрасте шести месяцев, тем самым скрывая от мировой общественности истинные цифры детской смертности, вызванной недоеданием и отсутствием лекарств. Экономия на всем, даже жизненно необходимом, была возведена в ранг государственной политики.

...Чего добились шахтеры в результате своего похода на столицу? По большому счету — ничего. Их политическое требование об отставке премьер-министра, представлявшего, по мнению некоторых из них, интересы французского и израильского капитала в стране, было в конце концов удовлетворено. Он ушел с занимаемого поста, но не спустился в забой, как они хотели, а остался национальным лидером правящей партии Румынии — Фронта национального спасения (ФНС). Кресло премьер-министра занял Теодор Столожан, продолживший экономическую политику по ранее намеченному плану, в том числе и либерализацию цен. Один шахтер из долины Жиулуй уже после событий сказал в телеинтервью: «Если бы я знал заранее, каких результатов мы добьемся, ни за что бы не отправился в Бухарест». И все-таки правительство пошло на отдельные социальные уступки в отношении шахтеров, учитывая тяжелые условия труда под землей и во многом неустроенный их быт.

Румынская практика показала, что нейтрализовать взрывоопасный социальный конфликт в самом зародыше — задача не из легких. Опыт доказывает, что инициатором любого выступления, в основе которого лежит определенный пакет экономических требований, может выступить только сплоченный общим трудом коллектив. Уличная толпа, которая неизбежно присоединится к нему позднее, не может сделать что-либо самостоятельно, так как слишком разнородна. Ни одно правительство в мире не подготовлено в должной мере к общению с народом в таких острейших ситуациях. А социальный конфликт, как правило, переходит в политическую плоскость, чем не преминут воспользоваться в своих собственных интересах различные оппозиционные партии и группировки. Выразительная деталь — во время волнений румынских шахтеров их коллеги из Воркуты прислали телеграмму солидарности. Хватит ли у московских столоначальников (равно как и у лидеров наших профсоюзов) чуткости, чтобы расслышать тревожный сигнал румынского секундомера?..

2. ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ — СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО

Есть на кладбище Генча, расположенном почти на окраине Бухареста, две безымянные могилы, две скромных холмика черной земли, пропитанной свечным воском. Они, как утверждают старожилы, появились сразу после декабрьской революции 1989 года, на одной из них тогда была табличка, вскоре бесследно исчезнувшая: «Полковник Петреску»; фамилия, в Румынии довольно распространенная *. По выходным дням и на церковные праздники к этим могилам приходят люди, молча кладут цветы, зажигают свечи, склонив головы, быстро уходят. Здесь не принято долго стоять. Это могилы четы Чаушеску. Не так давно кто-то из любознательных иностранцев, то ли немцы, то ли японцы, просветили землю специальными излучателями и подтвердили истинную принадлежность могил. Залитые жидким бетоном, здесь покоятся тела Николае и Елены Чаушеску.

«Развяжите мне руки, развяжите!» — кричала молодым солдатам супруга румынского лидера, возмущенная бесцеремонностью, с какой ей стянули руки бечевкой, не догадываясь, что ждало в конце затемненного коридора. Сам Николае Чаушеску до последней секунды не верил, что ему хладнокровно приставят к виску пистолет и под определенным углом (так приводят смертный приговор в исполнение только профессионалы из спецорганов) прострелят голову, а уже потом в холодное тело разрядит свои магазины шеренга автоматчиков. Диктатор считал суд над собой «политическим фарсом», попыткой запугать и сломить его, заставить отречься от власти. Вопрос: за что? — даже не пришел ему в голову.

Чаушеску лежит в неестественной позе, грубо сколоченный гроб оказался для него, человека небольшого роста (что при жизни было предметом насмешек и анекдотов), то ли по случайности, то ли специально, слишком мал; поэтому, чтобы уложить диктатора на опилки, ему пришлось подгибать ноги.

Человек, не знающий кладбища, не собьется с пути — к двум безымянным могилам протоптана людская тропа. А чуть в стороне, на военной части кладбища, стоит памятник из белого мрамора прокурору Джику Попа, судившему Чаушеску по обвинению «в геноциде, повлекшем 60 тысяч человеческих жертв; подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против народа; нанесении ущерба государственному имуществу разрушением и повреждением зданий; организации взрывов в городах; подрыве национальной экономики; попытке бегства из страны с использованием средств, хранящихся в иностранных банках, на общую сумму более 1 млрд. долларов» (памятник регулярно моют служители кладбища, но к нему не ведут протоптанные дорожки).

Эта история оставила нам много вопросов, ответы на которые мы, возможно, получим лишь через 15—20 лет. Кто были террористы, стрелявшие в женщин и детей в зимние бухарестские вечера конца декабря 1989 года, — в то время, как сотрудники «секуритате» в один голос клялись, что, побросав табельное оружие, отсиживались по домам? Почему перестройку в СССР Чаушеску воспринял как политическое предательство? (После одной из личных, конфиденциальных встреч в 1989 году с Михаилом Горбачевым румынский лидер заявил в кругу доверенных лиц, касаясь личности президента СССР, что этот человек предаст социализм не только в Советском Союзе, но и во всем социалистическом мире). Почему перед крахом Чаушеску стал искать поддержку в мусульманском мире, а не в странах Запада? И почему диктатора и его жену так скоропалительно казнили (подобная участь обошла стороной Тодора Живкова, Эриха Хонеккера и других бывших лидеров стран восточноевропейского социалистического блока)? Почему до сих пор не найдены чаушесковские миллионы в швейцарских банках, о которых так много писали западные средства массовой информации, а канадские кинематографисты даже отсняли фильм «Богатство дьявола»? И, наконец, почему Горбачев, владея всей оперативной информацией, не ответил ничего вразумительного на запрос народного депутата СССР, предложившего дать политическую оценку свершившимся событиям в Румынии?

Приговор, вынесенный мировой демократической прессой «золотой эпохе» румынского кондукэтора **, предельно краток: геноцид собственного народа. Получается прямо-таки какая-то социалистическая «Синяя борода». Конечно, все это было — и голод, и холод, и отсутствие необходимых медикаментов, и высокий уровень детской смертности. И это ужасно, потому что гибли слабые, старики и дети. Но, расцвечивая все это яркими красками, пресса как-то обходит стороной первопричину — выплату внешнего долга западным странам. Да не обвинят меня мои румынские коллеги-журналисты в приверженности к «чаушизму», но я хотел бы поглубже разобраться в истоках «непопулистской» внутренней политики Румынии — 70—80-х годов.

В Социалистической Республике Румынии, как и в других странах Восточной Европы, сработал часовой механизм испытанной Западом идеи соблюдения прав человека. Вспомним, что в СССР эти часики тикали все 70-е и первую половину 80-х годов. «Наказание» за несоблюдение прав человека, что при желании можно найти в любой стране, почти всегда предусматривало определенные экономические санкции против этого государства, связанные с его внешним долгом. Общее ослабление социалистической системы в начале 70-х годов заставило развитый За-

* Елена Чаушеску до замужества носила фамилию Петреску (Прим. авт.).

** Кондукэтор — по-румынски, руководитель. Так называли вождя.

пад перейти от обременительной «холодной» войны к войне более страшной — экономической, войне долгов и кредитов. Так военное противостояние двух систем сменилось грандиозным ростовщичеством, которое было выгодно для Запада, так как он давая «взаймы» стертую монету: неперспективные, отработанные технологии, продукты перепроизводства, денежные средства, сохраняя за собой определенный контроль за их использованием. А получить собирался и долг, и набежавшие проценты звонкой монетой, в том числе самым дешевым и самым дорогим сегодня — сырьем. К тому же, когда за столом переговоров сидят два лидера, и один из них — должник, в переговорах уже нет равенства, последний становится более сговорчивым. И что греха таить: нередко валютные внешние долги можно частично вернуть их политическими эквивалентами — у нас тому достаточно примеров в последнее время.

Крупные стратегические ошибки, допущенные румынским руководством в национальной экономике в начале 70-х годов, когда будущее казалось светлым и безоблачным, всей стране предстояло искупать в 80-е ценой огромных народных жертв. Запад сыграл с СРР, как и со многими другими восточноевропейскими странами, злую шутку, посулив ей некоторые и сегодня до конца неясные, но тогда заманчивые перспективы интеграции страны в «свою» мировую экономику.

Румыния взяла курс на закупку дорогостоящих проектов по строительству гигантов химических, металлургических, нефтеперерабатывающих производств, оборудования в США, Франции, Италии и ФРГ. Румыния стала развивать торговые отношения более чем со 150 странами, а к 1987 году вышла на 12-е место в мире по годовому объему торговли. В структуре румынского экспорта, выросшего с 1967 по 1987 год более чем в 9,6 раза, стали преобладать изделия с высокой степенью обработки (62 процента всего экспорта). Чаушеску рассудил со многих точек зрения правильно: экспортировать выгодно только готовый продукт. «Сырьевой» же путь ведет к неуклонному обнищанию собственной экономики и к росту колониальной зависимости. Он хотел превратить Румынию в некий перевалочный пункт между Западом и Востоком, ориентированный на переработку восточного сырья.

Роковым для Румынии стал 1972 год, когда Международный банк реконструкции и развития, этот ростовщический монстр, открыл для нее крупный источник получения долгосрочных кредитов. Обнадеженный гарантиями, Чаушеску строил, без оглядки брал кредиты и займы у Запада, традиционный экспорт нефтепродуктов (12—14 млн. тонн ежегодно) позволял Румынии тогда покрывать выплаты по этим долгам. Как ему казалось, он наконец-то нашел свою независимую нишу в системе координат Восток — Запад. Страна из традиционно аграрной на глазах превращалась в индустриальную, обьем промышленной продукции вырос более чем в 6 раз по сравнению с 60-ми годами, а с 1944-м — в 100 раз. Процесс этот, как мы знаем из мировой практики, очень тяжелый, требующий значительных капиталовложений, вернуть которые в скором времени мало кому удавалось.

Сыграл здесь свою коварную роль и ближневосточный нефтяной кризис, заставивший многих политиков строить нефтяные «воздушные замки» на песке. Только к концу 70-х годов румынское руководство окончательно осознало, что попало в экономическую ловушку: страны Запада вовсе не нуждались в продукции огромных мощностей румынских заводов-гигантов, как не нуждаются они в готовом продукте или даже полусырье. В этой азбучной истине пришлось убедиться на своем горьком опыте и таким странам, как Польша, Венгрия, Чехословакия и др. Оказалось, что и СССР вместе с другими соседями Румынии по восточному блоку не мог использовать эти мощности, так как они изначально не были интегрированы в экономику СЭВ, да и мифический бартерный «валютный» рубль СЭВ не принимался западными банками. СРР бросилась в страны третьего мира, но они оказались бедны и не способны заключать сделки в таких объемах, хотя и нуждались в румынской продукции.

Румынию уверенно ставил на колени преуспевающий Запад. Перед страной встала жестокая альтернатива: плыть по течению все возрастающей задолженности, компенсируя ее ущемлением политической независимости, или превратить 23-миллионную страну в одного большого донора. Был выбран второй путь, а для этого Румынии было необходимо ежегодно обеспечивать позитивное сальдо торгового баланса в размере 2 млрд. долларов, в связи с чем внутренний рынок начисто лишался тех товаров, в частности продовольственных, которые можно экспортировать. Одновременно с этим резко сокращался импорт с Запада, за счет которого вплоть до 1981 года в большей мере обеспечивалась нормальная работа и модернизация промышленных предприятий. Круг замыкался.

Вот некоторые цифры этого бега против течения: 1980 г.— долг 11 млрд. долларов; 1981-й — 10,1; 1985-й — 7; 1986-й — 6,4... Но Запад не мог позволить Румынии выйти из долговой ямы. По кредитам, предоставленным СРР после 1980 года, сальдо ее задолженности Международному банку реконструкции и развития в 1987 году увеличилось на 50 процентов (около 250 млн. долларов). Это явилось следствием того, что изменения валютных курсов были применены только в отношении должников, а также следствием валютных манипуляций со стороны МБРР. Западные страны выравнивали и утрясали свои финансовые отношения за счет восточных соседей, но самое главное — пытались всеми силами удержать последних в процентном ярме своих кредитов. В результате увеличения задолженности Румынии МБРР «по валютному риску» она понесла значительные финансовые потери, выплачивая большие денежные взносы и процентные ставки. В двух словах, нужно было не только сохранить взятый темп выплаты, но и увеличить его к возросшим процентам, а для этого при-

ходилось искать новые внутренние возможности, ломать уже действующую модель, что, как в замкнутом круге, только увеличивало снежный ком оставточной суммы. 11 млрд. долларов изначального долга в итоге вылились для Румынии примерно в 21 млрд.— вдумайтесь в эти ростовщические цифры! Но разве можно в долларовом исчислении оценить те жертвы, которые понес румынский народ, количество голодных стариков и неродившихся детей?!

В середине 80-х годов мировая демократическая пресса много писала о нехватке продовольственных продуктов в СРР, об экономических санкциях в отношении румынского продовольственного экспорта. Гуманный Запад, поборник прав человека, мог без особого труда, учитывая катастрофическое положение в стране, «смягчить» условия выплаты долгов, но не сделал этого!

Чаушеску ни к кому не шел на поклон — ни к СССР, первые признаки политической вялости и экономического распада которого он почувствовал еще в начале 80-х (а для него это было очевидным предостережением того, что могло ожидать и саму Румынию), ни к Западу — наблюдая, как многие из его бывших партнеров по восточному блоку на глазах все глубже влезают в экономическую зависимость от последнего. Румынскую политику того периода можно охарактеризовать как безоглядное — не считаясь ни с чем, ни с какими жертвами — стремление к полной независимости страны от любого влияния. Путь к независимости лежал через выплату внешнего долга.

Мы можем самыми мрачными красками живописать «золотую эпоху» Чаушеску, ненавидеть и презирать этого человека, сравнивать его с Гитлером, Сталиным, с кем угодно, но мы не можем не признать исторический факт: страна стала единственным в мире государством, выплатившим долги. И — соответственно — получившим возможность свободно распоряжаться всей — поступающей от внешней торговли ресурсами — конвертируемой валютой. 12 апреля 1989 года на Пленуме ЦК РКП Николае Чаушеску торжественно заявил всему миру о полной выплате Румынией внешней задолженности.

Но именно это очень не понравилось западному цивилизованному миру—как опасный пример для других стран. Восемь месяцев спустя всю мировую прессу обошел снимок мертвой головы диктатора с остекленевшим взором и струйкой засохшей крови у виска. У одних это вызывало ощущение торжества над «укрощенным» строптивым политиком, другим служило предостережением.

В последнее время у многих российских и зарубежных историков демократической волны стало модным писать пухлые монографии на интригующую тему: в чем причины тоталитаризма того или иного политического деятеля? Ответ на поставленный вопрос часто пытаются найти в личных качествах самого человека, в его жестокости, коварстве, беспринципности. По-моему, ответ надо искать в более простых вещах...

Попытки Запада сформировать внутри Румынии сильную оппозицию, ослабить и лимитировать власть ожесточили лидера. Выбрав тяжелый путь выплаты долгов, он не мог не защищаться, не мог не подавлять инакомыслие. С другой стороны, в стране не создавались концлагеря для политических заключенных, как это было при Сталине, отдельные неугодные люди сидели в обычных тюрьмах, для многих административным наказанием становился домашний арест. Вся внутренняя и внешняя политика Румынии в тот период есть не что иное, как политическая, экономическая и духовная «глухая оборона». Чаушеску понимал всю бесперспективность изоляционистского пути Албании, закрывшей наглухо границы и ощетинившейся устаревшими бетонными оборонительными сооружениями, но и не мог позволить хозяйничать на своей территории агентам ЦРУ, «Моссад» и французских спецслужб под прикрытием различных международных общественных фондов и культурных ассоциаций.

Не могло руководство СРР открыть ворота западному капиталу для внедрения в ключевые отрасли румынской экономики. По мнению кондукэтора, учитывавшего опыт многих африканских стран, «пассивный» путь возвращения задолженности и долевое участие в прибылях собственной экономики вели в тупик затягивающихся финансовых трудностей.

В который раз пересматриваю кадры видеохроники. У гроба Николае Чаушеску стоит нынешний сенатор Румынии Джелу Войкви-Войкулеску, не раз демонстрировавший в последние годы с высокой трибуны свою глубокую неприязнь ко всему советскому (однажды он даже обвинил шахтеров из Валя Жиулуй, устроивших уличные беспорядки в Бухаресте в сентябре 1991 года, в связях с московскими «путчистами»). Скрестив руки на груди, он не спеша дает последние указания, краем глаза посматривает на камеру, сознавая, что эти кадры войдут в историю. Внешне сохранив спокойствие, сенатор не смог до конца утаить некий огонек удовлетворения в глазах. Именно он, Джелу Войкан-Войкулеску, был одним из главных вдохновителей суда и скорой казни четы Чаушеску. Открываю националистическую газету «Ромыния Маре» («Великая Румыния»): на фотографии богослужение в бухарестской синагоге, на переднем плане в ритуальной шапочке сенатор слушает проповедь раввина. Какая связь между двумя кадрами, спросите вы?

Вспомним, что не так давно Румыния была единственной страной восточного блока, которая превратила эмиграцию в доходное дело. Тогда рассуждали просто и ясно: тот, кто родился, вырос, получил бесплатное образование и медицинское обслуживание в одной стране, не может просто так поменять ее на другую, не расплатившись по всем счетам. За каждого немца, покидающего Румынию, ФРГ вносила на румынские внешние счета по 5 тысяч западногерманских марок, в еврейские общины Запада были вынуждены платить адекватную сумму в американских долларах за каждую «голову». При этом отъезжающий обязывался по румынским законам сдать свое имущество—цен-

ности, машину, дом — специальной государственной оценочной комиссии. Такая «работорговля», вызывавшая крайнее раздражение в цивилизованном мире, давала в казну государства определенный стабильный приход в СКВ, который также шел в уплату западного долга. Можно только догадываться, о чем думал сенатор, стоя перед мертвым диктатором, только почему-то чисто ассоциативно вспоминается фотография стены дома Ипатьева с ритуальной надписью.

Николае Чаушеску — загадочная и противоречивая политическая фигура XX века, к которой историки часто будут возвращаться в своих исследованиях, пытаясь осмыслить период европейского «великого ростовщичества» 70—80-х годов. Сам факт того, что Румыния избавилась от внешнего долга, остался почти незамеченным в то время в глазах мирового общественного мнения. Почему? Было на практике доказано, что внушительный валютный долг можно вернуть, и делать сие нужно быстро, так как любое затягивание этого болезненного процесса приводит к быстрому разрушению национальной экономики страны.

Возникает пространный философский вопрос: а так ли это необходимо сейчас, исходя из первоочередных нужд собственной экономики,— стремиться к погашению валютной задолженности? В прессе часто говорят о том, что все страны мира должны друг другу, и взаимное погашение долгов не предвидится. Эта мысль далеко не безобидна, как кажется на первый взгляд, потому что на самом деле именно долговая проблема по рукам и ногам связывает многих политических лидеров развивающихся стран в их попытках укрепить национальную экономику, добиться ее расцвета. С другой стороны, долги долгам — рознь; можем ли мы, например, механически перенести огромные, многомиллиардные кредиты бывшего СССР, переданные в свое время развивающимся странам социалистической ориентации, на счет нашей задолженности Западу? Конечно же, нет — чужие векселя не передаются, в мировой экономической практике каждый отвечает сам за себя. Поэтому успокаивать себя мыслью о том, что мы сами ходим в кредиторах, как советуют отдельные демократические издания, нельзя.

Экономическая политика нынешнего российского руководства не имеет и тех оправданий, которые мог бы привести Николае Чаушеску. Уровень жизни нашего населения в массе своей снижается параллельно увеличению суммы долгов. Люди уже не обладают «запасом экономической прочности», так необходимым в случае интенсивной выплаты внешних долгов. И страшно подумать, до каких же показателей упадет уровень жизни в России, когда наступит время «собирать камни» — возвращать долги.

Сумма набранных нами займов и кредитов уже составляет 70 млрд долларов (по другим оценкам, гораздо больше), а к 1995 году, как писала газета «Правда», превысит все 200 млрд. долларов. Эти астрономические цифры волнуют пока лишь знающих экономистов, а мы отвлеченно смотрим кадры теленовостей, где в свете юпитеров заключаются новые сделки, оказывается «долгосрочная материальная помощь» со стороны западных стран, до конца не осознавая, что эти долги непосредственно ложатся на плечи каждого из нас. Долги придется отдавать. И если перенести, чисто абстрактно, экономические трудности, пережитые Румынией, на нашу модель, то полная выплата внешнего долга (это при условии, что мы сейчас перестанем занимать) замаячит лишь где-то в третьем тысячелетии. Все это станет возможным, если все суверенные республики бывшего Союза не откажутся от ранее взятых обязательств и будут исправно вносить свою пропорциональную долю, если Россия переориентируется на экспорт готовой продукции и перестанет торговать, как колониальная страна, сырьем за бесценок, в частности снова будет продавать алмазы самостоятельно «на караты», а не просто «на вес» мировому алмазному картелю. Если не будет варварски уничтожаться дорогостоящее, по отдельным видам лучшее в мире, вооружение, за которое Россия может выручить десятки миллиардов долларов (в 60-е, «застойные» годы, когда СССР прочно утвердился на международном рынке оружия, каждая шестая пара обуви в наших магазинах приобреталась на деньги, полученные от торговли вооружением). Миллион всяких «если»... И даже при выполнении всех этих требований выплата внешней задолженности ляжет тяжелым финансовым бременем на всех нас.

Хочется спросить тех, кто несет ответственность за нашу экономическую политику: а существует ли на самом деле на «шестой части суши» комплексный, продуманный план борьбы с внешней задолженностью, или эту проблему предстоит решать нашим детям? Ни один российский политик не сказал пока, как и когда мы собираемся возвращать долги. Не сказал нам и того, позволят ли международные ростовщики вернуть эти огромные суммы, с которых они ежегодно получают миллиардные проценты.

И здесь опыт Румынии — тревожный сигнал для России.

3 млрд. долларов — такую сумму должна была выплачивать Румыния по процентам своих долгов приблизительно каждый год. Десять, двадцать, тридцать, сорок лет. До бесконечности — такие долги не отдают, подобного случая не было в мировой практике. Чаушеску долг вернул. Лишив международных ростовщиков ежегодной прибыли в 3 млрд. долларов. Это — цена крови президента и тысяч румын, погибших и получивших увечья во время декабрьских событий 1989 года.

МИХАИЛ НАЗАРОВ

ИСТОРИОСОФИЯ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Нынешний трагический распад России (она здесь понимается в дореволюционном многонациональном и духовном смысле) — очевиден. Правда, бывали и в прошлом Смутные времена, после которых вновь и вновь, под воздействием каких-то глубинных сил, собиралось и укреплялось Российское государство, проявляя свою неуничтожимую духовную суть. В этом основа и сегодняшних надежд на лучшее будущее: «в Россию можно только верить»...

Однако нынешнее Смутное время имеет ранее небывалый глобальный масштаб, который чрезвычайно затрудняет задачу российского возрождения. Сами причины нынешнего распада Российского государства имеют всемирный характер.

1. Первая причина, лежащая на поверхности и наиболее очевидная,— режим, построенный на интернационалистической утопии. Попытка ее осуществления нанесла сильнейший удар по российскому единству: тут и тоталитарная нивелировка всех народов при использовании языка самого большого из них, и национал-большевизм (эксплуатация коммунистами русских патриотических чувств), и обрезание России до пределов РСФСР с завлекающим (для окраинных народов) проведением границ там, где их раньше не было: все равно им предстояло «отмереть» в «близкой мировой революции».

В этой внутренней политике — при всей внешней мощи советской сверхдержавы — таилась огромная слабость, которая и проявилась столь разрушительно при попытке реформ. Не может быть прочным государство, основанное на лжи и насилии. (Непонимание этого ведет и сегодня к тому, что выступающие за сохранение Союза под красным знаменем, пропитанным кровью десятков миллионов россиян,— лишь препятствуют единению патриотических сил, усугубляют хаос.)

2. Однако заметим, что был и второй, объективный фактор. Ведь поощрение национальных окраин не было случайной прихотью коммунистов. Этот способ завлечения «националов» учитывал естественный процесс «самоопределения наций», то есть демократизации мира. Это обстоятельство, впрочем, не следует абсолютизировать: пример таких многонациональных государств, как Швейцария или Бельгия, говорит о том, что даже разноязычные народы могут объединяться в одно государство общей ценностью, более высокой, чем этническая. К тому же в утверждении принципа «самоопределения наций» можно видеть и инструмент политики «сильных мира сего» по нейтрализации своих геополитических противников. Характерно, что впервые этот принцип нашел юридическое оформление после Первой мировой войны, причем Версальская конференция применила его только к побежденным монархиям (Австро-Венгрии и России), но не к национальным меньшинствам и колониям стран-победителей...

3. Третий фактор — иностранная геополитика — проявился в отношении России гораздо раньше других. Причем агрессивное отношение западных властителей к России объяснялось не только эгоистической борьбой за рынки и сферы влияния, но и тем, что Россия сопротивлялась этому влиянию уже постольку, поскольку представляла собой цивилизацию с иными духовными целями.

Разумеется, Российская империя, как и все прочие, во многом создавалась силой — это было общепринятое политическое

НАЗАРОВ Михаил Викторович, видный представитель «третьей волны» эмиграции. После окончания техникума работал на острове Диксон, мысе Челюскин. Окончил Институт иностранных языков в Москве. Работая по контракту в Алжире, вынужден был перебраться с семьей в Европу. Там десять лет работал в издательстве «Посев», учился в Мюнхенском университете. В последние два-три года его статьи появляются в газетах «Литературная Россия», «Политика», журналах «Родина», «Москва», «Наш современник». Живет и работает в Мюнхене.

средство в те времена. Но, в отличие от всех других, в России не существовало неравноправия по национальному признаку, поэтому она была прочнее и гармоничнее. (Ограничения для еврейства, введенные в конце XIX в., имели признак не национальный, а вероисповедный; при крещении они отпадали сами собой. Это сложная проблема, существовавшая в свое время во всех христианских странах. То, что Россия осталась практически единственной, сохранившей эти ограничения, можно объяснить более острым ощущением несовместимости антихристианской и христианской морали — в этом можно видеть и свидетельство особого пути России, и одну из важнейших причин глобальной атаки «мирового сообщества» на нашу страну в начале XX века.)

То есть, как бы ни создавалась дореволюционная Россия,— она строилась не на колониальной эксплуатации, а на культурно-национальной автономии своих составных частей и постепенно развивалась в новое, неэгоистическое, сообщество народов; во взаимовыгодный союз для защиты их национальных культур от секулярно-космополитических тенденций менявшегося мира. К началу XX в. Россия осталась последним бастионом консервативных (христианских) нравственных ценностей и поэтому все больше воспринималась «сильными мира сего» как досадное препятствие их геополитическим планам. Соответственно— ставка Запада на расчленение России возникла задолго до естественного распада тогдашних империй. И на примере Украины — не «инородческой» территории, а древнего центра русской государственности,— это можно показать нагляднее всего.

ЗА КУЛИСАМИ УКРАИНСКОГО СЕПАРАТИЗМА

Так, поощрение украинского сепаратизма нарастало из Австро-Венгрии уже со второй половины XIX века. При этом услужливые «ученые» искажали не только украинский язык (вводились немецкие и польские слова, чтобы он как можно больше отличался от русского), но и саму историю Малой Руси. Утверждалось, что издревле существовал «особый украинский народ», отличавшийся от русского; что этот народ изначально имел «самостоятельный, не русского происхождения, язык»; при этом поздние исторические реалии стали переносить в прошлое, заявляя, например, что «правитель Украины Володимер крестил украинцев»...

В Первой мировой войне ставка на сепаратизм была использована уже как инструмент военной стратегии. Противники России финансировали не только пораженцев-большевиков, — но и сепаратистов, в соответствии с планом Гельфанда-Парвуса по объединению усилий всех антирусских и революционных сил [1]. Особое внимание уделялось пропаганде среди пленных. Тем не менее результат был ничтожен: из 2,5 миллионов пленных россиян лишь «две тысячи украинских националистов согласились дезертировать в немецкую армию» [2].

В первый период войны страны Антанты воздерживались от поощрения сепаратистов в России, поскольку она была им нужна как союзник против Германии. Но идеологическая цель войны для демократий заключалась в падении всех трех консервативных монархий: России, Германии, Австро-Венгрии. После достижения этой цели — в годы гражданской войны Антанта поддержала сепаратистские течения в стране-союзнице, ставя ультиматумы Белым армиям и навязывая им свои правительства (например, в Эстонии Северо-Западное правительство при генерале Юдениче было скомплектовано англичанами за 40 минут с требованием «в тот же день заключить договор с эстонским правительством; в противном случае Антанта прекратила бы любую помощь» [3], — пишет немецкий историк Х. фон Римша).

Разумеется, и во главе новообразованных государств эмиссары Антанты старались поставить «своих людей» (в основном по масонской линии). Так, масонами были не только большинство членов российского Временного правительства, но и в Чехословакии — Бенеш и Масарик, в Польше — Пилсудский, в Грузии — премьер-министр Е. П. Гегечкори и министр иностранных дел А. И. Чхенкели; на Украине — Петлюра, министр Рады по «великорусским национальным делам» Д. М. Одинец, первый президент Украины Грушевский [4]...

Но все-таки сепаратизм на Украине утверждался с трудом. Так, о провозглашении «украинской независимости» в 1918 г. следует судить в ряду других решений той же Центральной Рады — украинского «парламента», созданного 4(17) марта 1917 г. после падения российской монархии. Сначала эта Рада (образованная, кстати, не всенародными выборами, а соглашением политиков) не торопилась с отделением от России. В обращении «К украинскому народу» от 9(22) марта Рада призвала поддержать российское Временное правительство. Затем, 10(23) июня она провозгласила лишь автономию Украины, а 3(16) июля решила перенести ее осуществление до созыва Всероссийского учредительного собрания. Только 7(20) ноября, после большевистского переворота, Центральная Рада объявила о создании украинского государства — но опять-таки в составе России. И лишь 11(24) января 1918 г., сразу же после разгона большевиками Учредительного собрания, Рада провозгласила независимость Украины.

Эта хронология отражает не столько национальные, сколько политические причины объявления независимости: украинская дипломатия во главе с В. К. Винниченко пыталась защититься как от большевиков, угрожавших Украине террористическим режимом, так и от немцев с австрийцами, которые стремились сделать Украину своим вассалом.

Конечно, многие политики и без того стремились к отделению Украины от России, но они должны были считаться с тем, что населению сепаратизм был чужд. Можно привести свидетельство из воспоминаний того же Винниченко о настроениях самих украинцев: «С каким неуважением, злобою, с каким мстительным глумлением они говорили про Центральную Раду, про Генеральных секретарей, про их политику. А что было в этом действительно тяжелым и страшным — то, что они высмеивали и все украинское: язык, песню, школу, газету, украинскую книжку... это были не отдельные сценки, а всеобщее явление с одного края Украины до другого...» [5].

Даже немцы в те годы признавали, что финансируемые ими сепаратисты очень непопулярны на Украине. Поэтому германский канцлер Г. Михаэлис предостерегал (26.07.1917): «Мы должны быть очень осторожны, чтобы литература, с помощью которой мы хотим усилить процесс распада России, не достигла прямо противоположного результата... украинцы все еще отвергают идею полного отделения от России. Открытое вмешательство с нашей стороны в пользу независимого украинского государства, несомненно, может использоваться противником с целью разоблачения существующих националистических течений как созданных Германией». Советник германского посольства в Москве Рицлер подтверждал (04.06.1918): «...любая идея независимости Украины сейчас выглядела бы фантазией, несмотря ни на что живучесть единой русской души огромна» [6].

Лишь в хаосе гражданской войны сепаратизмы расцвели пышным цветом — но они объясняются именно желанием защититься от хаоса. Нередко «независимыми государствами» объявляли себя уезды. Кроме того, «независимость» всегда была методом самоутверждения для честолюбивых политиков и уголовно-мафиозных структур.

Таким образом, почвы для сепаратизма в славянских и многих других народах тогдашней России не было. Поэтому большевикам (опираясь на своих приверженцев во всех республиках) удалось снова собрать империю, и ценою огромных жертв она осталась «белым пятном» на карте «сильных мира сего». Но коммунисты наполнили его иным смыслом и больше, чем кто-либо, облегчили задачу расчленителям России.

Плоды этой большевистской политики проявились уже в годы Второй мировой войны, когда ставку на расчленение России сделали нацисты: тут и дивизия СС «Галиция», и бандеровцы, у которых антикоммунизм соединялся с ненавистью к русским. Но и тогда распространения в народе сепаратизм не получил. В частности, немецкие проекты создания самостоятельных Украинской и Белорусской Церквей провалились (в эмиграции большинство епископов-автономистов влилось в Русскую зарубежную Церковь).

ЗАКОН О РАСЧЛЕНЕНИИ РОССИИ: P.L. 86-90

Перелом наступил в годы «холодной войны», когда демократический мир перешел от поддержки большевиков к борьбе против них, причем национальный вопрос был избран главной пропагандной мишенью. Как пишет немецкий историк Х. Е. Фолькман: американцы «однозначно склонялись к тому, чтобы поощрять, прежде всего финансово, процесс отделения «российских» национальностей. Эта позиция не в последнюю очередь преследовала цель — вместе с разгромом большевистского господства произвести также расчленение России и тем самым устранить ее как политического и экономического противника Америки» [7].

Усиленно поощрялись сепаратистские эмигрантские организации, в пропаганде которых, как правило, «Советский Союз идентифицируется с Россией и советская внешняя политика характеризуется как непосредственное продолжение империалистической политики царской империи, поэтому «борьба с большевиками означала одновременно борьбу с русскими» [8], — пишет Римша. На этом отождествлении (для простоты внушения) строилась политучеба в армиях НАТО, с этими тезисами соглашались влиятельные круги в западной политологии...

Наиболее яркое официальное выражение эта американская политика нашла в так называемом «Законе о порабощенных нациях» (P. L. 86-90), принятом в США в 1959 г. Приведем его основную часть, выделив наиболее важные слова:

«...Так как, начиная с 1918 года, империалистическая и агрессивная политика **русского коммунизма** привела к созданию обширной империи, которая представляет собой зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира, и...

Так как империалистическая политика **коммунистической России** привела, путем прямой и косвенной агрессии, к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других, и...

Так как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения...

Так как именно нам следует надлежащим **официальным образом ясно показать таким народам тот исторический факт, что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния вновь обрести свободу и независимость**, то отныне да будет:

Постановлено Сенатом и Палатой Представителей Соединенных Штатов Америки, собранных в Конгрессе, что: Президент Соединенных Штатов уполномочивается и его просят обнародовать прокламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года «Неделей Порабощенных Наций» и призывающую народ Соединенных Штатов отметить эту неделю церемониями и выступлениями. Президента... просят обнародовать подобную же прокламацию ежегодно, пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира» [9].

Этот закон, в котором русский народ не включен в число порабощенных, но высту-

пает в виде поработителя Китая и Тибета, Украины и Белоруссии, «Казакии» и «Идель-Урала», чью борьбу за независимость США официально обязались поддерживать, — был принят единогласно Сенатом США, Палатой Представителей и утвержден президентом Эйзенхауэром. Такое единогласие говорит о чем-то большем, чем просто политика: здесь символически ярко отражено отношение западного мира к России в XX веке...

Не случайно именно с 1940—1950-х годов в зарубежье (а не в СССР) начинается расцвет антирусских сепаратизмов: сначала их поощряли Гитлер и Розенберг, затем — творцы закона P. L. 86-90. Разница лишь в том, что одни это делали грубо — во имя расовой теории, другие «на правовой основе» — во имя демократии. И если расисты в этом деле особого успеха не имели, то более привлекательные демократы весьма преуспели.

Впрочем, иногда различие между теми и другими установить трудно. Например, генерал М. Д. Тэйлор, бывший начальник штаба армии при президенте Эйзенхауэре и председатель Объединенного комитета начальников штабов при Дж. Кеннеди и Л. Джонсоне, в 1982 г. опубликовал в газете «Вашингтон пост» статью с обоснованием концепции атомного удара, при котором «по мере возможности... цели должны быть ограничены областями с преимущественно этнически русским населением, чтобы ограничить ущерб в нерусских республиках...» [10]. Столь открытым текстом своих планов не объявлял даже Гитлер.

Именно в эти годы была возбуждена наибольшая ненависть к русским в среде украинской эмиграции. Даже «Социалистический вестник» (хотя и не связывая это с американской политикой) подметил, что после войны «многие украинские эмигранты унесли с собой в своей душе эти гитлеровские семена шовинизма и национальной розни. И... мы с изумлением увидели, как легко им удалось переключить законную ненависть своих украинских братьев против сталинизма в ненависть к русскому народу... надо сказать прямо: во многих из них чувствуется дух Гитлера-Розенберга» [11].

Эти семена взошли и на сегодняшней Украине — таков, например, «Украинский Националистический Союз», состоящий из «арийцев-сверхчеловеков», у которых «сжимает горло от услышанного русского слова», ибо «на всем протяжении своего существования Московщина выступала не просто врагом Украины и всего цивилизованного человечества, а олицетворением всех злых, сатанинских сил...» [12].

Против закона P. L. 86-90 все эти десятилетия протестовала русская эмиграция. Но и в 1991 году он не отменен. Конгрессмен Рорабахер, предложивший после августовских событий пересмотреть этот документ, натолкнулся на «сильнейшую оппозицию со стороны украинской общины в США», вследствие чего его предложение в сентябре-октябре не нашло поддержки в Конгрессе [13].

Более того, в происходящем сейчас распаде исторической России политика США руководствуется той же целью, и ее пропагандные мощности играют огромную роль. Последний пример: буквально накануне украинского референдума 1 декабря 1991 г. было распространено заявление Буша, что США готовы признать независимость Украины (то есть оказать в этом случае помощь). Это заявление было существенным подкреплением усилий Радио «Свобода», украинская «Служба» которой — тоже накануне голосования — пропагандировала «новый план Маршалла» для Восточной Европы, который может распространяться и на независимую Украину... Вероятно, поэтому за «независимость» голосовала и значительная часть русского населения — те, кого сейчас голодный желудок и фантастические цены беспокоят больше, чем целостность Отечества...

Усилиями средств информации и сепаратистской «пятой колонны» на месте была создана такая эйфория отделения (как быстрого пути разрешения экономических проблем), что иного результата ожидать было трудно. О юридическом уровне этой акции говорит уже форма самих бюллетеней: они начинались с констатации «смертельной небезпеки, яка нависла була над Украйною» от ГКЧП, и, без предложения альтернативы (сохранения союза с Россией), требовали лишь подтвердить «акт проголошения незалежности...».

То, что вашингтонский Белый дом охарактеризовал референдум как «проявление демократии, делающее честь духу украинского народа»; или что Бейкер и Кравчук назвали проведение референдума «безукоризненным и образцовым» [14], — не удивительно. Удивляет, что московский «Белый дом» с этими оценками согласился. И хотя в предпочтении избирателями коммуниста Кравчука можно видеть отказ поддержать его соперников — крайних националистов-сепаратистов, все же участники референдума, видимо, еще не скоро начнут задумываться, за чью «незалежность» голосовали, а главное — «незалежность» от кого...

ОТ НАИВНОСТИ ДО МОНДИАЛИЗМА...

В недооценке описанной иностранной геополитики населением нашей страны заключается четвертый фактор, сыгравший роль в крушении Союза. Сам неуспех «перестройки» во многом объясняется деструктивным влиянием заграничных сил — при непротивлении этому со стороны реформаторов. Умелое манипулирование общественным мнением в СССР из-за границы и обеспечило столь разрушительный суммарный эффект всех отмеченных факторов.

Роль средств информации здесь особая, ибо влиять на ход событий можно уже соответственным преподнесением их населению страны и «мировой общественности» — в лучших традициях «демократической принципиальности». Так, действия ВПК и правительства СССР против президента-генсека ЦК КПСС в августе были названы «антиконституционным путчем» (мерилом законности западные демократы избрали брежневскую конституцию). А путч против того же президента (уже не генсека), устроенный Ельциным—Кравчуком, «открыл эру демократии для народов России» — несмотря на то, что они объявили роспуск союзного государства без всяких на то полномочий и вопреки результату мартовского референдума. За столь демократическую акцию Кравчуку простили даже то, что в августе он был готов поддержать ГКЧП.

Этим макиавелизмом объясняются многие кажущиеся «противоречия» в политике США (и Запада в целом). Демократам никогда не мешали союзы даже с полезными преступниками. Например, в нашей гражданской войне из стран Антанты шла видимая поддержка Белым армиям (очень небольшая и при условии, что они не будут выступать под монархическим знаменем) — и одновременно более крупная и невидимая помощь большевикам (Уолл-стрит надеялся со временем оседлать их как готовую централизованную структуру господства над Россией) [15]. Внимательный читатель уже заметил и то, что титовская Югославия в «Законе о порабощенных нациях» отсутствует — «чтобы не отталкивать ее от Запада в объятия Москвы». По той же причине и главный украинский коммунист Кравчук, более всего заботящийся о сохранении своей власти, Западу вполне приемлем.

Поэтому отдельные заявления американских руководителей в поддержку элементов централизма в нашей стране не должны вводить в заблуждение: они диктуются временной тактикой, угрозой бесконтрольности атомного оружия, опасностью дестабилизации Восточной Европы — при неизменной долгосрочной стратегии «освоения» России. Это как поршни в двигателе внутреннего сгорания: кажется, что они движутся хаотично, даже противоположно друг другу, но все они дружно крутят невидимый вал в одном направлении. Политическое искусство влияния и состоит в этом, а также в правильном присоединении чужих поршней к своему валу. Впрочем, кроме «чужих» есть и готовые «свои люди», и если бы их удалось поставить у власти в России — то и расчленение было бы не так уж необходимо.

Эти «свои люди» — особая проблема в рассматриваемом четвертом факторе. Если в основной массе нашего народа неразличение лжи и правды в антикоммунистической политике Запада объясняется реакцией на десятилетия лживой антизападной пропаганды, то в «демократической» части бывшей номенклатуры имеются убежденные сторонники космополитического «нового мирового порядка» (его идеологию называют «мондиализмом»). Именно поэтому США не жалеют дифирамбов Яковлеву, Шеварднадзе и т. п.: их «Движение демократических реформ» могло бы стать готовой мондиалистской структурой в «демократическом СССР». «Мужик» же Ельцин с этой точки зрения непредсказуем (с чем, похоже, и связывает надежды на его «поумнение» как патриотический фланг, так и «сильные мира сего», но пока что разочарованы и те, и другие: похоже, ни духовной сути России, ни особенностей «общечеловеческой семьи» Ельцин еще не рассмотрел).

Правда, от услужливого мондиализма до наивности — один шаг. Подпадание наших «демократических» вождей под идеологическое давление западных критериев часто объясняется незнанием Запада, мировоззренческой косностью, а также тем, что ничему созидательному партаппаратчики никогда не учились. Это стало заметно уже в ведении ими «перестройки». Проводить реформы можно было продуманно, не допуская развала существующей экономики и тем более государства, но давая развиваться новым свободным структурам — снизу вверх. Экономическая реформа должна была начинаться с сельского хозяйства и сытость предшествовать введению политических свобод. Все делалось наоборот. «Огромная заслуга» (развал тоталитаризма в России), за которую Горбачев провозглашен на Западе чуть ли не «человеком века», была с этой точки зрения его услугой и особого таланта не требовала: ломать — не строить. Более бездарно распорядиться столь огромной властью было трудно.

Из-за такого же несоответствия знаний уровню национально-государственных задач приобретает разрушительный характер многое из того, даже очень нужного, что сейчас делают преемники Горбачева. Так, необходимая в принципе приватизация ведется сверху, в пользу мафиозных дельцов. Ее апологеты, похоже, забывают, что и на Западе частная собственность далеко не единственная форма владения, ибо не везде применима: в современной экономике весьма важен государственный и общественный сектор. К тому же дело ведь не в том, чтобы у нас были свои миллиардеры; дело в том, будут ли ими достойные граждане России. При нынешней кампании приватизации (смахивающей на химизацию, кукурузизацию, мелиорацию...) шансы на это невелики. А если к этому добавить пресловутую «либерализацию» (цен) — то, похоже, и врагам трудно было бы придумать более эффективный сценарий развала страны: освобождение цен при несвободной, монополизированной экономике ведет не к росту производства, а к произволу сильного.

Мировоззренческая наивность наших демократических вождей плодит веру в простые и расхожие рецепты-панацеи. Такова, например, абсолютизация рынка, который демократы наделяют чуть ли не магическим смыслом. Несмотря на то, что страны с рыночной системой очень разные, идеал у наших демократов один — Америка. Однако полезно вспомнить, что в годы войны и американская экономика переводилась на центрально-директивное управление. А разве у нас сейчас не война за выживание? Кроме того, следует задуматься над самим механизмом американского процветания, какую функцию в нем выполняет «черная дыра» астрономического государственного долга: это не только обратная сторона жизни не по средствам, но и тень, отбрасываемая подлинными властителями Америки, точнее — их плата за пользование этой сверхдержавой в своих геополитических целях. Такую же «черную дыру» в России им вро-

де бы иметь незачем и наш долг уже сейчас давит бременем вполне реальным.

То есть вхождение в мировую рыночную систему требует ее тщательного изучения: от этого зависит, какую роль мы в ней будем играть (не забудем, что, например, и у Конго рыночная экономика). Нужно отделить естественные законы, по которым работает экономическая машина, от законов, которые кому-то гарантируют место шофера в этой машине и выдаются за «непреложные».

Правда, у самостийных вождей задача реформ проще, ибо у них есть универсальный рецепт: обещать своим народам «процветание без москалей» (только так есть шанс стать министрами и послами) и потом именно на «москалей» сваливать все свои просчеты. О том, что такие просчеты будут, можно судить уже по степени национального невежества подобных национальных лидеров: они (как и их менторы с Радио «Свобода») считают оскорбительным даже гордое название «малороссы» — не зная, что оно происходит от византийского термина «Малая Россия», то есть центральная, исконная часть русского государства[16] — в отличие от России «великой», разросшейся; точно также византийцы делили и Грецию на «малую» центральную часть и «великую» — с колониями. Самостийники, вопреки своим политическим целям, предпочитают быть «украинцами» (от слова «окраина», которое как раз предполагает наличие «центра»)... (В этом изменении терминологии и в намеренном сужении значения слова «русский», применяемого теперь к одним лишь великороссам — одна из главных побед расчленителей России. Ведь еще на рубеже XIX—XX вв. русскими называли себя великороссы, малороссы и белорусы вместе взятые; в этом смысле его употребляли как представители великорусской интеллигенции, так и малороссийской — например, П. А. Кулиш).

Именно вследствие того, что во главе отделившихся независимых государств остались бывшие номенклатурщики подобного уровня — нет особых надежд на то, что их СНГ будет наполнено положительным содержанием. В принципе, такое Содружество (правда, с более благозвучным названием) могло бы стать достойной заменой прежнему СССР, но нельзя не видеть, что причины образования СНГ — в основном «отрицательные». Прежде всего — борьба против «центра», которая началась именно Ельциным по принципу: «берите столько суверенитета, сколько сможете...» Этому его совету, как видим, последовали не столько демократы, сколько коммунисты, перекрасившиеся в национальные цвета. Причем теперь их борьба ведется за сохранение своей власти на местах — а там хоть трава не расти. Похоже, именно поэтому Кравчуку нужна своя армия и своя валюта: чтобы быть независимым от дальнейшего процесса очищения нашей страны от наследия прошлого; ибо вряд ли бремя этих расходов повысит уровень жизни населения Украины... В этой суверенизации прежних тоталитарных структур — последний удар коммунистов по единству нашей страны. Впрочем, последний ли?

ОБ ИДЕОЛОГИИ ВЫЖИВАНИЯ

Но есть еще один фактор — те россияне, которые понимают происходящее и считают себя обязанными действовать. Ведь главный субъект истории — сам человек, в воле которого находят или не находят проявление те или иные духовные силы, действующие в истории. Процессы нашего возрождения в прошлом всегда совершались через волю русских людей, ощущавших духовное призвание своей страны, связывавших с ним смысл своей жизни, увлекавших за собой других.

Во всяком случае, от нас больше, чем от кого-либо, зависит результат: позволим ли мы или не позволим себе в очередной раз соблазнить на ложные пути, одурачить, прикрепить наших левых и правых к нужным местам коленвала иностранной политики...

Пока что во многом происходит именно это. Наши демократы стали «пятой колонной» США. Общество «Память» — пугалом, необходимым для оправдания этой «пятой колонны» и для заселения оккупированных Израилем территорий. Патриоты, выступающие под красным знаменем, прикреплены к этому валу для дискредитации самой идеи единства России. Как и Жириновский, выступающий в стиле то ли Гитлера, то ли В. Жаботинского, который дискредитирует идею национальной власти уже своей вульгарностью и цинизмом. Бескомпромиссная (но неумная) критика компромиссов Московской патриархии используется врагами России для дискредитации Русской Церкви как таковой; к этому же результату ведет и «защита православия» в виде защиты недостойных иерархов...

Если мы не всмотримся внимательно в наших заграничных «доброжелателей» и друг в друга,— мы не спасем Россию. Нынешние россияне должны найти свой собственный «коленчатый вал» для соединения всех усилий в едином патриотическом движении. Его платформу можно предложить примерно в таком виде:

1. В нынешнем хаосе прав и свобод, границ и суверенитетов необходима безупречная юридическая точка отсчета в решении проблем. Если мы считаем, что силы, овладевшие Россией и правившие в ней с 1917 г., были преступными, то такая точка отсчета — последняя законная власть на данной территории до революции 1917 года (в которой Февраль и Октябрь — лишь две вехи одного разрушительного процесса). Все последовавшие за 75 лет акты — незаконны. Это не значит, что сегодня нужно настаивать на старых имперских границах — неизбежны их пересмотры, признание новых реальностей и самостоятельных государств. Но только безупречная юридическая основа не будет подрывать понятия справедливости и заложит прочную основу для будущего.

2. Россия — член мирового сообщества, как и любое государство на нашей планете. Но в этом сообществе действуют разные силы: дружественные и враждебные. Поскольку вторые мощнее и в течение всего XX века постоянно проявляли свою агрессивность против нашего государства,— залечивание наших ран сейчас возможно только при большой степени автаркии[*]. Наша страна обладает всем необходимым для независимого существования на этот переходный период. Лишь с окрепнувшей экономикой можно входить в «общечеловеческую семью» с ее нравами.

3. Но в любом случае — входить, не слепо подражая всему, что происходит в этой «семье». Мы сможем занять в мире достойное место, лишь если вспомним свое призвание в истории, о котором шел спор между западниками и почвенниками: об идее христианской цивилизации. В сравнительно благополучном XIX веке это была лишь романтическая теория. Сегодняшний мир требует для своего спасения практических решений, ибо в нем обостряется противоречие между техническим могуществом человечества — и его прогрессирующей нравственной деградацией. Рынок подминает под себя науку, искусство, право, человеческие отношения. Духовные ценности становятся все более уязвимыми, ибо они не котируются на рынке, — а «сильные мира сего», в свою очередь, поощряют этот процесс, ибо только в бездуховном атомизированном обществе их деньги приобретают абсолютную власть. Следствие: натиск пошлой «массовой культуры», нравственная деградация, равнодушие к истине, — все это тревожные признаки саморазрушения человечества.

В этих условиях нашими союзниками могут быть все страны, отстаивающие свою национальную самобытность от космополитической энтропии. Но поскольку Россия — неотъемлемая часть европейской цивилизации, наше основное духовное усилие лежит в русле консервативного движения «новых правых», отвергающих идейный багаж Французской революции и противостоящих американизации Европы. Для этих сил мы могли бы стать долгожданным оплотом, а они для нас — ценным экспертом по проблемам современного мира.

* * *

Есть у происходящего и более крупный масштаб. Смысл истории связан с судьбою христианских народов (среди которых наиболее остро его ощутил народ русский: отсюда «Москва — Третий Рим») и с судьбою народа, который отверг духовные ценности Христа — Сына Божия (и все еще ждет своего земного национального мессию-царя). В этом не заслуга или преступление этих двух народов, но их судьба. В созревшем в XX веке столкновении двух мессианизмов — христианского и антихристианского (материалистического) — состоит драма мировой истории. Возможно, с крушением православной России в 1917 г. мы выходим на ее финальный отрезок (по качественному смыслу, но не обязательно — по конкретным срокам, которые еще могут быть долгими). Этот финал связан с грядущей победой материализма в мире (масонский «новый мировой порядок»), с пришествием носителя этой идеологии — антихриста (в облике ожидаемого еврейского мессии-царя), но также и с сопротивлением ему. Лишь если Россия справится со своим кризисом и восстановит свою традицию — в мире вновь появится оплот этого сопротивления.

Трудно сказать, будет ли это нам по силам, но ни одна другая страна не способна даже увидеть эту задачу. Такая миссия в святоотеческом учении отождествлена с понятием «удерживающего» мир от катастрофы — в чем можно видеть назначение России и историософский смысл «русской идеи» для всего мира. Способен ли наш народ, и прежде всего его ведущий слой, осознать этот масштаб проблемы — или же наше последнее ощутимое сопротивление мировой духовной энтропии выразилось в виде коммунистической утопии?

Во всяком случае, основной смысл сохранения единого Российского государства — не в его территориальном могуществе, и не только в экономической взаимозависимости бывших союзных республик (в ближайшие годы — взаимоспасительной), а в совместном отстаивании духовной цели нашей цивилизации. Именно эта цель лежит в основе русской идеи, носителями которой до сих пор были малороссы, великороссы и белорусы.

Лишь на этом фоне можно дать оценку стремлению к «незалежности» — это отказ от общерусской ответственности за духовные судьбы мира. Подлинный выбор нашими народами своего национального будущего может быть сделан лишь с учетом этого масштаба.

---

* Автаркия — создание замкнутой системы самообеспечения в границах страны. (Прим. ред.)

[1] Germany and the Revolution in Russia 1915—1918. Edited by Z.A.B. Zeman. New York. 1958, p. 140—152.

[2] Толстой Н. Жертвы Ялты. Париж. 1988, с. 22.

[3] Rimscha H., v. Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigration 1917—1921. Jena. 1924. s. 28—29.

[4] См.: Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie. Paris. 1974. p. 1166; Mariel P. Les Francs-Maçons en France. Paris. 1969. p. 204; «Вестник объединения русских лож Д. и П. Шотландского Устава». Париж. 1964. № 13, с. 3; Берберова. Люди и ложи. Нью-Йорк. 1986, с. 119, 145-146, 163; Аврех А. Масоны и революция. Москва. 1990, с. 144.

[5] Цит. по: «Пути истории». Изд. Карпаторусского литературного общества. Нью-Йорк, 1979. Т. II, с. 188—189.

[6] Germany and the Revolution... p. 65, 66-67, 131, 139.

[7] Volkmann H.-E. Die politischen Hauptströmungen in der russischen Emigration in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg // «Osteuropa. Stuttgart. 1965. Heft 4. April. s. 244.

[8] Rimscha H., v. Die Entwicklung der rußländischen Emigration nach dem Zweiten Weltkrieg // Europa-Archiv. Frankfurt a.M. 1952. 20. August. s. 5107.

[9] Цит. в переводе с оригинала, полученного от Конгресса Русских Американцев.

[10] Washington Post. 1982. 14 Jan. На этот «сдерживающий фактор» внимание генерала обратил проф. Гэри Л. Гертнер в: Political Science Quarterly. Vol. 96. Nr. 2. Summer 1981.

[11] Двинов Б. Разрушители Украины // Социалистический вестник. Нью-Йорк. 1950. Март. № 630, с. 43.

[12] Цит. по: Политика. Москва. 1991. № 18, с. 7.

[13] Congress of Russian-Americans. Progress Report. Nyack. 1991. September 11 — October 28.

[14] См. ТАСС. 3.12.91; Известия. 1991. 25 дек.

[15] См. книгу гуверского профессора: Sutton A. C. Wall Street and the Bolshevik Revolution. New Rochell, N.Y. 1974.

[16] См. объяснение известного немецкого филолога Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Москва. 1986—1987. Т. I, с. 289; Т. II, с. 565; Т. IV, с. 156—157.



Национальная альтернатива

АЛЕКСАНДР ДУГИН

ЭКОНОМИКА ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ

Ничто, пожалуй, не обсуждается в нашем обществе с такой страстностью и с таким пылом, как экономические проекты. В дискуссии различные стороны употребляют целые блоки экономических терминов, ссылаются на различные концепции, намекают на те или иные школы экономической мысли. Но если внимательно приглядеться к ходу этой полемики, сразу станет очевидно, что почти никто и никогда не говорит всерьез об экономических первопринципах, никто и никогда не удосуживается показать более или менее ясно весь спектр существующих альтернатив. За доминацией марксистского подхода во вчерашнем обществе последовала доминация либерального подхода, хотя на самом деле либеральная, рыночная экономика является далеко не единственной альтернативой марксизму. Поэтому нам представляется совершенно необходимым сделать краткий обзор экономических проектов без всякой предвзятости, не стараясь никого убедить в своей правоте. Объективность в определенных обстоятельствах бывает красноречивее пропаганды.

Сразу оговорим, что в нашем исследовании мы будем в основном опираться на курс лекций по экономике, прочитанный в летнем университете ГРЕСЕ во Франции бельгийским социологом, политологом и экономистом Роберoм Стойкерсом. Это, однако, отнюдь не означает, что мы не будем привлекать других источников, избегая при этом подробных цитат, чтобы не утяжелять и так довольно концентрированного текста.

«МЕТАФОРА ЧАСОВ»

Первые чисто экономические доктрины стали складываться в XVIII веке, причем это происходило в интеллектуальном контексте философии «рационализма». Заметим, что в это время «рациональным» считалось только то, что можно было описать в терминологии механических законов, — «рациональное» и «объяснимое механическим образом» просто совпадало. Формулой, точнее всего определявшей эту эпоху, была знаменитая «метафора часов», согласно которой вся Вселенная и все ее части, включая и человеческое общество, могут быть уподоблены часовому механизму. Особенно популярна эта метафора была в приложении к государству. Все части «механизма» были принципиально заменимы, их общее число строго известно, принцип и цель функционирования не вызывали никаких сомнений. Единственной проблемой, которая стояла перед «рационалистами»-«часовщиками», была проблема наиболее эффективного и четкого функционирования «общества часового типа». В постоянном усовершенствовании «социального механизма» состояла задача людей прогресса, оптимистов и инженеров.

Социальный рационализм нашел свое наиболее полное выражение в трудах таких философов, как Джон Локк и Бернар де Мандевиль. Два этих мыслителя фактически сформулировали такое представление о человеке, в котором он представляет собой тип чистого эгоиста, лишенного качественной традиционной, исторической и национальной памяти, не связанного никакими органическими и естественными узами с общественной стихией и действующего лишь для удовлетворения своих индивидуалистических и чисто меркантильных запросов. Индивидуум Локка и Мандевиля был некоей «вещью в себе», центральной и основной фигурой социальной реальности, не имеющей ни над собой, ни рядом с собой никаких высших сверхиндивидуальных или просто внеиндивидуальных ценностей. Общество мыслилось этими философами как простое и механическое суммирование «эгоистических индивидуумов», не имеющее поэтому никаких особых качественных и самостоятельных характеристик. «Метафора часов» применима к обществу в полной мере. Общество мыслится как составной механизм, как агрегат, как искусственная конструкция, состоящая из атомарных, автономных и дискретных частей — «эгоистических индивидуумов» в погоне за личным благосостоянием.

Как бы далеко современные западные либеральные теоретики ни ушли от примитивной откровенности Локка и Мандевиля, за всеми утонченными построениями скрывается именно эта убежденность, именно такое понимание природы общества и индивидуума, именно этот «инженерский оптимизм», составляющие совокупно основы либерального мировоззрения, либеральной идеологии.

Отец классической либеральной экономической теории Адам Смит был учеником именно этих философов, и практически все его чисто экономические построения основываются на «механическом» понимании общества, на «метафоре часов», на убежденности в совершенной автономности индивидуума и уверенности, что главным мотивом всех его социальных действий является стремление к удовлетворению своих личных потребностей, стремление к потреблению.

Когда сторонники либеральной модели экономики утверждают, будто они стоят вне идеологии, что их интересуют только чисто экономические аспекты, они сознательно или бессознательно скрывают тот факт, что теориям либеральной экономики с необходимостью предшествуют теории философии либерализма, утверждающие в центре своей сугубо философской системы тот или иной тип человека, то или иное понимание человеческих мотивов в социальной и экономической сфере. «Метафора часов» лежит в основе экономического либерализма как ее философское, идейное и почти метафизическое обоснование. Для всякого серьезного обсуждения той или иной экономической модели просто необходимо учитывать философскую и идеологическую подоплеку, формирующую в дальнейшем логику сугубо экономических утверждений.

«МЕТАФОРА ДЕРЕВА»

Уже в эпоху рационализма, однако, возникла интеллектуальная и философская оппозиция «метафоре часов», то есть представлению о человеке и обществе как сугубо механических, автономных и чисто количественных категориях. Ярче всего противоположная тенденция проявилась у Канта, Гёте (в «Учении о красках»), Кольриджа и немецких романтиков. «Метафоре часов» они противопоставляли «метафору дерева», утверждая, что и человек, и общество суть явления органические, а не механические, что они отнюдь не полностью описываются с помощью эгоистических, материальных параметров, что существует множество других «трансцендентных», сверхиндивидуальных и сверхэгоистических факторов, которые не только оказывают огромное воздействие на субъекта, но подчас становятся решающими даже в вопросе экономического выбора. Романтики исходили из убежденности в невозможности произвольно менять общественные и государственные формы и структуры, как детали неживого механизма. Они полагали, что общество и индивидуум обусловлены множеством исторических, национальных, культурных, географических и т. д. факторов, которые являются качественными параметрами и заменить которые так же невозможно, как поменять листья дерева или его кору.

«Метафора дерева» как общее выражение особой органической идеологии легла в основу всех экономических проектов, противоположных либеральным моделям. Поэтому можно утверждать, что за экономическими спорами почти всегда стоят сугубо идеологические противоречия, смысл которых в самом общем приближении можно свести к противостоянию «метафоры часов» «метафоре дерева». Как это ни странно, но и в сегодняшнем мире, определяя пути нашего экономического развития, мы, в сущности, сталкиваемся с тем же самым выбором, что и философы, жившие двести лет назад.

ОРТОДОКСЫ И ЕРЕТИКИ

Линия экономической науки, намеченная Адамом Смитом, линия экономического либерализма, стала основной и доминирующей экономической моделью западного общества в последние двести лет. Таким образом, на практике «метафора часов» фактически одержала полную победу и стала неоспоримой догмой капиталистической системы. Однако современные либеральные экономисты признают еще две «ортодоксальные» модели, несколько отличные, но основывающиеся на той же самой идеологической базе — на «метафоре часов». Этими двумя другими признанными направлениями экономической науки либералы считают марксизм и доктрину Кейнса, синтетически обобщающую классический либерализм и классический марксизм. Итак, «метафора часов» породила три основных течения в экономической теории, которые принято называть «ортодоксальными»:

1) классический либерализм (Адам Смит),
2) марксизм,
3) «кейнсианство», доктрину Кейнса.

Какими бы различными ни были подходы этих трех ортодоксальных школ, име-

ДУГИН Александр Гельевич родился в 1962 году. Специалист по истории религий, геополитике, метафизике и сакральной географии. Автор книг «Пути Абсолюта» (Москва, «Арктогея», 1991), «Гиперборейская теория» (Москва, «Арктогея», 1992), «Мистерия Евразии» (Москва, «Арктогея», 1992), «Континент Россия» (Парма, Италия, 1991), «Россия, мистерия Евразии» (Мадрид, 1991), а также многих статей и научных исследований. Живет в Москве.

ющих, кроме того, множество частных вариаций, все они исходят из редукционистского, механистического отношения к индивидууму и обществу, все они оперируют социально-экономическими абстракциями, лишенными качества, вынесенными за рамки конкретного контекста. Именно упрощенность и механический редукционизм классических экономических схем делает их столь популярными — ведь для того чтобы понять их логику и разобраться в функционировании экономики рыночного типа, в либеральной экономике, не следует изучать никаких особых исторических, традиционных или национальных контекстов. Все здесь предельно упрощено и стандартизировано. Все части «общества потребления» принципиально заменимы, все мотивы действий его членов кристально ясны, все нюансы поведения заведомо исчислены, предопределены и очевидны. Общество, основанное на «ортодоксальных» экономических моделях — не важно, либеральных, марксистских или «кейнсианских», — является наиболее простым в управлении и наиболее приспособленным для экспорта. А тот факт, что установление либеральной системы кладет конец особой, неповторимой Истории народов, этносов, государств, наций или отдельных людей, не заботит экономических «ортодоксов». Для них Истории не существует, — «часы» не имеют личности, они имеют только различные модели, существование или несуществование которых определяется только их эффективностью и техническим совершенством (а также простотой в обращении).

«Метафора дерева» была не только философской оппозицией рационализму. Она предопределила и альтернативные экономические теории, которые совокупно называют сегодня «неортодоксальными экономическими проектами», а иногда презрительно — «еретическими доктринами». Несмотря на то, что эти экономические доктрины представляют собой как бы «экономическую оппозицию», противостоящую в целом «ортодоксальному» подходу, они отнюдь не являются несостоятельными или химерическими проектами. Напротив, «неортодоксальные» экономические теории составляют целую науку, обоснованную и полноценную, имеющую свои догмы, свои доктрины, свои интеллектуальные разработки и даже различные конкурирующие между собой школы. Строго говоря, «неортодоксальная» экономика представляет собой фланг идеологической борьбы, которая намного превосходит чисто экономический уровень и является отражением высших идеологических сфер.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДОКТРИНЫ

В XIX веке, после Рикардо, чья доктрина, как и доктрина Дж. Сэя, стоит несколько в стороне от магистрального курса экономического либерализма, линия Адама Смита была продолжена в первую очередь теоретиками Венской школы, которые развили классические теории в гипериндивидуалистическом ключе, выступая за ничем не ограниченный рынок, вплоть до отрицания целесообразности всех социально-политических институтов вообще. Некоторые предельные выводы теоретиков Венской школы, в частности отрицание государства, поразительно напоминают идеи Маркса и его последователей, хотя пути, по которым либералы и коммунисты пришли к одинаковым результатам, весьма различны. Это совпадение, однако, не случайно: оставаясь в рамках «ортодоксальной» экономики, и либералы, и Маркс по необходимости имели дело с различными вариациями «метафоры часов», то есть сугубо материалистического, индивидуалистического и эгоистического понимания общества как чисто экономической реальности. Критика капитализма Марксом, несмотря на всю ее суровость, не ставила под сомнение превосходство чисто материальных аспектов жизни над всеми остальными, и отношение Маркса к человеку было таким же количественным, механистическим и «техническим», как и у классических либералов. Маркс, так же, как и последние, отрицал историческую, национальную, государственную, духовную специфику народов и наций; его коммунистический идеал отрицал всякие качественные различия, предполагал отмирание расовой и этнической специфики, настаивал на полной гомогенизации, космополитизации общества. Именно в силу принципиального согласия с основными экономическими постулатами либеральной идеологии теоретики экономического либерализма и включают концепции Маркса в число «ортодоксальных».

От Венской школы магистральная линия либеральной мысли идет к таким экономистам, как Бем-Баверк и Менгер. Эту линию можно определить как «методологический индивидуализм». Представители этого направления стремились доказать, что индивидуум в своей социальной роли не должен руководствоваться ничем, кроме личной «воли к потреблению», а все остальные мотивы деятельности они стремились вынести за скобки. Учениками Бем-Баверка были такие экономисты, как фон Мизес и Хайек. Несколько отличной от них была Лозаннская школа Валраса и Парето, разработавшая, в частности, важную для современной либеральной теории концепцию «экономического равновесия» рынка. И, наконец, наиболее современной версией либеральной теории являются разработки американца Фридмана и его группы Чикаго-бойз, а также макроконцепции француза Жака Аттали.

Современное западное общество — особенно США и североевропейские страны — почти полностью воплотили в жизнь классические экономические модели, основанные на теориях либерализма, но одновременно с учетом концепций Маркса и особенно английского экономиста Кейнса. Намеченное на ближайшее время объединение Европы должно окончательно реализовать либеральную идею единого и гомогенного экономического пространства, лишенного государственных и национальных границ. Не так далека эта либеральная идиллия и от некоторых сторон коммунизма Маркса.

ИСТОРИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Основателями альтернативной, «неортодоксальной» экономики были Фридрих Лист и ган Сисмонди. Особенно показателен в нашем контексте именно немецкий теоретик Лист, разработавший концепцию «протекционизма» и обосновавший необходимость участия государства в экономической деятельности. Лист в философском контексте был прямым последователем немецкого философа-идеалиста Фихте, и поэтому можно сказать, что доктрина Фридриха Листа была экономическим воплощением идеального, «трансцендентного», сверхиндивидуалистического понимания человека и общества. Лист был антиподом Адама Смита, который являлся выразителем философского «индивидуализма» и «механического рационализма» Локка.

Концепции Листа и Сисмонди в значительной степени предопределили концепции Немецкой исторической школы, которая в XIX веке была синонимом всей «неортодоксальной» альтернативной экономической теории, так как в ней нашли свое выражение почти все аспекты органического, исторического, качественного, идеального и традиционного подхода к человеку и обществу. Немецкая историческая школа началась с публикации в 1843 году «Очерка» Вильгельма Рошера, в котором содержалась развернутая и аргументированная критика либерального подхода. Рошер, а позднее и его последователи отказывались считать индивидуума главной и центральной фигурой экономической реальности. Они настаивали на главенстве исторических, национальных, государственных и религиозных факторов при рассмотрении экономической структуры общества и считали, что общество, будучи определенным скорее историческими, чем материально-потребительскими характеристиками, должно рассматриваться как органическое единство, как организм, как динамическое и живое существо, а не как механическая конструкция, созданная из автономных и самодостаточных индивидуумов-потребителей. Немецкая историческая школа считала, что «народ», Volk, является самостоятельной и недробимой социальной и даже экономической величиной и что государство должно считаться в первую очередь не с волей индивидуума, а с волей народа.

За публикациями Рошера следуют книги Бруно Хильдербрандта и Карла Книса, которые развивают темы органической экономики и еще более радикализируют важность национального и народного фактора. Но самой яркой фигурой XIX века в сфере альтернативной экономики был, без сомнения, Густав Шмоллер, глава Младоисторической школы, возникшей в 1870 году. Шмоллер подверг резкой критике сами принципы экономического либерализма, особенно подчеркивая при этом несостоятельность механицистских упрощений в концепциях Локка и Адама Смита. Шмоллер разоблачал подмену, заключенную в утверждении либералов о том, что основным мотивом человеческой деятельности является эгоизм. Шмоллер прекрасно показал, что в случае либеральных экономических теорий мы имеем дело не только с отдельной наукой — экономикой, — но и с особой идеологией, которую он назвал «экономизмом». Фактически Шмоллер впервые ясно показал, что экономические теории суть не что иное, как приложение «метафоры часов» или «метафоры дерева» к экономической сфере, и что, следовательно, экономическая наука не может претендовать на статус автономной и изолированной дисциплины, совершенно не зависимой от других политических, философских и религиозных доктрин.

Теории Шмоллера были развиты позднее знаменитыми немецкими философами, экономистами и социологами Максом Вебером и Вернером Зомбартом. Вебер, в частности, аргументированно и подробно показал логику происхождения капиталистической экономики из «духа» протестантизма как религиозно-мистического феномена, окончательно доказав тем самым «неэкономическую» природу экономического мировоззрения, «экономизма». Идеи Вебера и Зомбарта были восприняты позже австрийским «неортодоксальным» экономистом Иозефом Шумпетером, который разработал особую синтетическую модель, в которой использовал определенные прикладные элементы либеральных теорий. Шумпетер, однако, оставался сторонником именно «еретиков», так как его задачей было поставить элементы либеральных моделей Венской и Лозаннской школ на службу «альтернативной», нелиберальной экономике. После Вебера и Зомбарта, — развивших собственно социологический подход, который рассматривал экономические проблемы в глобальном контексте общества, понятого как некое органическое, историческое и духовное единство, не поддающееся анатомическому расчленению, — «альтернативная» экономика отличалась от «ортодоксального» классического либерального подхода еще и тем, что обязательно применяла социологический метод наряду с чисто экономическим анализом.

Социологический подход к экономическим проблемам был характерен также для Торстейна Веблена, который вообще предложил отказаться от концепции «homo economicus» («человека экономического») — центральной концепции всех либеральных и марксистских доктрин — и начать использовать исключительно концепцию «homo sociologicus» («человека социологического»).

Теории Веблена в значительной степени повлияли на известного экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта, который, хотя и не может быть до конца причислен к «неортодоксальной» линии экономистов, все же предельно далек и от классических школ. Доктрина Гэлбрейта находится на границе между «кейнсианством» и социо-экономическими теориями Веблена. Гэлбрейт разоблачил различные формы мистификации, используемые в современном капиталистическом обществе, показал, что за иллюзией верховенства потребительских интересов стоит на самом деле жесткая и отчужденная воля «техноструктуры», диктующая индивидуумам, что и сколько потреблять. Концепции Гэлбрейта были использо-

ваны многими критиками современного капиталистического общества — Роже Гароди, Анри Лефевром, Гийомом Файем и т. д.

Наконец, наиболее выдающимся представителем альтернативной экономической мысли можно назвать ученика Шумпетера француза Франсуа Перру, который провел титаническую работу по исследованию динамики социальных систем с учетом комплексных экономических, политических и исторических факторов. Концепция Перру получила название «теории динамики структур». Перру блестяще показал, что в реальной жизни примат политики над экономикой не только полезен, но и неизбежен, а кроме того, что он всегда существует, независимо от того, признает ли это данная власть или нет. Перру детально разобрал аргументацию неолибералов, вскрыв ее несостоятельность и нелогичность на чисто логическом и теоретическом уровне. Франсуа Перру не только проанализировал современную экономическую ситуацию, отбросив упрощенческую оптику «метафоры часов», но и наметил с позиций альтернативной экономики перспективы нелиберального развития, предсказал скорый и катастрофический кризис всей либеральной экономической системы. В работах Перру много места отведено экологическим и биологическим факторам, а также геополитическим и этническим категориям, чье влияние, согласно «неортодоксальной» экономической теории, подчас является не только чрезвычайно важным, но и решающим.

ВЫБОР ДЕРЕВА

Мы в самых общих чертах обрисовали контуры двух экономических подходов, каждый из которых имеет множество вариантов, нюансов, разновидностей, типов и т. д. Нам хотелось подчеркнуть две вещи:

во-первых, экономические доктрины являются отражением философских теорий, приложением некоторых общих интеллектуальных и духовных принципов к экономическому уровню общества, а не являются самостоятельными и автономными дисциплинами, наделенными автономной логикой. Поэтому за выбором той или иной экономической модели неявно скрыт более глубокий, чисто метафизический выбор — выбор между «метафорой часов» и «метафорой дерева», между «живым» и «неживым» космосом, между пониманием «человека» как цели всех вещей и пониманием человека как средства для чего-то более великого, более духовного и более возвышенного, чем он сам:

во-вторых, альтернативная «неортодоксальная» экономика не является анархическим и нигилистическим, отвлеченно романтическим утопизмом, чья критика либерализма безответственна и чьи теории заведомо маргинальны. Нет, традиция альтернативной экономики является интеллектуально полноценной, она имеет множество исторических школ, и среди ее представителей есть гениальные и в высшей степени серьезные ученые, социологи, экономисты, философы и т. д., чей авторитет не смеют оспаривать даже их либеральные и «ортодоксальные» противники.

Сегодня мы все чаще слышим высказывание: «К экономике надо подходить только с экономическими мерками». Это, казалось бы, очевидное, даже тавтологическое высказывание на самом деле является абсолютной ложью. Экономика — это продолжение политики, идеологии даже в том случае, если это на словах отрицается. И более того, те, кто выбирает «метафору часов», очень не любят признавать этого и во всеуслышание заявлять о своем выборе. Это особенно характерно для тех обществ, где индивидуализм является довольно случайным и исключительным явлением (а именно так обстоит дело с русским обществом), и поэтому откровенность либералов, вполне вероятно, может окончиться их полным неприятием и отторжением. Но все же это не дает им никакого права на ложь. К экономике надо подходить только с политическими и идеологическими мерками. Экономика — это сфера глобального противостояния, равно как и все другие уровни общественной и политической жизни. Здесь, как и везде, выбор конечной цели определяется с чисто духовных или антидуховных позиций.

В заключение хочется сказать всем тем, кто интуитивно или сознательно выбирает «метафору дерева», — всем «нашим»: у нас есть стройная и продуманная экономическая доктрина, свободная как от марксистской, так и от либерально-капиталистической догматики. Альтернативная, «неортодоксальная» экономика — это прекрасно работающая модель, как показали те исключительные периоды европейской истории, и особенно истории Германии, Италии, Испании, Португалии и т. д., когда элементы альтернативной экономики удавалось хотя бы частично реализовывать на практике. Пора ясно сказать нашим противникам: мы не мечтатели, наши доктрины реалистичны и продуманны, а если они все ориентированы в первую очередь на дух, на жизнь, на великие идеалы церкви, народа, нации, государства и справедливости, то это отнюдь не означает, что это химеры или несбыточные фантазии. Каждый, кто выбирает Дерево, символически выбирает Древо Жизни, Ось Мира, Сакральный Полюс Бытия.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1) «Vouloir», nn. 83/84/85/86, nevembre-decembre, 1991.
2) Robert Steuckers. «Orientations generales pour une histoire alternative de la pensee economique», Brussel, 1991.
3) Alain Lipletz. «Choisir l'audace», Paris, 1989.
4) Pierre Salama. «La dollarisatioo», Paris, 1989.
5) Dossiers H., Francois Perroux, Lausanne, 1990.
6) J.-M. Albertini, A. Salem. «Comprendre les theories economiques», Paris, 1983.
7) Ouvrage collectif. «Histoire des pensees economiques», Paris, 1988.
8) Barbara Stollberg-Rilinger. «Der Staat als Maschine», Berlin, 1986.
9) Robert L. Heilbroner. «Les grands economistes», Paris, 1971.
10) Francois Perroux. «La pensee economique de Joseph Schumpeter», Geneve, 1965.
11) Raymond Aron. «Avez-vous lu Veblen?», Paris, 1978.
12) Thorstein Veblen. «Les ingenieurs et capitalisme», Paris/London/New-York.
13) Alvin Toffler. «Les nouveaux pouvoirs». Paris, 1991.

и др.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Отечественный архив

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

«Умоляю вас о помощи...»

(ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В ЭПОХУ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА)

Лето 1937 года. Мы с матерью тащимся по знойным булыжным мостовым к Калужской тюрьме, где сидит моя тетка — бывший директор швейной фабрики Пелагея Железнякова.

Пока мать становится в громадную очередь, чтобы передать в окошко узелок с едой, я слоняюсь в толпе, сажусь от усталости на пыльную траву, слушаю разговоры.

Жéнщины толкуют о том, что вчера через Калугу проходил эшелон с заключенными, среди которых были высокопоставленные жены врагов народа — Косиора, Постышева, Гамарника...

Я вспомнил эту сцену через полвека с лишним, когда работал летом 1991 года в архивах ЧК — ОГПУ — НКВД и среди прочих дел мне попадали в руки дела, заведенные на писательских жен той эпохи... Мы публикуем ниже некоторые страницы из этих дел, которые характеризуют не только несчастных жертв, но и само время — безумное, страшное, подлое, героическое... Я ограничусь минимальными комментариями к текстам, ибо документы говорят сами за себя, а то, что не сказано в них, неизбежно будет дополнено воображением и мыслями читателей.

Четыре женщины попадают в одну и ту же подневольную систему жизни, но как по-разному они ведут себя: каждая в соответствии со своим воспитанием, характером, средой, в которой она жила до ареста, — кто с яростью, кто со сдержанным достоинством, кто с наивным ожиданием. Каждая из них пишет письма к Н. Ежову или Л. Берии — наркомам, от которых зависит их жизнь, но как по-разному написаны эти письма! Итак, перед нами четыре женские судьбы. Разные натуры, разное положение в обществе, разное отношение к родине, к революции, к власти, разные национальности — две русских, две еврейки. Но что их роднит — так это участие в одной великой трагедии.

I

У Екатерины Александровны Есениной было как бы две причины быть репрессированной. Во-первых, она была сестрой Сергея Есенина, к тому времени объявленного кулацким поэтом, а во-вторых, женой друга Есенина — поэта Василия Наседкина, к тому времени уже расстрелянного в застенках ЧК, о чем арестованная женщина еще ничего не знала.

Дело № 22144

2 октября 1938 года ордер на арест Е. Есениной подписан самим Лаврентием Берией.

Из анкеты арестованного — специальность: «секретарь у брата». Место последней работы — «регистратор поликлиники бывшей ЦКБУ. Работает счетчиком «конвертов». «Москонверт». «Дети — Андрей 1927 г. рождения, дочь Татьяна 1933 г.»

Из постановления: «является женой активного участника антисоветской организации Наседкина Василия Федоровича. Избрать мерой пресечения «содержание в Бутырской тюрьме».

Из протокола допроса: «социальное происхождение — отец приказчик», «об антисоветской деятельности моего мужа я ничего не знаю».

Выписка из протокола Особого совещания от 1 ноября 1938 года: «Есенину Екатерину Александровну, как социально опасный элемент, лишить права проживания в 15 пунктах сроком на 5 лет, считая срок с 3/X 38 года. Дело сдать в архив. Ответственный секретарь Особого совещания И. Шапиро».

Из обзорной справки по делу Наседкина В. Ф.: «В отношении своей жены Е. А. Есениной Наседкин покаяний не дал».

Документ от 25.II.1938 года — Свидетельство об обязанности покинуть Москву, явиться в НКВД Рязанской области. Паспорт погашен — то есть она лишена паспорта. «Свидетельство получила». Роспись «Е. Есенина». Почерк очень похож на братний — буква от буквы отдельно. В деле находятся два письма на имя всемогущего Л. Берия.

«Народному комиссару внутренних дел т. Берия от Есениной Е. А., проживающей Рязанская область Рыбновского района, село Константиново.

Заявление

Я, сестра покойного поэта С. А. Есенина, по просьбе Московского Литературного музея писала воспоминания. При моем аресте все мои рукописи были забраны НКВД. Следователь хорошо отзывался о них. В Москве мне обещали вернуть их через Рязань, но в Рязани без Вашего разрешения вернуть их отказались. Прошу оказать мне помощь в получении моих рукописей.

7.3.1938 г. Екатерина Есенина».

«Народному комиссару внутренних дел т. Берия от Есениной Екатерины Александровны, проживающей Рязанская обл. Рыбновский район, с. Константиново.

Заявление

В 1938 году 3 октября я была арестована и заключена в Бутырскую тюрьму, как жена Василия Федоровича Наседкина. 16 ноября 1938 года меня освободили. Теперь я считаюсь социально опасным элементом, не имеющим права проживать в пятнадцати городах сроком на пять лет.

Сейчас я живу на своей родине, меня приняли в члены колхоза и только мой позор не дает мне покоя.

Я не была и не могу быть предательницей своей родины. О делах В. Ф. Наседкина я ничего не знаю, так как последние 6 лет мы не жили вместе и проживали в Москве на разных квартирах и в разных районах.

Я знаю только, что Наседкин работал в журнале «Колхозник» в должности редактора, был хорошим отцом и я считала его честным гражданином Советского Союза. Если Наседкин совершил преступление и я об этом ничего не знаю, за что же меня наказывают?

Прошу пересмотреть мое дело и дать мне возможность быть полноправной гражданкой СССР.

Екатерина Есенина 7.II. 1939 г.

Прилагаю справку из колхоза и свой паспорт (копию)».

Справка

Выдана колхознице Константиновского к-за «Красная нива» Рыбновского района Рязанской области Есеникой Екатерине Ал. в том, что она является членом к-за с 18.I.39 г. К чему и выдана справка.

Подпись нрзб.

Удостоверение (взамен паспорта)

Дано административно-высланной Есениной Екатерине Александровне в том, что она состоит на учете в 8 отделе УГБ УНКВД по Рязанской области и обязана проживать в с. Конставтиново Рыбновского района Рязанской обл. без права выезда за пределы указанного пункта. Обязана явкой на регистрацию в 8-й отдел УГВ УНКВД по Рязанской обл. каждого 15 числа. При отсутствии отметки и своевременной явки на регистрацию удостоверение недействительно.

Начальник 8-го отдела УГБ УНКВД Булатов.

Вот в таком режиме прожила несколько лет сестра великого русского поэта. Но надо сказать, что участь ее была не из самых худших.

II

Куда более суровые испытания послала судьба Анне Абрамовне Берзинь, чье имя более десятка раз упоминается в именном указателе к Собранию сочинений Сергея Есенина

Сохранился автограф поэта — дарственное четверостишие на сборнике стихотворений, написанное в то время, когда Анна Абрамовна готовила к изданию Собрание стихотворений Есенина.

Но в 1938 году А. Берзинь была арестована по делу своего мужа, «польского шпиона» Бруно Ясенского, которого можно по праву называть и французским, и польским, и советским литератором, ибо в 20—30-е годы он успел пожить во всех этих странах и заработать себе заслуженную репутацию общеевропейского коминтерновского деятеля культуры.

Дело по обвинению А. Берзинь № 20460

Ордер на арест от 31 июля 38 года подписан Ежовым.

Из постановления об избрании меры пресечения и предъявления обвинения: «достаточно изобличается в том, что является участницей антисоветской право-троцкистской организации, вела агитацию за свержение советской власти, поддерживала тесную связь со шпионом Бруно Ясенским, Домбалем и др.».

На допросе от 11 ноября 1937 года А. Берзинь отрицала все обвинения.

Из справки по делу: «национальность — русская», «обвиняемая Берзинь Анна Абрамовна является женой шпиона Бруно Ясенского. После его ареста была исключена из кандидатов ВКП(б) и из Союза писателей. Как видно из агентурных данных, обвиняемая вела резкую пораженческую антисоветскую пропаганду. Она говорила: «Нет, уж лучше открыть фронт фашистам, чем воевать», «я воспринимаю эту власть как совершенно мне чуждую. Созчаюсь, что я даже злорадствую, когда слышу, что где-то плохо, что того или другого нет... Теперь мне воевать не для чего и не за что. За существующий режим я воевать не буду». «Обвиняемая резко выступала против Политбюро и т. Сталина: «Политбюро прозевало все на свете. Прозевало международную политику — остались в полной изоляции, а уж о внутреннем положении и говорить нечего»; «В свое время в гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже других. Но теперь мке воевать не за что. За существующий режим я воевать не буду. Нигде в мире нет подобного режима... И вот за такой режим воевать, нет уж, увольте. Все мои товарищи по фронту арестованы, а я буду воевать? Нет, уж лучше открыть фронт фашистам...». «29 июля 1938 года в беседе о процессе над антисоветским правотроцкистским блоком Берзинь говорила: «Мы сами, это мы сами во всем виноваты. Это мы расстреляли наших друзей и наиболее видных людей в стране... В правительстве подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозукг теперь — «мы русский народ». Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем».

Все эти высказывания приведены в деле со слов секретных агентов НКВД, которые, видимо, были в окружении ничего не подозревавшей А. Берзинь и сообщали в органы о ее «антисоветских настроениях». А. Берзинь, судя по всему, принадлежала к людям «ленинской интернациональной ориентации», они считали — и это было их твердым убеждением, — что все деяния ленинского режима законны, а сталинского — преступны. Резкий и неизбежный — перед нашествием фашизма — идеологический поворот курса к русскому патриотизму был для них совершенно неприемлемым. А. Берзинь не допускала и мысли о том, чтобы «в правительство подбирались люди с русскими фамилиями».

Будущие профессиональные историки, может быть, разберутся, какие из документов в этих делах были сфабрикованы, а какие объективно отражали реальную действительность и реальные настроения подсудимых, но мы в любом случае обязаны процитировать наиболее драматические страницы из дел, тем более что они по-своему характеризуют и литературный быт, и литературные нравы той эпохи, а также цели и направления деятельности карательных органов.

Вокруг Б. Ясенского возникло несколько дел польских политэмигрантов европейского происхождения. Отношения с державой Пилсудского были напряженными, и в деле появляются имена Држвецкого-Розенбаума, Петерсона, Шейнемана, Маркв Живова, Брейгера, Висляка. Переводчик и редактор книг Б. Ясенского — Генрих Розенбаум показывал, например, что он вербовал для польской разведки агентуру в среде советской интеллигенции.

Выписка из собственноручных показаний обвиняемого Држвецкого-Розенбаума ***Генриха Давидовича,*** который из Польши уехал по коминтерновским делам в Париж, а в 1935 г., также при содействии польской секции Коминтерна, переехал в Москву.

«Я принялся за Ясенскую. Она в свое время была связана крепко с рапповским периодом советской литературы, т. е. когда полное влияние имела группа Авербаха. Ясенская была знакома с очень многими писателями и по причине своих прежних литературных занятий, и потом через Ясенского. У нее было много знакомств среди работников НКВД. Она любила этим хвалиться. Жажда карьеры у нее была громадная, и поэтому она вышла замуж за Ясенского, рассчитывая на то, что он войдет в самые верхи советской литературы. Она же будет им направлять. Она уже старилась и старалась взять от жизни для себя все возможное. Отношение к советскому строю у нее было в основном отрицательное, так как она считала, что дает он ей слишком мало возможностей для роскоши. Понятное дело, что насчет роскоши я мог ей пообещать алатые горы лишь в будущем, так как я в настоящем являлся для нее чем-то слишком бедным. Но в связь со мной она вступила очень легко. Я сначала ничего не говорил ей о себе как о польском агенте. Вел с ней лишь разговоры антисоветского характера, сопоставлял жизнь в СССР с жизнью в капиталистических страках. Ясенская быстро загоралась — она знала эту жизнь и по рассказам Ясенского, и тех его друзей-иностранцев, которые приезжали в СССР, но это все ей было мало. Она сожалела, что Ясенскому не разрешают выезды из СССР. Я видел, что она держится Ясенского всеми силами, что чрезвычайно ревнива, и поэтому старался играть на этой струнке. В 1936 году я открылся Ясенской, что являюсь польским агентом. Вначале она пробовала меня застращать тем, что сразу же демаскирует меня перед НКВД, но я пригрозил, что тем самым она выдаст себя в руки НКВД, потому что я, если бы был разоблаченным, не стал бы щадить и ее и расскажу на следствии такое, чего на самом деле не было, но что покажется НКВД достаточно вероятным для того, чтобы она навсегда потеряла свободу, а то и жизнь так как со шпионами в СССР мало церемонятся...

Ясенская имеет двухкомнатную квартиру по проезду Художественного театра. У них достраивается большая дача в поселке писателей в Переделкино, и кроме того, строилась большая квартира в доме писателей по Лаврушинскому переулку. Вдобавок у Ясенского был еще автомобиль. Дача была зимняя».

Судили Држвецкого-Розенбаума в Минске.

Из протокола судебного заседания 452-го военного трибунала Белорусского особ. военного округа в г. Минске от 1939 г. июля 20 дня: «Жена Бруно Ясенского — это была развращенная советская барыня, если можно так выразиться, а поэтому ей ничто не надо было, потому что у нее всего хватало и я ничего не обещал, и после двух разговоров с ней она легко согласилась стать агентом польской разведки».

Из протокола допроса Ротинян Екатерины Агбаровны 1956 г. январь, 23 день.

«В одном из разговоров Берзинь в порыве гнева заявила, что для изменения положения в стране и прекращения, как она выразилась, безобразий, чинимых органами НКВД, необходимо, по ее мнению, вмешательство извне, то есть военная интервенция против СССР. С этим ее доводом я, конечно, не согласилась и в крайне резком тоне заявила ей буквально так: «из-за таких вот сволочей и другие страдают». Видя такое отношение к ее взглядам, Берзинь пыталась сгладить впечатление, произведенное ее словами, заявляя, что я, дескать, не совсем правильно ее поняла. Об этом факте я сообщила органам НКВД в письменной форме».

14 февраля 1939 года Берзинь А. А. Особым совещанием НКВД за участие в к/р организации и антисоветскую пропаганду осуждена на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Через 16 лет она написала письмо Г. М. Маленкову, ставшему тогда председателем Совета Министров СССР.

Товарищ Маленков!

Шестнадцать лет я верила и ждала, что бред 37—38 года кончится. Вот уже понемногу все начинает становиться на свои места. Спокойно спим ночью, не боимся стука в дверь... И все же не хватает больше терпения, хочется просить Вас: дайте распоряжение просмотреть мое «дело» и «дело» моего мужа Бруно Ясенского.

Не знаю, какие вымыслы и доносы сыпались на его голову, но мне даже изощренное и больное воображение следователей ничего не приписало, а просто после длительных, тяжелых, но безрезультатных допросов (допросов явно бессмысленных) отправили на пять лет в лагерь. Пусть разберут наше так называемое «дело». Знаю, что надо ждать и верить, но сил не хватает, мне 58 лет, последние шесть лет я болею — это и вынуждает меня обратиться к Вам с просьбой о нашей реабилитации. Мне дали по Особому совещанию 5 лет ИТЛ. Кем и к чему был приговорен Бруно Ясенский, мне неизвестно. Адрес мой Коми АССР поселок Железнодорожный, ул. Коммунистическая, № 6, кв. 6.

Берзинь Анна Абрамовна, 8 сент. 1954 г.

Анна Абрамовна Берзинь освободилась в 1956 году, вернулась в Москву и умерла в 1961 году.

III

Елена Владимировна Бонч-Бруевич была дочерью В. Д. Бонч-Бруевича, управляющего делами Совнаркома СССР, и женой литературного и партийного функционера 20—30-х годов Леопольда Авербаха. Семья была самая что ни на есть элитарная. Мать Авербаха — родная сестра Якова Свердлова, всесильный шеф ОГПУ Генрих Ягода был женат на сестре Авербаха — Иде. Двоюродный брат Авербаха, Адик Свердлов, был одним из ведущих и беспощаднейших следователей НКВД; это, однако, не спасло его двоюродную сестру Иду, которая получила сначала 5 лет лагерей, а через год была приговорена к высшей мере наказания*. Революция пожирала своих детей. Леопольд Авербах был теснейшим образом через Ягоду связан с органами. В его показаниях есть такое признание: «Я действительно причастен к делу Ягоды в том отношении и потому, что на протяжении нескольких лат я, не работавший в НКВД, жил на дачах НКВД, получал продукты от соответствующих органов НКВД, часто ездил на машинах НКВД. Моя квартира ремонтировалась какой-то организацией НКВД, и органами НКВД старая была обменена на новую. Мебель из моей квартиры ремонтировали на мебельной фабрике НКВД. По отношению ко мне проводилась линия такого иждивенчества, услужливого и многостороннего... Я понимал, что это делается мне не по праву, а как родственнику Ягоды, как вообще близкому к нему человеку». С каждым новым допросом осуждение Ягоды со стороны Авербаха все усиливалось. Он называет своего бывшего патрона «гнуснейшим», «местечковым менялой», «почувствовавшим себя на международной бирже в кресле Ротшильда», «местечковым комбинатором», «подлежащим ликвидации». Но ничто не помогло Авербаху. Он был «ликвидирован» вместе с Ягодой.

Вскоре была арестована его жена, описано имущество. В деле есть опись имущества — рояль, кресла, книги (несколько тысяч), письменный гарнитур (мраморная доска, бронза). Имущество было передано тестю — Бонч-Бруевичу. В деле есть объяснение тестя на именном типографском бланке: мол, вещи сданы в комиссионку, чтобы содержать внука Виктора (1923 г. рождения). Объяснение дано в 1942 году 12 сентября, когда органы спохватились и вспомнили о том, что вещи надо конфисковать: имущество дóлжно было сдать в Госфонд. В деле есть несколько писем Елены Бонч-Бруевич Н. И. Ежову, отрывки из которого мы цитируем ниже. Арестованная пишет о том, что она, «большевичка, всегда любила Ленина, росла рядом с ним», и теперь: «мне невероятно обидно и непонятно, почему меня ставят на одну доску с такими чужими людьми, как Серебрякова, Эйдеман. За что?»

* И. Л. Авербах была видным юристом, автором книги «От преступления к труду», изданной под редакцией А. Вышинского в 1936 году. Один из тезисов книги был таков: «Роль лагерей возрастает в борьбе против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей, кулачества, контрреволюционной агитации».

Из того же письма: *«В 1919 году я вступила в комсомол и с тех пор всю жизнь твердо проводила генеральную линию партии, сначала в комсомоле, затем будучи в партии, на каждом участке своей работы (медицинской ли, коллективизации, заготовки и т. д.).*

Об Авербахе: *«Настоящих убеждений у него никогда не было. Был несчастный период времени, когда Троцкий использовал Авербаха как мальчишку. Авербаху тогда было двадцать лет».* И дальше: *«Я обязана сказать Вам, чтобы быть до конца честной, что я видела у Авербаха бесконечную преданность партии, тов. Сталину и лично Вам, Николай Иванович. Следовательно, оба подписанные мною вышеуказанные показания* (о троцкизме Авербаха. — Ст. К.) *неверны».*

«Я не понимаю, почему я должна так страдать, когда вся моя жизнь, все мое существо было отдано партийной работе. Я не могу это связывать с Ягодой, который вызывает во мне чувство ужаса и отвращения, но который ко мне лично никакого отношения не имеет и для моей судьбы, кажется, никакого значения иметь не может. Я не понимаю, почему мой старик отец, так гордившийся своей дочерью, должен терпеть такое унижение, что его дочь сидит в лагере».

Письмо из Темниковского лагеря—ИТЛ
Чкаловской обл.
107—7 1938 г.

Ответ из НКВД: «Заявление, ходатайствующее о возвращении вещей, принадлежащих его дочери Авербах-Бонч-Бруевич Е. В., рассмотрено и в ходатайстве им отказано». 27.II.1940 г.

IV

«Ярким звеном, выделяющимся из всей этой пролетарской группы, был Михаил Герасимов», — писал Сергей Есенин в 1918 году в статье «О пролетарских поэтах».

В этом же году Есенин вместе с М. Герасимовым, С. Клычковым и Н. Павлович пишет революционный киносценарий «Зовущие зори»; вместе с М. Герасимовым и С. Клычковым — «Кантату», посвященную памяти бойцов, павших за революцию.

Михаил Герасимов, вышедший в 1922 году из партии, 8 июня 1937 года был арестован по обвинению в том, что он был «активным участником антисоветской троцкистской террористической организации» и расстрелян 16 июля 1937 года.

За несколько дней до расстрела Герасимов писал письмо на имя наркома внутренних дел Н. И. Ежова:

«Я благодарен следствию, которое сумело снять пелену с моих глаз и показать, на краю какой бездны я находился, и долгими слезами раскаяния омыть свое лицо. Я искренне и чистосердечно признался во всем следствию. И толчком к этому было то, что я увидел вас, Николай Иванович. Однажды ночью вы заглянули в комнату, где я давал показания. Такая неизъяснимая отеческая доброта струилась из ваших глаз, такая сила света и правды излучалась от вас. Солнце взошло на полночном горизонте. Я был ослеплен, уничтожен, расплавлен до конца. Я понял, что перед лицом такой правды я не могу скрыть ни одного штриха, ни одного темного пятнышка своей души.

Не уничтожайте меня. Я прошу о снисхождении. Разрешите суровым, но прилежным трудом искупить свои преступления, чтобы после вернуть почетное высокое звание старейшего пролетарского поэта и гражданина СССР. Дайте возможность развернуть творческие силы мои. Я чувствую буйное лирическое цветение в себе. И целым рядом стихов и поэм быть нужным революции. Я хочу положить обнаженное сердце поэта к ногам вождей и великой родины. Я хочу воспитать четверых детей в духе беспредельной любви к величайшей святыне человечества, к Сталину, чье бессмертное имя пылает неугасимым огнем в сердцах людей, и на девственных снегах полюса ослепительным звездным сиянием и горит в космических пространствах миров.

Я раздавлен страданием и болью.

Заключенный Михаил Герасимов
18 июня 1937 года».

Вскоре после его гибели была арестована вдова поэта Нина Павловна Герасимова, и ее письмо, написанное на имя Берии уже после освобождения в 1953 году, на наш взгляд, является совершенно уникальным и потрясающим душу документом эпохи. Оно заслуживает того, чтобы мы прочитали его.

«Дорогой товарищ Берия Лаврентий Павлович!

Обращаюсь к вам, умоляю вас о помощи.

Ваше назначение на пост Министра внутренних дел было встречено мною с горячей радостью. Надежда вспыхнула снова. В прошлом я жена бывшего пролетарского поэта Михаила Герасимова. В 1937 году была изолирована в Казахстан, а в 1945 году вернулась.

В нескончаемые зимние вечера, когда страшный буран стирал с лица земли наш одинокий барак, мы с красавицей грузинкой, скрывшись в угол, страстно мечтали о детях. Когда на пост Министра вступили вы, надежды наши загорелись солнечным светом. Затаив дыхание, слушала я рассказы о вас, и от ее рассказов вставал ваш облик талантливейшего государственного деятеля, необыкновенного, чуткого, непреклонного, но справедливого во всем его обаянии.

Вскоре ушла Тина. За ней десятками стали уходить счастливые матери. Ваше бережное отношение было наяву. Но вот началась война, и положение осложнилось. Каждая преданная из нас своей родине и своему правительству осознала

свой долг за этой роковою чертою. Женщины, которые еще вчера блистали тонкостью рук и манер, сегодня, поднимая тяжелый саман, начинали в глухих степях строительство. А это был Казахстан с его звериными адскими бурями, где в двух шагах человек замерзал, где в июльский зной лопались и кровоточили губы. Где волки, как к себе домой, заходили в наши кошары. Но для меня и здесь была родина с ее животворящими снегами. Получив там специальность агронома, я вся ушла в новое интересное дело. Когда нам во время войны говорили: ваш участок — второй фронт, хлеб — это наша победа! — я не знала большего вдохновения. Три тысячи гектар по защите растений легли на мою ответственность. Был такой подъем, как будто какая-то чудодейственная сила двигала меня извне. И действительно, несметные россыпи золотого зерна проходили через мои руки.

Яровизация, прокраска и драки, драки без конца. Старые агрономы методы Лысенко принимали в штыки. Считали пустой затратой времени. Приходилось с боем брать каждую рабочую единицу. Вырывать, а мне часто говорили — если ты не сделаешь, никто не сделает. Тем хотелось оправдывать доверие.

Весенняя посевная стала для меня величайшей симфонией вдохновенного творческого труда, и мне казалось, что ни одна посевная без меня, пока я жива, не обойдется. Спала по два-три часа в сутки и спать не хотелось.

Весна не ждет. Как-то раз в один из таких горячих дней на меня налетел уполномоченный, приехавший из центра, и, взмахнув рукой на поля, где ярчайшим бархатом, нежным, как головка младенца, пробивалось новорожденное зерно, угрожающе и резко спросил — чьи это поля? Я, поднимая голову, твердо и раздельно сказала: «мои!» Не могу забыть чувства, охватившего меня, когда я торопливо спешила к себе на участок.

Да, это только в нашей стране ты можешь себя чувствовать хозяином, даже здесь, и за этой роковою чертою. Мне землю доверили, я в нее вложила свою любовь и всю свою силу, и она была моя. К тому же природа, страшная, дикая, но поразительно прекрасная. Возникали стихи:

Какая тишина, безлюдье.
Огромный, синий, дикий мир.
Орел степной горячей грудью
Ту синеву перекрестил.
Затихло всё, как будто умерло...

Закаты солнца в багрово-оранжевых облаках, развернувшихся, как библейское небо, воздух, уходящий серебряными миражами в горизонты, и солнце, ослепительное солнце, оно играло и билось в зените так, что казалось — вот-вот оборвется и упадет прямо под твои ноги.

В разгаре, в труде наше утро горячее,
я, к солнцу подкинув, провею зерно.
Его убирать торопливо мы начали,
а степь опьяняет тебя, как вино.

Нестерпимо прекрасны и лунные ночи, когда прозревшие мохнатые птицы слетают с древних казахских могил, бесстрашно задевая твое плечо, и тень от их крыл плывет по голубой земле, делает какие-то странные очертания. Да вот раздается приглушенный писк. Это властелин степей — отважный беркут вылетел на охоту. Он сцапал грызуна, уничтожающего мои посевы. Спокойно, забирая высоту, поднимается надменный хищник, захватив суслика вместе с моим новым капканом. Я кричу ему, вздеваю руки к небу, но гордо, не взирая на землю, парит степной орел, поднимаясь в свое воздушное царство. Все, что ниже его, все презренно. Он еще не знает человека здесь. А там, вдалеке станции, переливается манящее ожерелье огней. Гудят паровозные гудки, надрывая мне сердце. Идет война. Грузятся военные эшелоны. Идет кровопролитный смертный бой за великую правду коммунизма. И, поливая землю своею кровью, несем мы эту правду всему человечеству. И что бы со мной ни случилось и где бы я ни была, как бы меня ни жгли и ни пытали, эту правду у меня из сердца никто не вырвет.

Стихи, посвященные товарищу Сталину:

Пускай бураны жгут меня, как плетью,
пускай пески застелют мне глаза,
за ровное его дыханье умереть мне,
за слово каждое, которое сказал.

Я родилась в городе Подольске Московской области, в семье рабочего П. С. Стукова. Он тридцать лет прослужил на Подольском заводе и, ослепнув на чертежах компании «Зингер», в наши дни последние десять лет мог нести только работу сторожа на механическом заводе. Он был удивительной доброты человек и страстный любитель природы. Мать моя тоже была на редкость отзывчивая и добрая женщина, труженица, очень скромная, благонравная. И никому у нас в городе не приходило в голову, что по ночам она часто возилась с революционной литературой, пряча по чуланам, которую ей приносили рабочие.

Мои родители были настоящими трудовыми русскими людьми, добрыми, преданными своей родине. И память о них в Подольске самая светлая.

Забастовки. Ночные посетители, отдавшие себя революции. Проклятья отца по адресу англичан-эксплуататоров, все вместе давало ясное и здравое миропонимание. Мать умерла в самом расцвете красоты и сил, 37 лет, в 19-м году от сыпного тифа. Отец заболел нервным продолжительным расстройством, и мне пришлось оставить школу и пойти работать в четырнадцать лет на Подольский патронный завод. Голодовка. Коммуны и огороды.

С мешками на крышах вагонов, чтобы не дать умереть с голоду больному отцу и маленьким детям. Тяжело прошло отрочество и юность. Когда дети подросли и отец поправился, я уехала в Москву и поступила на Высшие литературные курсы, ныне Институт имени Горького.

В 1937 году, в роковой год моей жизни, начала восходить звезда моей литературной карьеры. На конкурсе при ЦК партии мой роман «1935 год» был признан одним из лучших. Хвалили. Удивлялись образному языку рабочих персонажей. А это был мой собственный язык, язык моего отца, моего завода, товарищей, которые оживали в литературных образах.

В это же время, закончив новую повесть, отдала Ал. Фадееву, как самому строгому и беспощадному критику. Многие специалисты новую вещь хвалили, пророчили будущее. Замирало сердце, страшно хотелось работать и печататься. И уже окончательно пойти по своему призванию.

Фадееву, приехавшему из командировки, не успели доложить об аресте Герасимова. Он в присутствии всей редакции настоял, чтобы я пришла к нему для переговоров о моей повести на квартиру. Я не только в чем-либо, но даже в своих помыслах не была виновата перед правительством.

Оставшись с маленьким ребенком совершенно без средств, в полном ужасе, совершенно растерянная, на другой день предстала в назначенный час перед Фадеевым. Встретив меня очень тепло, он начал хвалить мою повесть в самых горячих выражениях. Большей иронии судьбы себе трудно было представить.

Признание генерального секретаря ССП, когда все рушилось и земля под ногами шаталась. Не выдержав, я упала у него на столе и разрыдалась. Фадеев недоумевающе смотрел на меня. Я только тогда поняла, что он ничего не знает.

— Что с вами?

— Михаил арестован, — ответила я.

— Как арестован? — закричал Фадеев. И, отшатываясь от меня, оттолкнул от себя мою рукопись. Это было самое страшное, самое тяжкое горе из всех горестей, перенесенных мной в жизни.

Моя любовь к природе, ко всему прекрасному, беспрестанное участие со стороны начальства МВД, их помощь в сохранении моего творческого дара не только оставила, но еще и укрепила веру в добро, дало мне ту же четкую идейную направленность моих трудов и мыслей. Все мои стихи и проза были проникнуты бодростью, оптимизмом, верой в победу во время войны. И они всегда с успехом исполнялись в больших аудиториях, при самом серьезном начальстве.

Когда наши красные войска подступали к Берлину, я написала поэму о наших летчиках-героях... не только окружающие меня, но и все проверяющие меня люди были уверены в моих дальнейших успехах в области литературы. И вся эта вера пронесла меня сквозь сырые и тяжкие тюрьмы, через ледяные бураны, сквозь опаляющее пекло Казахстана, оставив нетронутой мою душу, мой жизнерадостный и живой характер. Хватить пришлось всего! Я замерзала в бешеный буран в степях, возвращаясь зимой с работы, тонула в ледяной речке, поехала за ядохимикатами перед посевной. Чуть не погибла на строительстве плотины, куда меня упрятал начальник Вахминин, так как я у него обнаружила много нехорошего на зерноскладах, приехавши как агроном-ревизор. Была искусана взбесившейся собакой. В последнее время работала в питомнике ВОХР, так как ослабела, работая по защите растений, годами на хлорпикрине и мышьяке без маски. Собака разорвала мне лицо, от глаз и до уха. И также хрящи левого уха.

И, наконец, заразившись там от мяса тяжелым овечьим бруцеллезом, в 1945 году вышла на волю.

Почему случилось так, что мне там все верили, относились ко мне больше чем хорошо — Мишин, Митин, Якуб, Жариков, Завадский. Последний приезжал со своей женой к моей дочери в 46-м году, желая со мной повиоаться. А когда я вернулась, мне все верить перестали. Я по приезде взялась за переводы украинской литературы. Взяла рассказы Михаила Стельмаха. В журнале «Огонек» мои переводы были встречены хорошо. Приняты все рассказы. Снова счастливая волна заливала меня. В это время пришло постановление партии и правительства о журнале «Звезда», и на место редактора Беляева пришел в «Огонек» редактор Сускер. И он, выбросив все, что принял Беляев, вернул мне и мои рукописи. Но все же, наговорив приятных слов, просил заходить.

Я тогда на собственном производственном материале написала рассказ о саранче, назвав его «Розовые крылья».

Рассказ читали многие и одобряли. Сускер мне заявил, что он может его напечатать только тогда, когда Фадеев на него наложит резолюцию, что его надо печатать. Фадеев отмахнулся.

Дорогой Лаврентий Павлович!!!

Вы, как талантливейший и образованнейший человек нашей эпохи, можете понять, какое горе и какая мука, когда тебе все время приходиться душить свой творческий огонь, который тебя ожигает. Все мои душевные силы остались во мне неизрасходованные. Кипят и не находят хода.

Вот сейчас начинается посевная. Как бы я хотела писать о нашей плодоносной земле, о ее труженицах, героях. Тем более я сама ее обрабатывала собственными руками несколько лет. Неужели я не заслужила права писать о моей родине, с тем, чтобы меня слушали и читали?!! Я всю жизнь выступала и как художественная чтица. И даже в первые годы своего возвращения я выступала и преподавала в санаториях и домах пионеров. А сейчас не знаю, куда и как примечить свои силы. Мне больше 33 лет никто и не дает. И это не случайно. А работы непочатый край. Я в последние годы много бывала на Ставрополье. Вот пример. Маяковского в открытую молодежь здесь не любит. А причина та, что учителя совсем не умеют его читать и не могут донести до школьника. И сколько я ни пыталась где-нибудь преподавать художественное чтение, никому оно здесь и не нужно, несмотря на то, что после выступления товарища Маленкова на последнем

съезде партии вопрос о художественном чтении как лучшей пропаганде нашей идейно направленной литературы поднялся во многих газетах. Директора культдомов, пионерских домов хотят только пляску и балалаечные оркестры: «Вот если бы вы балет преподавали!» — Я не против веселья, но всему нужна мера. А с ними мне договориться трудно.

Я бы хотела жить в Подольске, где я родилась, где начала свою трудовую жизнь, где меня знают с хорошей стороны, невдалеке от своей дочери, которая учится в Москве. И мне бы возле нее было теплее и легче.

Дорогой Лаврентий Павлович, умоляю вас о помощи. Я склоняюсь перед вами на колени — помогите мне вернуться к моему творческому труду. Только нечестные люди могут сказать обо мне плохо. Клянусь вам памятью нашего дорогого вождя товарища Сталина, клянусь жизнью своей единственной и любимой дочери, клянусь своей жизнью, отданной от всей души моей земле, за те восемь лет, что я провела в Казахстане, что я оправдаю ваше доверие и буду работать. И отдам свою жизнь своей родине и ее родному и любимому мною народу.

Только вы своей могущественной рукой можете вернуть меня к жизни. Выше искусства для меня нет жизни. А меня все боятся. И наши литературные столпы не решаются мне помочь. Да и не «узнают» меня. А я, находясь там, иногда себя чувствовала легче, находя разрядку в моих честных выступлениях при многочисленных аудиториях, начиная с серьезных, проницательных чекистов.

Желаю вам долгих, долгих здоровых лет. Желаю, чтобы ваше назначение на пост Министра МВД еще больше укрепило и прославило наше гениальное отечество. И имя ваше было прославлено и врезано золотыми буквами в историю всего счастливого человечества.

От всего сердца — Нина Герасимова

24 марта 53 года.

Невинномысск. Проездом. 23 марта».

Комментарий к этому письму могли бы сделать Ф. М. Достоевский или, в крайнем случае, наши современники — А. И. Солженицын, О. В. Волков, В. Т. Шаламов. А поэтому я умолкаю, задумавшись обо всем сразу — о величии, коварстве, героизме и слепоте эпохи, в которой жили такие люди.

✦✦✦

ЛЕТОПИСЬ РОССИИ

ВАДИМ КОЖИНОВ

ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

ОТ ИСТОКОВ ДО СМУТНОГО ВРЕМЕНИ (VIII—XVII вв.)

О ЗАГЛАВИИ ЭТОГО СОЧИНЕНИЯ

«История Руси и русского Слова»... Первая половина заглавия, конечно, не требует пояснения. Но что значит «Слово»? Могут возразить, что правильнее было бы сказать «и русской литературы». Однако в начальный период истории Руси главную роль играли не собственно литературные произведения, а былины, которые существовали не в письменности, а в передающемся от поколения к поколению устном, звучащем бытии, к тому же еще и напевном. С другой стороны, и церковное, православное Слово жило для людей, для народа (исключая разве только самих священнослужителей) именно и только как устное слово, гулко звучащее под сводами храма и также во многом напевное, а подчас еще и сопровождаемое мощным аккомпанементом колокольного звона.

В XIX — начале XX века русские люди, стремясь обозначить весь объем художественного слова, употребляли термин «словесность». И это сочинение, быть может, следовало назвать «История Руси и русской словесности». Но к нашему времени этот термин стал «устаревшим», архаичным и даже отчасти ироническим («ну, развел словесность» и т. п.). Поэтому я предпочел говорить «Слово», которое призвано обозначить весь объем словесного творчества, включая в него и то, что звучало в храмах, и то, что существовало в устах сказителей. Древнейшее из дошедших до нас записанных, собственно литературных произведений — «Слово о законе и Благодати» киевского митрополита Илариона, — которое, правда, было предназначено прежде всего для произнесения, для звучания в храме, относится к 1049 году. Но история Руси как государства, как одного из воплощений всемирного исторического творчества началась на два с половиной столетия, то есть на четверть тысячелетия, ранее. Историческое творчество, как убеждает изучение развития любой страны, немыслимо без словесного творчества. И нет сомнения, что еще до рождения литературы в собственном смысле на Руси было достаточно развитое словесное творчество.

Вместе с тем сочинение мое обращено прежде всего к самой истории Руси, ибо русское Слово — это порождение, высший цвет, бесценный плод истории, и его нельзя действительно понять без глубокого изучения и осмысления исторического движения Руси.

КОЖИНОВ Вадим Валерианович родился в 1930 г. в Москве. Литературовед, публицист, печатается с 1950 года; начиная с 1980 года занимается в основном изучением русской истории. Автор книг «Виды искусства» (1960), «Происхождение романа» (1963), «Как пишут стихи» (1970, 2-е изд. — 1980), «Книга о русской лирической поэзии XIX в.» (1978), «Статьи о современной литературе» (1982, 2-е изд. — 1990), «Тютчев» (1988, 2-е изд. — 1992), «Размышления о русской литературе» (1990), «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» (1990) и других, а также нескольких сотен статей. Член Союза писателей России, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В. И. Вернадский о самосознании России и единство древности и современности

Начну с обсуждения весьма многозначительных высказываний авторитетнейшего ученого и мыслителя В. И. Вернадского (1862—1945) о русской истории и культуре. Почему именно с его высказываний? Во-первых, потому что перед нами не историк (хотя В. И. Вернадский много занимался специфической проблемой истории науки), не литературовед, не культуролог, а как бы сторонний и потому имеющий особенные основания для объективности наблюдатель и судья.

В то же время В. И. Вернадский — достаточно осведомленный человек уже хотя бы в силу того, что со студенческих лет он жил и мыслил в теснейшем общении с видными деятелями исторической науки — историком России А. А. Корниловым, историком Запада И. М. Гревсом, востоковедом С. Ф. Ольденбургом, историком русской философии князем Д. И. Шаховским; все они входили в существовавший еще с 1880-х годов кружок, который называли «братством». Едва ли случайно стал интереснейшим историком широкого профиля и сын Владимира Ивановича — Георгий Вернадский (1887—1973; с 1920 года — в эмиграции).

Далее, В. И. Вернадский — мыслитель, который сумел так или иначе стать выше искушавшей многих и многих русских людей дилеммы з а п а д н и ч е с т в а и с л а в я н о ф и л ь с т в а (вернее, русофильства, или «почвенничества»). В принципе он тяготел к западничеству, что ясно уже из его политической деятельности: В. И. Вернадский был одним из основателей и руководителей вдохновлявшейся западноевропейскими общественными идеалами Конституционно-демократической (кадетской) партии, бессменным членом ее ЦК (как и его друзья А. А. Корнилов и Д. И. Шаховской). Но в его мировоззрении со временем установилось все же определенное равновесие историко-политических образов Запада и России. Характерно, в частности, что он — в отличие, скажем, от его близкого друга Д. И. Шаховского и почти всех остальных кадетских лидеров — отказался присоединиться к масонству, которое было нераздельно связано с Западом. Любопытны строки из незаконченных воспоминаний В. И. Вернадского, продиктованных им в 1943 году: «...передавал мне Георгий (сын-историк.— В. К.), когда он занимался масонством, что его уверяли масоны, что я был членом масонской ложи. И не верили, когда Георгий это отрицал»[1].

[1] Ш а х о в с к а я А. Д. Хроника большой жизни. — В кн.: «Прометей», т. 15. М., 1988. с. 44.

Итак, размышления Вернадского о своеобразии русской истории (вообще-то речь у него заходит об истории русской науки, но, как ясно из дальнейшего, под этой темой лежит как необходимый фундамент тема своеобразия истории самой России).

В 1927 году (через год после возвращения на родину из Парижа, где он находился с 1923 года) В. И. Вернадский в одном из своих публичных выступлений заявил, что никак нельзя «оставлять без внимания то жизненное значение, которое имеет сейчас для нашей страны и для нашего народа выявление научной мысли и творческой научной работы, проникавшей их (страны и народа.— В. К.) прошлые поколения, их былое[2].

Это выявление, возможно более полное и глубокое, широкий охват этим знанием всего народа имеет первостепенное значение для народного самосознания. А осознанность народом своего бытия есть, может быть, самая большая сила, которая движет жизнь»[3].

Начав с темы «научной мысли и творческой научной работы», В. И. Вернадский, как мы видим, тут же резко расширяет объект внимания, придает ему, так сказать, всеобщий характер, выдвигая в качестве насущнейшей цели «осознанность народом своего бытия», то есть всей своей истории в целом.

Нельзя не заметить, что «задача», выдвинутая Вернадским в 1927 году, во всем объеме и во всей остроте стоит перед нами сегодня, и в этом-то еще один и, по-видимому, самый существенный повод для напоминания о размышлениях виднейшего ученого.

Утвердив «осознанность народом своего бытия» как, быть может, «самую большую силу, которая движет жизнь», Вернадский продолжает свое рассуждение так (это именно прямое продолжение цитируемого текста):

«Мне кажется, что в этом отношении история нашего народа представляет удивительные черты, как будто в такой степени небывалые (то есть, по его мнению, не имеющие места в какой-либо другой стране, кроме России.— В. К.).

Совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя.

[2] Стоит сразу же отметить, что для 1927 года это было поистине смелое высказывание, поскольку господствовали понятия о «проклятом прошлом» России, о русских как «нации Обломовых» и т. п.

[3] В е р н а д с к и й В. И. Забытые страницы. — В кн.: «Прометей», т. 15. М., 1988, с. 135.

С удивлением, как бы неожиданно для самого народа, они открываются ходом позднейшего исторического изучения.

Первой открылась взорам мыслящего человечества и осозналась нашим народом русская литература. Былины были открыты в этом смысле в конце XVIII столетия[4]... Но великая новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (то есть на памяти еще живых в двадцатых годах XX века поколений.— В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения. Еще в 60-х один из крупнейших знатоков истории русской литературы, академик П. П. Пекарский... ставил вопрос, имеет ли русская литература вообще какое-нибудь мировое значение, или ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур и имеет местный интерес, интерес исторически второстепенный. Он решал его именно в этом смысле. Это было после Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, в расцвет творческого выявления Толстого, Достоевского, Тургенева. Сейчас взгляд Пекарского, точно выражавшего народное самосознание того времени, кажется анахронизмом. В мире — не у нас — властителем дум молодых поколений царит Достоевский; глубоко вошел в общечеловеческое миропонимание Толстой. Но мировое значение русской литературы не было осознано ее народом... Когда де Вогюэ обратил внимание Запада, в частности сперва французского, на мировое значение русской литературы, когда началось ее вхождение в общее сознание,— именно этот факт открыл глаза и тому народу, созданием которого она является. Он понял, что он создал.

Еще более ярко это самое свойство,— продолжает Вернадский,— проявляется в том еще не законченном движении, которое идет сейчас в нашем народном самосознании — в понимании нашего творчества в живописи и в зодчестве... В этом проникновении в художественную старину выявилась перед нами совершенно почти забытая, во всяком случае совершенно не осознанная полоса огромного народного художественного творчества. В русской иконописи и в связанном с ней искусстве открылось явление, длившееся столетия (от XIII до XVII века),— расцвет великого художественного творчества, стоящий наряду с эпохами искусства, мировое значение которых всеми признано[5]. Перед нашими удивленными взорами открывается великое творчество того же порядка, как и русская литература, совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся, как в эпоху Возрождения из земли возвращалось в своих остатках античное зодчество и скульптура» (цит. соч., с. 313—314).

[4] Это, надо сказать, сильное преувеличение; былины были по-настоящему «открыты» лишь в 1860—1870-х годах, после опубликования собраний П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга.

[5] Вернадский, надо думать, испытал глубокое воздействие появившихся в 1915—1918-х годах работ о русской иконописи, созданных близким ему мыслителем князем Е. Н. Трубецким (1863—1920), который, как и Вернадский, был одним из основателей кадетской партии и членом Государственного совета «от академической курии».

Итак, В. И. Вернадский усматривает «удивительные», «небывалые» черты «истории нашего народа» в том, что даже величайшие достижения осознаются с большим, или же громадным (в несколько столетий), запозданием, да еще и чуть ли не по инициативе извне, с Запада (стоит отметить, что В. И. Вернадский, размышляя о судьбе русской иконописи, по всей вероятности, подразумевал и — без сомнения, известный ему — факт высшей оценки ее творений приехавшим в 1911 году в Россию знаменитым впоследствии французским художником Анри Матиссом[6]).

Этот тезис о «небывалом» — то есть не свойственном ни одной стране, кроме России,— запаздывании в осознанности собственных достижений или даже необходимости «восстанавливать», «возрождать» как бы умершие, ушедшие в «землю» ценности вроде бы можно было оспорить.

В. И. Вернадский сослался на, по-видимому, первый пришедший ему на ум пример — высказывания литературоведческого сподвижника Чернышевского, П. П. Пекарского (1827—1872). Но Пекарский в своем понимании места русской литературы в мировой, конечно же, опирался на суждения Белинского, который писал, например, в 1840-х годах:

«Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может... И потому нам дóлжно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою или английскою... Наша литература исполнена большого интереса, но только для нас, русских». Тогда же Белинский утверждал, что «Жорж Занд имеет большое значение и во всемирно-исторической литературе, не в одной французской, тогда как Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет *решительно никакого* (курсив Белинского. — В. К.) значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, что, следовательно, имя Жорж Занда безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие и здравый смысл...»

Поскольку Белинский для нескольких поколений русских людей был непререкаемым авторитетом, его приговоры могут рассматриваться как доподлинное выражение национального самосознания. Однако ведь само это рассуждение Белинского о Гоголе являло собой, как известно, остро полемический ответ на посвященную Гоголю статью Константина Аксакова и, следовательно, уже в 1840-х

[6] Важно обратить внимание на сложность проблемы Матисс «открывает» русскую иконопись, но искусство самого Матисса и ряда его французских коллег было впервые оценено не где-нибудь, а именно в России.

годах мировая ценность творчества Гоголя так или иначе осознавалась в России (ныне всемирное признание этого творчества очевидно).

Вернадский отметил, что «новая русская литература вскрылась в своем значении лишь на памяти живущих людей (он, несомненно, имеет здесь в виду и самого себя.— В. К.). Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько поколений после своего рождения». Вероятнее всего, Вернадский считал решающим моментом этого «выявления» согласно воспринятую самыми разными людьми Пушкинскую речь Достоевского, прозвучавшую в 1880 году, когда самому Вернадскому было восемнадцать лет.

Но уместно напомнить, что уже в 1827 году (когда Белинский был пензенским гимназистом), сразу после появления в печати сцены («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») из «Бориса Годунова» — одного из первых подлинно зрелых пушкинских творений,— Дмитрий Веневитинов писал:

«Эта сцена, поразительная по своей простоте и энергии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гете». С явлением же творения в целом «не только русская литература сделает бессмертное приобретение, но летописи трагической музы обогатятся образцовым произведением, которое станет наряду со всем, что только есть прекраснейшего в этом роде на языках древних и новых».

Мнение Веневитинова безусловно разделяли и другие «любомудры» — братья Киреевские, Владимир Одоевский, Погодин, Тютчев, стремившийся определить в 1836 году, «отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами» (среди коих числились тогда ни много ни мало Мюссе, Ламартин, Альфред де Виньи, Беранже, Жерар де Нерваль, Барбье и сам Гюго...). Впрочем, еще в 1831 году крупнейший тогда русский мыслитель Чаадаев сказал о Пушкине: «...вот, наконец, явился наш Дант».

Словом, есть вроде бы основания усомниться в правоте Вернадского, утверждавшего, что в России «совершался и совершается огромный духовный рост, духовное творчество, не видные и не осознаваемые ни современниками, ни долгими поколениями спустя».

Вернадский, в частности, выражает удивление по поводу того, что «в расцвет творческого выявления Толстого» Пекарский (и, конечно, вовсе не только он) продолжает полагать, что русская литература не имеет никакого мирового значения и «ее история не может изучаться в одинаковом масштабе с историей великих мировых литератур». Но ведь именно в то самое время, сразу же после завершения печатания «Войны и мира», Николай Страхов, подводя итог своим глубоко содержательным размышлениям о толстовской эпопее, совершенно верно утверждал, что она «принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего»... То есть современник, даже прямой ровесник Толстого, дал оценку, которая теперь является общепринятой.

И все же... все же Вернадский был по-своему прав. Ибо ясно, что высказывания и оценки любомудров, славянофилов, или «почвенников» (к которым принадлежал Страхов), не имели и сотой, или, пожалуй, даже тысячной, доли того общественного резонанса, каковым обладали суждения критиков и публицистов круга Белинского, Чернышевского, Михайловского и т. д. Резко «сниженные» или попросту уничтожающие отзывы о «Войне и мире» в статьях таких влиятельнейших тогда авторов, как Писарев, Шелгунов, Берви-Флеровский, Зайцев, Минаев и др., совершенно заглушили голос Страхова... Едва ли расслышал его и сам достаточно чуткий Вернадский! И потребовалась позднейшая «поддержка» из-за рубежа (в частности, того же де Вогюэ, которого упоминает Вернадский), чтобы «Война и мир» получила в России действительное признание.

Эта своего рода закономерность развития русского культурного самосознания была уяснена давным-давно. Еще в 1839 году Иван Киреевский, размышляя о духовных ценностях русского Православия, утверждал:

«Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить внимание русских читателей на весьма ценное в его глазах сочинение Хомякова (хотя он и был готов оспаривать хомяковские идеи), сам переводит его на французский язык и отправляет перевод своему парижскому знакомцу графу де Сиркуру: «...берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомякова... наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы — это делать их достоянием широких кругов европейского общества. Как ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая привычка руководиться мнением вашей публики» (стоит отметить, что и в наше время, например, широкое признание трудов М. М. Бахтина в России совершилось лишь после высшей оценки их на Западе).

Таким образом, Вернадский в более обобщенном виде сказал о том, о чем русские мыслители говорили еще столетием ранее. Но размышление Вернадского приводит к очень существенному итогу, которого я еще не касался.

* * *

Говоря об «открытии» средневековой русской иконописи и зодчества, Вернадский утверждает следующее: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при том условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды. И совершенно ясно, что его (древнерусского искусства.— В. К.) осознание есть сейчас факт крупнейшего значения в жизни нашего народа.

Сейчас, мне кажется, мы подходим к новому явлению того же характера. Начинает вырисовываться неосознанная новая сторона нашей вековой духовной работы — работы русского народа и Русского государства в научном творчестве. Настала пора его выявления... Что, научная работа русского народа является малозаметным явлением в росте знания человечества? Что, русская мысль теряется в мировой работе? Или гений нашей страны и здесь, как и в художественном отражении нас окружающего, выявил новое, богатое, незаменимое, единственное» (цит. соч., с. 314).

Вернадский вспоминает, в частности, о научной деятельности «первого русского кругосветного мореплавателя, исследователя южных частей Тихого океана Ивана Федоровича Крузенштерна» [1], и предлагает поставить эту деятельность в «историческую обстановку, которая нами обычно забывается» — увидеть в Крузенштерне «человека, творящего всемирную историю», который «явился здесь прямым продолжателем и теснейшим образом связан с той вековой работой, которую совершили русские землепроходцы открытием северной Азии, северных морей и пролива, отделяющего Евразию от Америки. Несомненно, эта работа старых веков, XV — XVII, была по своим научным последствиям столь же высокой важности научным достижением, как то раскрытие карты мира, какое совершено было моряками Запада XIV — XVIII столетий» (цит. соч., с. 314—315).

В высшей степени важно обратить сугубое внимание на тот факт, что Вернадский подчеркнуто ставит и иконопись, и «научную работу» в нераздельную связь со всей цельностью истории русского народа, в сущности, всецело «выводя» художественное и научное творчество из всей громады народно-исторического бытия России. Разумеется, это полностью относится и к литературному, словесному творчеству.

И все это имеет глубокий и острейший смысл. В силу ряда причин (о них еще пойдет речь) русская литература, культура и искусство в целом как бы выделены в общественном сознании (во всяком случае, в представлениях подавляющего большинства людей) в некую замкнутую сферу, словно бы даже самодовлеющий мир, возвышающийся над русской жизнью как таковой, над отечественной историей в ее земной, реальной полноте.

Я отнюдь не считаю, что русская литература,— как и культура в целом,— есть прямое «отражение» или «воспроизведение» русской жизни; такой подход к делу — это прежде всего упрощенное, примитивизирующее истолкование культуры. Уж гораздо более верно понятие о творениях культуры (и, конечно, литературы) как *о плодах* — своего рода «последних», высших достижениях — исторического творчества, плодах, которые, в частности, вовсе не обязаны быть «похожими» на свои жизненные корни. И, представляя собой *порождения* истории, творения культуры сами естественно становятся феноменами истории; трудно спорить с тем, что, скажем, былины об Илье Муромце, рублевская Троица, архитектурный мир Московского Кремля, «Жизнь за царя» Глинки, толстовская «Война и мир» или лирика Есенина — это, без сомнения, реальные факты, *события* русской истории, прямо и непосредственно *участвующие* в ней.

В то же время они, конечно, представляют собой именно *порождения* этой истории, принципиально не могущие содержать в себе ничего такого, чего не было бы в самой истории. А между тем господствует мнение, согласно которому в России была, дескать, только великая, безмерно богатая и полная смысла литература (и, отчасти, культура вообще). Это выражено, например, в известном всем и каждому тургеневском стихотворении в прозе 1882 года «Русский язык» (в понятие «язык» здесь, безусловно, включена литература):

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? — Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Итак, в России *только* слово несет в себе несомненное величие, а все, что «совершается» в ней, то есть ее целостное бытие, способно вызвать лишь «отчаяние»...

Это в конце концов попросту *странное* представление (оно ведь неизбежно подразумевает, что словесное инобытие России в творениях Пушкина, Тютчева, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова да и самого Тургенева как бы не имеет непосредственного отношения к самому русскому «отчаянному» бытию) все же прочно внедрилось в сознание множества людей и особенно «расцвело» после 1917 года. Так, Луначарский писал в 1924 году, что-де «почти у всякой русской писательской могилы» (далее перечисляются многие имена от Радищева до Толстого) «можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех их она... обузила, огрызла, завела не на ту дорогу. Если же все же они остались великими, то вопре-

[1] Прапрадед Крузенштерна еще в XVII веке переселился из Германии в Россию; сам Иван Федорович родился в 1770 году недалеко от Ревеля (Таллинна) и в 1788 окончил Морской кадетский корпус в Петербурге.

ки этой проклятой старой России, и все, что в них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

Эта, так сказать, экстремистски «идеалистическая» позиция (все наиболее существенное и ценное русские классики «взяли», оказывается, из своего собственного сознания, а не из русского бытия) является, по сути дела, господствующей,— и не только по отношению к литературе. Так, в непомерно превозносимом множеством критиков кинофильме А. Тарковского «Андрей Рублев» (по моему убеждению, посредственном и, в частности, невыносимо скучном) творчество гениального иконописца никак не соотнесено с русской жизнью его времени,— даже напротив. Хотя еще в 1927 году Вернадский (его слова уже приводились) с полным основанием говорил: «Это древнее русское искусство, как сейчас ясно видно, могло возникнуть и существовать только при условии, что оно было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа, с его высокими настроениями и исканиями правды».

«Отрыв» этого искусства от самой жизни русского народа принимал нередко и поистине курьезные формы. Так, в 1939 году бывший в свое время управляющим делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал о том, как в 1918 году производилась реставрация Успенского собора в Кремле: «Владимир Ильич часто заглядывал в собор,— свидетельствовал исполнявший тогда обязанности гида Бонч-Бруевич, считавшийся, между прочим, видным ученым в области религии и этнографии,— внимательно рассматривал великолепные фрески и изображения старой итальянской живописи XV—XVI веков, которые обнаруживались после смывания мест, закрашенных различными нашими богомазами».

Как ныне хорошо известно, в основу фресок Успенского собора легла работа великого русского «иконника» Дионисия и его школы в 1480—1481 годах. Но при господствовавшем до самого последнего времени отношении к древнерусской культуре в это как бы невозможно было поверить. И Ленин, конечно, был убежден, что рассматривает образцы итальянского искусства...

* * *

Итак, в размышлениях Вернадского выявлены две характернейшие черты (можно бы и сказать: два характернейших «греха»), присущие освоению русских литературных, художественных, научных и вообще культурных ценностей: очевидное и нередко разительное запаздывание в их понимании и оценке и, во-вторых, более или менее решительное отделение, отрыв этих ценностей от цельного исторического бытия России (в противовес этому Вернадский утверждает, например, что русскую науку о мире начали создавать своим историческим, жизненным творчеством «землепроходцы» XV—XVII веков).

Целесообразно сразу же попытаться объяснить, или, вернее, наметить пути объяснения этих «грехов»,— хотя в определенном смысле именно такова задача предлагаемой книги в ее целом. Но заранее данные — пусть и эскизные — объяснения будут, как мне представляется, облегчать восприятие книги, которая во многих своих моментах не совпадает с наиболее распространенными представлениями об истории России и русской литературы.

Тот факт, что (пользуясь определениями Вернадского) «огромный духовный рост, духовное творчество» как бы не замечаются и не осознаются «долгими поколениями спустя», обусловлен — хотя это, о чем еще пойдет речь, не единственная причина — своего рода прерывистостью русской истории. В настоящее время развивается, скажем, точка зрения — прежде всего в трудах Л. Н. Гумилева,— согласно которой история России в ее современном значении началась лишь к концу XIV века, а в основе домонгольской Руси лежала, по существу, деятельность иного этноса — иного по целому ряду существенных своих «параметров».

Подобное представление намечено — по-видимому, независимо от Л. Н. Гумилева — и в работах Д. С. Лихачева. Одна из главок его книги «Развитие русской литературы X—XVII веков» (Л., 1973) называется так: «Обращение к «своей античности»: «Вторая половина XIV — начало XV в. характеризуются повышенным интересом к домонгольской культуре Руси, к старому Киеву, старому Владимиру и Суздалю, к старому Новгороду... Обращение поднимающейся Москвы... к киевской, владимирской и новгородской древности соответствовало обращению Запада к классическим источникам» (с. 116, 118),— то есть к древним Греции и Риму.

Хотел или не хотел этого автор (а он приводит, кстати сказать, многочисленные примеры «возрождения» домонгольской русской культуры в XIV—XV веках), но мысль его, исходящая из «соответствия» Возрождения на Руси и на Западе, неизбежно имеет и такой оттенок: до монгольского нашествия на Руси была совсем иная культура. Ибо возрождение есть с необходимостью новое рождение, а не «обычное» поступательное развитие одного и того же культурного организма.

И действительно, для понимания истории культуры (и литературы) России вполне уместна идея новых рождений, или, иначе, воскрешений. Причем речь должна идти вовсе не только об эпохе после монгольского нашествия. Еще уместнее говорить, например, о воскрешении средневековой русской культуры в XIX — начале XX века — после эпохи Петра Великого и его преемников.

Вернадский-сын писал (между прочим, в том же самом 1927 году, когда произнес цитированную выше речь его отец) в своем «Начертании русской истории», изданном в Праге, что к последней трети XVIII века «было уничтожено четыре пятых русских монастырей (разрядка Г. В. Вернадского.— В. К.)... Из 732 мужских монастырей (не считая юго-западного края) оставлено 161; из 222 женских — всего 39...[8].

Это был сокрушительный удар по всей исторической системе религиозно-нравственного воспитания русского народа... Роль суррогата Церкви в дворянском (отчасти и купеческом) обществе времен Екатерины стали играть масонские ложи...» (с. 196—197)[9].

Но дело шло вовсе не только о монастырях. С 1768 года выдающийся архитектор и не менее выдающийся масон, полномочный посредник в сношениях вождя масонов Н. И. Новикова с наследником престола великим князем Павлом Петровичем В. И. Баженов создает, по его собственному определению, «проект Кремлевской перестройки», которая ставит целью «обновить вид сего древностью обветшалого и нестройного града»[10]. К 1773 году стена и башни Московского Кремля, расположенные вдоль Москвы-реки, были уничтожены, и состоялась торжественная закладка нового, «совершенного» дворца, своего рода масонского храма, который должен был, в частности, заслонить и затмить «нестройные» остатки Кремля...

Однако вскоре из-за прорытия глубокого рва для дворцового фундамента дал трещины Архангельский собор — усыпальница великих князей и царей, начиная с Ивана Калиты. Это показалось чрезмерным, работы были по распоряжению Екатерины II остановлены, а затем в течение десяти лет заново возведены снесенные стена и башни Кремля (на память остался ясно видный и теперь шов в кремлевской стене, возникший из-за того, что восстановление стены шло с двух концов).

Но принципиально новое представление о ценностях культуры еще долго владело умами и душами людей. Не кто иной, как Николай Михайлович Карамзин (который еще в 1784 году, восемнадцатилетним юношей, стал членом масонской «Ложи Златого Венца»)[11], писал в 1803 году на страницах влиятельнейшего тогда журнала: «Иногда думаю, где быть у нас гульбищу, достойному столицы, и не нахожу ничего лучшего берега Москвы-реки между каменным и деревянным мостом, если бы можно было там сломать кремлевскую стену... Кремлевская стена нимало не весела для глаз»[12].

Да, это написал тридцатисемилетний Карамзин — к тому же в том самом году, когда Александр I издал указ о его назначении историографом. Но серьезнейшее изучение отечественной истории и Отечественная война сделали свое дело, и в созданном именно в 1812 году (а изданном в 1816-м) VI томе своей «Истории государства Российского» Карамзин утверждал:

«Величественные кремлевские стены и башни равномерно воздвигнуты Иоанном.. Таким образом Иоанн украсил, укрепил Москву, оставив Кремль долговечным памятником своего царствования, едва ли ни превосходнейшим в сравнении со всеми иными европейскими зданиями пятого-на десять века (XV в. — В. К.)».

А ведь менее чем полстолетия назад Баженов на треть уничтожил Кремль, и всего девятью годами ранее сам Карамзин выражал желание сделать еще раз то же самое...

Или еще один, более поздний пример: в 1823 году Иван Киреевский был одним из создателей построенного по образцу масонской ложи «Общества любомудрия», а всего через полтора десятилетия он в поисках истины приходит к прямому продолжателю древнерусской духовной традиции старцу Оптиной пустыни Макарию. Это было своего рода показателем полного воскрешения того, что отвергла петровская эпоха и что продолжали отвергать в течение всего XVIII столетия и начала XIX[13].

Прежде чем двинуться дальше, необходимо хотя бы кратко высказать свое отношение к тому отвержению допетровской русской культуры (вплоть до закрытия почти 80 процентов монастырей!), которое совершилось в XVIII веке. Сегодня едва ли не большинство из тех, кто касается данной темы, оценивает это отвержение всецело «негативно». Причем речь идет вовсе не только об авторах, как говорится, «охранительно-славянофильского» умонастроения; так, например, в книге модного ныне стихотворца заостренно либерального толка Б. Чичибабина на Петра Великого обрушены безоговорочные проклятья:

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.
Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!..

Будь проклят тот, кто проклял Русь —
сию морозную Элладу!

И как единственное утешение:

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы...[14]

---

[8] Итак, из 954 монастырей 754 было ликвидировано, и осталось всего 200. В XIX — начале XX века многие монастыри были восстановлены, а также созданы сотни новых; к 1917 году в стране имелось более 1 200 монастырей (см. статистику в кн.: Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. — М., 1975).

[9] Между прочим, Г. В. Вернадский начал свою научную деятельность с углубленного изучения русского масонства.

[10] Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. — М., 1982, с. 291.

[11] См.: Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Под редакцией Г. В. Вернадского. — П., 1916, с. 518.

[12] Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. — «Вестник Европы», 1803, № 13, с. 280.

[13] Необходимо учитывать, что воскрешение совершилось незадолго до того и в самой Оптиной пустыни, где восстановилась (после длительного перерыва) древняя традиция старчества. См. об этом: Криволапов В. Н. Оптина пустынь, ее герои и тысячелетние традиции. — «Писатель и время», вып. 8-й. М., 1991, с. 373—423.

[14] Я привожу эти строки как крайнее выражение «позиции», характерной для многих нынешних сочинений не только в стихах, но и гораздо более — в прозе.

Может показаться, что эта «позиция» имеет свое существенное обоснование и оправдание, ибо ведь в эпоху Петра было немало людей, воспринимавших императора как Антихриста, а само его время как в прямом смысле слова апокалиптическое. И автор, кстати сказать, смягчает реальное историческое противостояние, говоря о *«нелепице»* стрелецкой: ведь буйные стрелецкие, казачьи и раскольничьи бунты при Петре продолжались в течение нескольких десятилетий.

Однако у людей, чьи жизненные устои рушила эпоха Петра, было действительное и несомненное право начисто отрицать ее: трагедия стрельцов, рельефно воссозданная в суриковском полотне,— это подлинная *трагедия*. А в трагедии, как убедительно доказывал Гегель, *правы* обе борющиеся не на жизнь, а на смерть стороны. Между тем *историческая* оценка петровской эпохи дана, думается, *навсегда* самим Пушкиным, который не упускал из виду фигуру Петра на протяжении всего своего творческого пути.

И нынешнее проклятье по адресу Петра, если оно честно и последовательно, должно сопровождаться отрицанием одной из незыблемых основ *пушкинского* исторического мышления, которое, между прочим, являет высший образец *объективности*: «утверждение» и «отрицание» Петра здесь гениально уравновешены. Это подлинное осознание смысла эпохи, а не ее «критика» во имя тех или иных «идеалов» — нравственных, политических, социальных и т. п. (о засилье подобной «критики» и в историографии, и в, так сказать, бытовых представлениях о русской истории еще пойдет речь). Этого рода «критика» нередко закономерно сочетается со столь же поверхностной идеализацией других исторических явлений. То есть на основе поверхностного, легковесного отношения к истории одно в ней подвергается бездумной хуле, а другое — такой же бездумной хвале. Так, например, тот же Б. Чичибабин, начисто презрев глубокое пушкинское осмысление фигуры Петра, вместе с тем безо всяких оснований «привлек» Пушкина к своему легковесному воспеванию другого исторического деятеля:

В наши сны деревенские и городские
пробираются мрази со дна —
только Пушкин один да один у России,
как Россия на свете одна.
А ведь разумом Пушкин-то с Лениным
сходен,
словно свет их один породил,
и чем больше мы связи меж ними находим,
тем светлее заря впереди[15].

Такая стихотворная «историософия» (я говорю о стихах и о Петре, и о Пушкине с Лениным), да еще в сочинениях автора, увенчанного в 1990 году высшей премией, способна внести прискорбнейшую сумятицу в сознание людей. А ведь сочинения подобного рода появляются в последнее время чуть ли не ежедневно...

[15] *Чичибабин Борис.* Клянусь на знамени. — «Лит. Россия», 1988, 14 окт., с. 5.

* * *

История — предмет глубочайший и сложнейший. Выше закономерно возникла тема масонства, ибо в его рамках во многом складывалось и развивалось новое, послепетровское сознание. И опять-таки приходится сказать, что русское масонство (как и зарубежное) сегодня рассматривается многими как заведомо негативное или даже попросту чудовищное явление.

Нет сомнения, что в истории масонства второй половины XVIII — первой четверти XIX веков (русское масонство XX века — это совсем иное явление, и прежде всего чисто «политическое») были безусловно «темные» стороны — «темные», в частности, и в смысле своей до сих пор неясной направленности, — например, полная подчиненность иных русских масонов, начиная с Новикова, зарубежным масонским организациям. Но, с другой стороны, уже один тот факт, что на рубеже XVIII—XIX веков через масонство прошли не только упомянутый Карамзин, но и такие люди, как Кутузов и Сперанский, Грибоедов и Чаадаев, и, наконец, сам Пушкин, побуждает поставить, скажем, такой вопрос: почему впоследствии, особенно в начале XX века, когда масонство в России также достаточно активно развивалось, в его составе не было подобных крупнейших личностей? Трудно представить себе деятельность в масонской ложе адмирала Макарова или Столыпина, Блока или Флоренского.

Разгадка, надо думать, в том, что в конце XVIII — начале XIX веков личность — в том числе личность государственного деятеля и деятеля культуры — для своего окончательного становления еще нуждалась в особенной *структуре* человеческих отношений, принципиально отличающейся от структуры государственно-сословной и церковной.

Известен выразительный эпизод, изложенный виднейшим современным историком русского масонства так: «...в 1817 или 1818 году Александр I посетил ложу «Трех добродетелей», наместным мастером которой был будущий декабрист А. Н. Муравьев. В разговоре... Муравьев... назвал Александра I по обычаю ложи на «ты». Это очень не понравилось царю»[16]. Но это, без сомнения, очень понравилось тем уже высокоразвитым личностям, которые считали нужным войти в масонство. И здесь, полагаю, один из важнейших ответов на вопрос, почему Грибоедов или Пушкин не отказались стать масонами.

С этой точки зрения своего рода «масонский» период в истории русской культуры (вторая половина XVIII — первая четверть XIX века) вполне понятен и закономерен. И есть, так сказать, естественная диалектика в том, что уже упомянутый Иван Киреевский должен был пройти через стадию масонообразного «Общества любомудрия», чтобы затем «вернуться» в Оптину пустынь — вернуться не под воздействием лежащего вне его личности обычая, традиции, общественного мнения (в среде образованных людей эти внешние устои Православия в послепетровские времена были во многом разрушены), но по зову, исходящему из глубины самой его личности.

[16] *Старцев В. И.* Масонство в России. — В кн.: За кулисами видимой власти, М., 1984, с. 83.

В связи с темой масонства уместно сделать краткое отступление, или разъяснение, так как, вполне возможно, найдется немало людей, которым придет в голову мысль, что я придаю русскому масонству слишком большое значение. Но, поверьте, такая мысль может возникнуть только от *незнания* реального положения дел. Масонство — принципиально «тайное» и к тому же мало изучавшееся в России явление. Роль же его была очень велика.

Приведу чисто личные, но, как представляется, многозначительные «примеры». Я родился, затем учился, наконец, стал служить в трех (последовательно) московских зданиях по адресам: Большая Молчановка, дом 5 (теперь — Новый Арбат, 17), Моховая, 11, и Поварская, 25 (Воровского, 25 а), в которых помещались соответственно родильный дом, Московский университет и Институт мировой литературы Академии наук. Все эти здания, слава Богу, сохранились и можно посмотреть на их фасады и разглядеть на них ясную масонскую эмблематику.

Обусловлено это, несомненно, тем, что здание университета было воздвигнуто (в 1786—1793 годах) под руководством его директора — виднейшего масона М. М. Хераскова, а особняк, в котором впоследствии разместился Институт мировой литературы, строился (закончен в 1829 году) для масона князя С. С. Гагарина; что же касается построенного в 1914 году (во время нового подъема масонства) дома, где я в 1930 году родился, мне не удалось точно выяснить, кто его заказывал и строил...

Могут сказать, что эти три факта недостаточно «представительны». Но все же вдумаемся: все три дома, сыгравшие «главную» роль в жизни одного москвича, оказываются связанными с масонством! Исходя из элементарных соображений «вероятности», придется признать, что масонство — очень широкое и влиятельное явление московской истории XVIII—XX веков...

Но вернемся к нашей основной теме.

* * *

Итак, одна из главных причин той — подчас очень длительной — недооценки явлений отечественной культуры, о которой так горячо говорил В. И. Вернадский, — чрезвычайно резкие и всесторонние перевороты в истории и соответственно в истории культуры, присущие России. Русская культура не раз как бы умирает и лишь гораздо позднее воскресает заново. Еще в 1830 году Пушкин писал: «...старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве». Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии...» Стоит заметить, что всего тридцатью годами ранее нельзя было бы назвать и этот «единственный памятник», ибо он еще не был открыт заново...

Но многое в России происходит поистине стремительно, и через каких-нибудь два десятилетия Пушкин уже не мог бы так говорить, поскольку целая плеяда исследователей и просто любителей российской словесности (в основном из круга славянофилов) открыла в «темной степи» (характерна в данном случае пушкинская чуткость: он сказал не о «пустыне», а о «темной степи», где трудны, но все же вполне вероятны «находки») допетровских времен неслыханные богатства словесности. Ныне же изданы, например, двенадцать объемистых томов серии «Памятники литературы Древней Руси» — и это только небольшая доля созданного и лишь меньшая часть сохранившегося до наших дней (в двенадцатитомнике нет, скажем, ни «Слова о законе и Благодати» Илариона, ни «Толковой Палеи», ни «Просветителя» Иосифа Волоцкого, ни «Степенной книги»).

Вполне очевидно, что весь этот «сюжет» предельно актуален, ибо за последние годы происходит вполне аналогичное воскрешение культурных ценностей, как бы «умерших» после 1917-го... Таким образом, «запоздания», о коих говорил Вернадский, имеют свои существеннейшие причины.

Вернадский сказал (эти слова уже приводились), что древнерусское искусство явилось перед людьми его поколения «совершенно забытое, восстанавливаемое и оживляющееся (то есть воскресающее. — В. К.), как в эпоху Возрождения из земли возвращались в своих остатках античное зодчество и скульптура». Это действительно так, но нельзя не заострить внимания на одном способном поразить воображение отличии: ведь в эпоху Возрождения дело шло об искусстве *чужих* (и давно переставших существовать) народов Эллады и Рима, а у нас — об искусстве собственного народа... Вот оно — «небывалое» и несущее в себе глубоко драматический, даже трагедийный смысл своеобразие русской культуры... Она не раз умирает, но умирает, чтобы воскреснуть и, значит (об этом также не следует забывать!), явиться в новорожденном обаянии...

И поэтому, в частности, ложна всецело негативная оценка того же петровского (и послепетровского) «отрицания» предшествующей культуры. В этом — *своеобразие* истории России и ее культуры, а не просто некое «безобразие», как утверждали и утверждают многие авторы...

Нисколько не менее важен другой аспект проблемы, намеченный В. И. Вернадским, — недооценка или даже прямое отвержение нераздельной связи культуры (и, конечно, литературы) с историей русского народа. Вернадский настаивает, например, на том, что великое искусство иконописи «было связано в течение поколений глубочайшими нитями со всей жизнью нашего народа» и что даже любой из создателей русской научной картины мира «теснейшим образом связан с той вековой работой, которую соверши-

ли русские землепроходцы», начиная со стародавних времен.

Творения русской культуры — органические плоды истории России, — таков исходный тезис. Решусь утверждать — вслед за В. И. Вернадским, — что эта проблема (культура как порождение истории России), казалось бы, достаточно ясная, изучена и тем более понята совершенно недостаточно. И дело здесь не только в выявлении того, как народно-историческое бытие «превращается», кристаллизуется в творения культуры (которые, о чем уже шла речь, не столько «отражения», «воспроизведения», сколько плоды истории, или, иначе, ее высший цвет). Дело и в том, что само имеющееся налицо научное освоение русской истории в силу целого ряда причин не способствует решению поставленной проблемы. Так, наиболее известные курсы истории России — это в самой своей основе «критические» или даже заостренно «критицистские» курсы, далекие от объективного понимания и толкования.

В обращенной к широкому читателю книге о С. М. Соловьеве его двадцатидевятитомная «История России с древнейших времен» оценена так: «...он создал наиболее полную, цельную и... наиболее обоснованную концепцию истории России, ставшую вершиной... историографии»[17].

Но есть и совсем другая оценка (разумеется, даже и не упомянутая в только что цитированной книге). Окончив «Войну и мир», Толстой взялся — уже не в первый раз — за чтение изданных к этому времени томов «Истории...» Соловьева и написал 4—5 апреля 1870 года в своем дневнике следующее:

«Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство?

Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что̀ грабили и разоряли?.. Кто и как кормил хлебом весь этот народ?.. Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции или Польше?..

История хочет описать жизнь народа — миллионов людей. Но тот, кто... понял период жизни не только народа, но человека... тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни... нужна любовь.

Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже...»

Вопросы, которые как бы ставит перед Соловьевым, да и большинством историков России Толстой[18], можно бы до бесконечности множить. Как совместить, например, представленное в их сочинениях сплошное «безобразие» русской истории с такими ее плодами, как «Слово о законе и Благодати» Илариона, храм Покрова на Нерли, «Предание» Нила Сорского, фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре и т. п.?

Толстой выявляет один из главнейших и поистине тиранических «стимулов», руководивших множеством историков России, — идею «прогресса» — едва ли ни самую популярную и едва ли ни самую легковесную из «идей» XVIII—XX веков. Историки не столько изучают историю, сколько *судят*, или, вернее даже *осуждают* ее в свете этой «идеи». К тому же идея эта, если можно так выразиться, оказывается предельно беспринципной.

Так, характеризуя эпоху конца XI — начала XIII веков, Русь беспощадно судят за «феодальную раздробленность», а переходя ко времени конца XV—XVI века, те же самые историки проклинают «деспотизм» российского единовластия. А между тем совершенно, казалось бы, бесспорно, что без этой самой «раздробленности» не могла бы создаться самобытная жизнь и культура Смоленска, Новгорода, Пскова, Твери, Ростова, Рязани и т. д., а без «единовластия» все это многообразное богатство не смогло бы слиться в великую общерусскую жизнь и культуру. И, между прочим, эта историческая «диалектика» (единое государство — раздробленность — новое единство и, как правило, «деспотическое») присуща истории *всех* основных стран Западной Европы, а вовсе не одной России...

Толстой говорит, что для познания истории нужна «любовь». Это звучит вроде бы совсем «ненаучно». Но если под этим понимать *приятие* тех или иных периодов и явлений русской истории такими, каковы они есть, толстовское слово вполне уместно. Известно превосходное пушкинское требование: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», — то есть принимать его творение в его реальном своеобразии. Это, в сущности, применимо и к исторической эпохе, тем более что Пушкин не раз сближал драму (где «автора» как бы и нет, а есть только поступки и высказывания героев) с «драмой» самой истории и, естественно, с воссозданием этой «драмы» в сочинении историка. Он писал о «падении Новгорода» в противоборстве с Москвой в XVI веке:

«Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, должен был изобразить... отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманный удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но *люди минувших дней, их умы, их предрассудки*. Не его дело *оправдывать и обвинять*, подсказывать речи. Его дело воскресить минувший век во всей его истине» (разрядка моя. — В. К.).

В этом рассуждении Пушкина вполне уместно будет заменить «драматического поэта» историком. И та «любовь», о которой как о необходимом качестве историка писал Толстой,—это любовь, или, скажем более нейтрально, *приятие* не Москвы и не Новгорода (тут-то как раз требуется «беспристрастие» в отношении борющихся и имеющих каждая свою *правоту* сил), а приятие самой великой *драмы* (или даже трагедии) истории.

Пушкин и как художник, и как историк обладал этой чертой в высшей степени. В «Борисе Годунове» беспристрастно воссозданы и Борис, и Григорий Отрепьев, и все остальные; столь же беспристрастен Пушкин (о чем уже сказано) и в художественном, и в собственно историографическом воссоздании Петра и его непримиримых врагов.

О несравненном, в сущности уникальном, даре и умении Пушкина точно говорит посвятивший свою жизнь познанию его наследия В. С. Непомнящий, исходящий из «фундаментального, основополагающего качества мироощущения Пушкина, а именно: для него *бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность*, в которой нет ничего «отдельного», «лишнего» и самозаконного — такого, что нужно было бы для «улучшения» бытия отрезать и выбросить...

Смерти и убийства, измены, предательства, виселицы и яд, трагические разлуки любящих, бушевание разрушительных природных и душевных стихий, крушение судеб, холодность и эгоизм, смертоносное могущество мелочных предрассудков и низменных устремлений — все это буквально наводняет и переполняет мир Пушкина... Почему, невзирая на весь трагизм этого мира, мы обращаемся к Пушкину вовсе не как к «трагическому гению», а как гению света, рыцарю Жизни?...»

Суть в том, подводит итог В. С. Непомнящий, что Пушкин «именно «во всей истине» ... «воскрешает» изображаемые события.

Во всей истине...

Если у большинства из нас роль точки отсчета играет какая-то часть истины, понятная нам и устраивающая нас, то у Пушкина такой точкой отсчета является «вся истина», вся правда, целиком, никому из людей, в том числе и автору, персонально не принадлежащая и не могущая принадлежать. Эта «вся истина» и есть солнце пушкинского мира, и вот почему, будучи полным сумрака и зла, он так светел и солнечен. Ведь правда, полная правда даст ясность, то есть верное представление о реальном порядке и реальной связи вещей... Без такого представления... невозможна *полная жизнь*, в которой человеческий дух только и может находить радость.

Мир Пушкина светел потому, что это не хаос, из которого можно извлечь любые комбинации элементов, вызывающие ужас или ненависть, тоску или отрицание ценностей, ощущение бессмыслицы и безнадежности, желание «все утопить» («Сцена из Фауста») или все перекроить по-своему... (а именно так и подается история России в массе сочинений! — В. К.); мир Пушкина — это в своем изначальном существе космос... в котором все неслучайно, все непроста, все осмыслено и по сути своей прекрасно...»[19]

Это относится, конечно, вовсе не только к художественным творениям Пушкина, но и ко всему его наследию — в том числе и собственно историческим сочинениям и заметкам. Но пушкинская традиция, увы, почти не продолжена. В исторических трудах о России весьма редко встречается это «беспристрастие», это приятие истории как она совершалась; выше шла речь о типичных нынешних «проклятьях» по адресу Петра и масонства рубежа XVIII—XIX веков (и это, понятно, только два частных «примера»).

И потому, ставя перед собой цель «вывести» русскую литературу из истории, показать, как она рождается из истории, приходится заняться и непосредственно самой русской историей, или, по меньшей мере, русской историографией, — с целью выявить и выставить в ней на первый план те сочинения, где русское историческое бытие воссоздано объективно, а не подвергается постоянной «критике», «суду» во имя «прогресса» и других отвлеченных и поверхностных «идеалов».

* * *

Размышляя о всецело господствующем критицизме в отношении русской истории — критицизме, нередко приобретающем и поистине экстремистский, и прямо-таки тотальный характер, — необходимо уяснить его наиболее глубокую основу.

Обращусь для этого к фигуре Ивана Грозного. Безусловное большинство историков и, далее, публицистов, писателей и т. п. рассматривают его как заведомо «беспрецедентного» и, в сущности, даже попросту патологического тирана, деспота, палача.

Нелепо было бы оспаривать, что Иван IV был деспотическим и жестоким правителем; современный историк Р. Г. Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению его эпохи, доказывает, что при Иване IV Грозном в России

---

[17] *Иллерицкий В. Е.* Сергей Михайлович Соловьев. — М., 1980, с. 175.

[18] Важно напомнить, что Толстой отнюдь не принадлежал к пристрастным «русофилам» и догматическим патриотам.

[19] *Непомнящий В.* Пророк. Художественный мир Пушкина и современность. — «Новый мир», 1987, № 1, с. 137, 138, 139—140.

осуществлялся «массовый террор», в ходе которого «было уничтожено около 3—4 тыс. человек» [20], — причем уничтожено во многих случаях явно безвинно и к тому же зверски, с истязаниями и наиболее тяжкими способами казни.

Но нельзя все же забывать или, вернее, не учитывать, что западноевропейские современники Ивана Грозного — испанские короли Карл V и Филипп II, король Англии Генрих VIII и французский король Карл IX самым жестоким образом казнили сотни тысяч людей. Так, например, именно за время правления Ивана Грозного — с 1548 по 1581 год — в одних только Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, «число жертв... доходило до 100 тыс.» [21] — причем речь идет прежде всего о казненных или умерших под пытками «еретиках» (кстати, даже те, кто не изучал специально историю Европы, знают о чудовищном и даже садистском терроре Филиппа II из популярного исторического романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»).

Предельная жестокость казней выражалась в том, что значительная часть жертв сжигалась заживо на глазах огромной толпы и, как правило, в присутствии самих королей; по вполне достоверным сведениям, было «сожжено живьем 28 540 человек» [22].

Французский король Карл IX 23 августа 1572 года организовал и принял активное «личное» участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито «более 8 тыс. гугенотов» [23] — *только* за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму; таким образом, за одну ночь было уничтожено примерно столько же людей, сколько за все время террора Ивана Грозного! «Ночь» имела продолжение, и «в общем го Франции погибло тогда в течение двух недель около 30 тыс. протестантов» (Лозинский. Цит. соч., с. 264. — Разрядка моя. — В. К.).

В Англии Генриха VIII только за «бродяжничество» (дело шло в основном о согнанных с превращаемых в овечьи пастбища земель крестьянах) вдоль больших дорог «было повешено 72 тысячи бродяг и нищих» [24]; топор палача отсек в 1535 году и голову крупнейшего тогдашнего государственного деятеля и мыслителя Англии Томаса Мора.

Словом, если на Руси Ивана Грозного было казнено 3—4 тысячи человек (об этом говорит не только Скрынников, но и другой современный историк, также несколько десятилетий изучавший эпоху: «жертвами царского террора стали 3—4 тыс. человек»; однако он же почему-то утверждает, что-де «царский произвол приобретал... характер абсолюта» [25], то есть «беспрецедентный» характер), то в основных странах Западной Европы (Испании, Франции, Нидерландах, Англии) в те же времена и с такой же жестокостью, а также сплошь и рядом «безвинно» казнили никак не менее 300—400 тысяч человек! И все же — как это ни странно или даже поразительно — и в русском, и в равной мере западном сознании Иван Грозный предстает как ни с кем не сравнимый, уникально чудовищный тиран и палач...

Сей приговор почему-то никак не колеблет тот факт, что количество западноевропейских казней превышает русские на два порядка, в сто раз; при таком превышении, если воспользоваться популярной в свое время упрощенной гегельянской формулой, «количество переходит в качество», и зловещий лик Ивана Грозного должен был вроде бы совершенно померкнуть рядом со страшными ликами Филиппа II, Генриха VIII и Карла IX. Но этого не происходит. Почему? Кто повинен в таком возведении Ивана IV в высший ранг ультратирана и сверхпалача, хотя он безнадежно «отставал» с этой точки зрения от своих западноевропейских коронованных современников?

Нет сомнения, что в этом повинны прежде всего русские общественные деятели, историки, публицисты, да и русские люди вообще. И с определенной точки зрения главным виновником этого представления об Иване Грозном как о совершенно исключительном, из всех рядов выходящем тиране и палаче является... сам Иван Грозный, который, например, писал в 1573 году (то есть через год после отмены опричнины) в своем получившем широкую известность послании в Кирилло-Белозерский монастырь: «...мне, псу смердящему, кому учити, и чему наказати, и чем просветити?» И обвинял самого себя в постоянных «скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе», в том, что он — «нечистый и скверный душегубец» [26].

Вполне естественно было счесть Ивана Грозного непревзойденным душегубцем, если уж он и сам это всецело признает... К тому же позднее, в 1582 году, Иван Грозный официально объявил о «прощении» (как бы сказали ныне, о реабилитации) всех осужденных при нем людей и передал в монастыри огромные деньги для их вечного поминания, — по сути дела полностью признав их пострадавшими безвинно...

Ничего подобного никогда не делали западноевропейские властители современники Ивана Грозного. Не менее характерно и то, что западная церковь всячески одобряла и благословляла казни; так, сообщает историк, «папа Григорий XIII при известии о «подвигах» Варфоломеевской ночи иллюминировал Рим и важнейшие пункты своей области, выбил медаль в честь этого богоугодного дела и отправил в Париж кардинала Орсини для поздравления «христианнейшего» короля и его матери» — Карла IX и Екатерины Медичи» [27].

Между тем именно в это время митрополит Московский Филипп в Успенском соборе принародно отказался благословить Ивана Грозного (несмотря на его троекратную просьбу об этом), во всеуслышание сказав: «За олтарем неповинно кровь льется христианская, и напрасно умирают». Филипп был сослан в Тверь и, по преданию, тайно убит там, но уже в 1591 году, через семь лет после смерти царя, его причислили к лику святых. И святой Филипп — один из наиболее почитаемых на Руси.

Менее широко известен его прямой предшественник (образ Филиппа как бы заслонил его) — святитель Герман. Он принадлежал к славному роду Полевых, неразрывно связанному с деятельностью одного из величайших русских святых Иосифа Волоцкого — человека несгибаемого духа и воли, бесстрашно выступавшего против Ивана III (и затем многократно оклеветанного историками и публицистами, что длится и в наше время). В мае 1566 года (опричный террор начался в 1565) Иван Грозный возвел Германа Полева в сан митрополита, но новый глава Церкви тут же объявил, что царя ждет страшный суд за содеянное. Иван Грозный отрешил Германа от его поста, и 27 июля 1566 года митрополитом (до 4 ноября 1568 года) стал Филипп, в конечном счете пошедший по пути Германа.

Резкий контраст в отношении к злодейству главы западной и глав русской Церкви в высшей степени характерен. О этом контрасте писали многие русские мыслители и писатели. Приведу размышление И. В. Киреевского о различии «западного» и русского человека:

«Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием, почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостию ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми... Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки... даже в самые страстные минуты увлечения всегда готов осознать его нравственную незаконность».

И слова Достоевского: «...Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности) никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду!» [28].

С этой русской «чертой» жестко столкнулись в XX веке большевики; в 1908 году Ленин, исходя из впечатлений только что закончившейся первой русской революции, писал о Толстом: «С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий...»

Как ни странно, автор этих памфлетных строк не вдумался в тот факт, что обе «стороны» на самом деле едины и неразрывны: бескомпромиссный протест против лжи и фальши в обществе, и в равной мере в самом себе. И напрасно здесь сказано «русский интеллигент»; на следующей же странице Ленин сам себя опроверг:

«В нашей революции... совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов. Большая часть крестьянства плакала и молилась... совсем в духе Льва Толстого». И даже более того: «Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы, — но... через пару дней, иногда через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел, ложились под розги... — совсем в духе Льва Николаевича Толстого!» [29]

Здесь совершенно правильно выявлено единство общего народного представления о добре и зле, равно присущего графу и великому писателю Толстому, и каждому, любому крестьянину (в том числе и облаченному в солдатскую форму). Против этого сформировавшегося в течение веков русского нравственного склада и боролись всеми силами большевики...

Могут сказать, что большевикам, начиная с 1917 года, удалось переделать русский народ, выбить из него его извечную сущность. Но следует задуматься над тем, что за все три с половиной десятилетия (1918—1953) массового террора в России среди людей, принимавших главные, основные решения, почти не было русских; когда же после смерти Сталина-Джугашвили во главе страны впервые после 1917 года оказались русские, террор сразу же прекратился; с 1954 по 1984 год в стране, по

[20] Скрынников Р. Г. Иван Грозный.— М., 1975, с. 191.

[21] Григулевич И. Р. История инквизиции. — М., 1970, с. 271. Стоит сказать о том, что массовый террор XVI века нередко целиком «списывают» на инквизицию. Но это неверно; в Англии вообще не было инквизиции, а террор был не менее массовым (см. ниже); еще более важно отметить, что инквизиция представляла собой только судебную инстанцию, а приговор приводился в исполнение по воле королевской власти и ее средствами.

[22] Лозинский С. Г. История папства.— М., 1988, с. 282.

[23] Большая советская энциклопедия, третье издание, т. 4. М., 1971, с. 312.

[24] Осиновский И. Н. Томас Мор. — М., 1974, с. 62.

[25] Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. — Л., 1988, с. 147, 122.

[26] Памятники литературы Древней Руси, Вып. 8-й. М., 1986, с. 144.

[27] Лозинский С. Г. История папства. — М., 1986, с. 264—265.

[28] См. подробную характеристику безграничного стремления русских людей к крайнему «самокритицизму», самоосуждению в моей статье «И назовет меня всяк сущий в ней язык...». Заметки о духовном своеобразии России» («Наш современник», 1981, № 11, или в книге: Вадим Кожинов. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. — М., 1990).

[29] Ленин В. И. О литературе и искусстве. — М., 1986, с. 132, 133, 134.

существу, не было *ни одной* политической казни (не считая убитых при подавлении «бунтов», что бывает в любой стране).

Или еще выразительный пример. Все знают о Чапаевской дивизии; но мало кому известно, что в ее составе находилось несколько сот так называемых «интернационалистов», то есть всякого рода иностранцев, многие из которых были либо командирами, либо *пулеметчиками*. В книге, подготовленной ветеранами дивизии, имена более двухсот «интернационалистов» — весьма выразительный список[30]. Между тем обычно «чапаевщину» понимают как воплощение чисто русской стихии (хотя и сам Чапаев был чувашского происхождения).

Но вернемся к Ивану Грозному. Не кто иной, как Сталин, резко осудил его за его «русскость»: «Иосиф Виссарионович отметил, что он (Иван IV. — В. К.)... не довел до конца борьбу с феодалами, — если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом *целый год кается и замаливает «грех»* (именно так — в кавычках. — В. К.), тогда как ему нужно было бы действовать...»[31]

Но если уж сам Иван Грозный так себя вел, вполне понятно отношение к нему. Его западные современники Генрих VIII или Карл V — исключительно высоко почитаемые в своих странах исторические деятели, которым воздвигнуты гордые памятники. Между тем даже памятник Тысячелетия России в Новгороде (1862), где воссозданы облики 109 русских деятелей, отвергнул Ивана Грозного; его фигура там отсутствует (не говоря уже о «специальных» монументах — их нет).

И Россия сумела убедить и себя, и весь остальной мир, что угнетателя и злодея таких масштабов никогда дотоле не рождала Земля. Одно из не столь уж крупных выражений *мирового зла* было превращено в будто бы уникальное, ни с чем не сопоставимое на Земле «чисто» *русское зло*.

Подчас те или иные историки пытались как-то скорректировать это заведомо ложное представление. Так, например, польский историк России Казимир Валишевский писал в своем сочинении «Иван Грозный» (1904), изданном на французском языке: «В свой век Иван имел пример... в 20 европейских государствах, нравы его эпохи оправдывали его систему... Просмотрите протоколы... того времени. Ужасы Красной площади покажутся вам превзойденными. Повешенные и сожженные люди, обрубки рук и ног, раздавленных между блоками... Все это делалось средь бела дня, и никого это не удивляло, не поражало»[32].

Но возражение Валишевского (хотя он был в свое время очень популярным автором) отнюдь не было услышано. И существенную причину этого невольно, бессознательно объяснил сам Валишевский, заметив, что на Западе массовое и жесточайшее уничтожение людей «никого не удивляло, не поражало». Совсем по-иному обстояло дело в России...

В последнее время в одном из обращенных к широкому читателю сочинений была предпринята попытка снять ореол «исключительности» с террора Ивана Грозного: «Иван IV был сыном... жестокого века», — пишут виднейшие историки этой эпохи, — с присущим ему «истреблением тысяч (на деле — *сотен тысяч*. — В. К.) инакомыслящих... деспотическим правлением монархов, убежденных в неограниченности своей власти, освященной церковью, маской ханжества и религиозности прикрывавших безграничную жестокость по отношению к подданным... Французский король Карл IX сам участвовал в беспощадной резне протестантов в Варфоломееву ночь, 24 августа 1572 г., когда была уничтожена добрая половина родовитой французской знати. Испанский король Филипп II... с удовольствием присутствовал на бесконечных аутодафе на площадях Вальядолида... В Англии, когда возраст короля или время его правления были кратны числу «семь», происходили ритуальные казни: невинные жертвы должны были якобы искупить вину королевства. По жестокости европейские монархи XVI в. ... были достойны друг друга»[33].

Но это — только небольшая «оговорка» в сочинении, которое в целом не выходит за рамки привычного возведения Ивана Грозного в «сверхпалачи». Так, авторы бегло отмечают, что «цена, которую уплатила Россия за ликвидацию политической раздробленности, не превосходила жертв других народов Европы, положенных на алтарь централизации. Первые шаги абсолютной монархии в странах Европы сопровождались потоками крови подданных» (там же, с. 132). Тут бы и указать, что эти «потоки» на Руси в действительности были в *сто раз* менее «полноводными»... но слишком сильна инерция. И уже после издания цитируемой работы, непосредственно в наши дни появляется сочинение воинствующего разоблачителя «русского безобразия» В. Б. Кобрина, который пишет, что-де эпохе Ивана Грозного присущ «невероятный масштаб репрессий, кажущийся *избыточным*»[34]. «Невероятный», «избыточный» — по сравнению с чем? С сотнями тысяч замученных и казненных тогда в Испании, Франции, Англии, Голландии? Кобрин ссылается на, так сказать, бесспорный авторитет: «В. И. Ленин, — пишет он, — подчеркивал, что русское самодержавие «азиатски-дико»,

[30] См.: *Хлебников В. М., Евлампиев П. С., Володихин Я. А.* Легендарная Чапаевская. — М., 1970, с. 356—361.

[31] *Черкасов Н. К.* Записки советского актера. — М., 1953, с. 382, 383. (Разрядка моя. — В. К.).

[32] *Валишевский К.* Иван Грозный. — СПб., 1912, с. 291—292.

[33] *Зимин А. А., Хорошкевич А. Л.* Россия времени Ивана Грозного. — М., 1982, с. 125.

[34] *Кобрин В. Б.* Иван Грозный: Избранная рада или опричнина. — В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала XX в. М., 1991, с. 161.

что «много в нем допотопного варварства» (там же, с. 146). Но ведь европейцы Филипп II или Карл IX далеко превзошли «азиата» Ивана IV!.. Кобрин оспаривает количество жертв террора, выясненное Р. Г. Скрынниковым: «Погибло, — пишет он, — от трех-четырех тыс. (по подсчетам Р. Г. Скрынникова) до 10—15 тыс. человек (как полагает автор настоящего очерка)» (цит. изд., с. 137).

Различие в том, что Скрынников опирается на тщательнейшее изучение вопроса, а Кобрин попросту «полагает». Но речь идет все-таки максимум о полутора десятках тысяч, а не о сотнях тысяч, как в Западной Европе... Почему же Кобрин твердит о «невероятном масштабе репрессий» и повторяет ленинские изречения об некой «азиатской дикости» и «допотопном варварстве»? Ленина, между прочим, еще можно «понять»: он стремился как-то «оправдать» революционный террор, несший гибель миллионам. Но для чего Кобрин пытается внушить читателям, что-де «русский» террор «невероятен» по масштабу? При этом Кобрин идет на сознательную ложь, ибо в его сочинении все же промелькнуло знание реального положения вещей: «По всей Европе, — написал он, — в те времена, когда идет становление единых государств, как по заказу появляются на престолах тираны — Людовик XI во Франции, Генрих VIII в Англии, Филипп II в Испании... Не закономерность ли?» (цит. соч., с. 145). Вот бы и поговорить об этой «закономерности» и действительных «масштабах» порождаемых ею репрессий в Европе и в России. Но Кобрин более ничего об этом не сказал, и, конечно же, его цитированная только что фраза едва ли окажет какое-либо воздействие на читателей.

* * *

Сокрушительные проклятья по адресу Ивана Грозного начались при его жизни и продолжаются до нашего времени. И их невозможно и ни в коем случае не следует прекращать — иначе *мы перестанем быть русскими*.

Но вместе с тем необходимо все же глубоко и основательно понять, что дело вовсе не в некой исключительности, неком «превосходстве» русского зла над мировым злом, а, если угодно, в исключительности *русского отношения к своему, русскому злу*.

Мы еще вернемся в этой книге к Ивану Грозному. Здесь же скажу так: нам следует в конечном счете не сгорать от стыда за то, что у нас был Иван Грозный (ибо ведь он далеко «отстал» в сеянии зла от своих испанских, французских, английских современников), а с полным правом *гордиться* тем, что мы, русские, вот уже четыреста с лишним лет никак не можем примириться со злом этого своего царя... Впрочем, это явно напрасная надежда: русские люди в своем большинстве все равно будут терзаться тем, что у них был Иван Грозный.

Стоит привести в связи с этим еще один выразительный «пример». В 1847 году Александр Герцен эмигрировал из России, поскольку считал свою родину средоточием зла, своего рода пик которого он видел в казни пяти участников восстания 14 декабря. Он не мог не знать, что с 1775 (подавление пугачевского бунта и казнь шести его главарей) и до 1847-го — то есть почти за 75 лет, — казнь декабристов была *единственной* казнью в России. И все же он отказывался жить в стране, где возможна такая неслыханная жестокость.

Однако не прошло и полутора лет после отъезда Герцена в благословенную Европу, и непосредственно на его глазах были в течение всего трех дней расстреляны *одиннадцать тысяч* участников парижского июньского восстания 1848 года. Поначалу бедный Герцен почти обезумел от ужаса и написал своим друзьям в Москву совершенно «недопустимые» слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу..!» Сообразив, что его оголтелые западнические друзья будут крайне возмущены таким пожеланием, он бросил им обвинение: «Вам хочется Францию и Европу в противоположность России так, как христианам хотелось рая — в противоположность земле...

Я стыжусь и краснею за Францию...

Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается...»

Это последнее наиболее важно: Герцен «стыдится», а французы — нисколько. Но Герцен все же остается русским: отдышавшись после шока 1848 года, он через восемь лет начал издавать в Лондоне альманах «Полярная звезда», на обложку которого поместил силуэты пяти мучеников-декабристов — как неумолимый укор России. И Европа «согласилась» с Герценом: в массе изданных там сочинений казнь декабристов квалифицируется как выражение беспрецедентной жестокости, присущей именно России...

Могут сказать, что после 1917 года Россия сравнялась или даже превзошла Запад с точки зрения массовости и жестокости террора. Однако нетрудно доказать, что после Октября началось очевидное *подражание* типичному для Запада революционному террору. Вот очень выразительная последовательность руководящих указаний Ленина.

Через десять дней после Октябрьского переворота, 17 ноября 1917 года он заявил: «Нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали *безоружных* людей (тогда было гильотинировано публично более 16 тысяч человек. — В. К.) мы не применяем» (Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 35, с. 63). Таким образом, русская революция здесь прямо противопоставлена французской, которая, помимо гильотины, топила переполненные людьми барки, палила из пушек картечью по связанным вместе веревками десяткам и сотням крестьян и т. п.

Однако прошло немногим более полугода, и Ленин «пересматривает» свою позицию в директивной речи 5 июля 1918 года: «Нет, революционер, который

не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одиой революции и эпохи гражданской войны, в которых ие было бы расстрелов»; в частности, те, кто «не хочет продавать хлеб по ценам, по которым продают средние крестьяне, те — враги иарода, губят революцию и поддерживают насилие, те — друзья капиталистов! Война им и война беспощадная!» (т. 36, с. 503, 506). Это полностью соответствует практике французской революции, только вместо «друзья капиталистов» там говорилось «друзья аристократов» (из числа казненных около 90 процентов не принадлежали ни к аристократии, ни к духовеяству).

20 августа 1918 года Ленин так отвечает на западноевропейские обвииения: «О, как гуманна и справедлива эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре... Английские буржуа забыли свой 1649, французы свой 1793 год» (т. 37, с. 59). И 10 ноября 1918-го о расстреле Николая II: «...в Англии и Франции царей казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы только опоздали с нашим царем» (там же, с. 177).

Именно обращением к Французской революции Ленин обосновывает и оправдывает террор, направленный уже не против «капиталистов», а против народа как такового. В июле 1919 года он пишет:

«Никогда не бывало в истории и не может быть в классовом обществе гражданской войны эксплуатируемой массы с эксплуататорским меньшинством без того, чтобы часть эксплуатируемых не шла за эксплуататорами, вместе с ними, против своих братьев. Всякий грамотный человек признает, что француз, который бы во время восстания крестьян в Вандее за монархию и за помещиков стал оплакивать «гражданскую войну *среди крестьян*», был бы отвратительным по своему лицемерию лакеем монархии» (т. 39, с. 143).

Крестьяне Вандеи (северо-западная часть Франции) выступили против нового, гораздо более жестокого деспотизма революции, и «по наивысшим оценкам погиб 1 млн. человек, а по наиболее вероятным — 500 тыс. ...в результате... целые департаменты обезлюдели»[35]. Поскольку во Франции было тогда примерно 20 млн. крестьян, только в Вандее их, следовательно, погибло от 2,5 до 5 процентов... Это вполне соответствует доле уничтоженных на Дону и на Тамбовщине в 1919 и 1921 годах крестьян России. Так что после 1917 года Россия действительно «догнала» Запад по размаху террора. Но это отнюдь не вытекало из русских «традиций», что ясно видно из многократных апелляций Ленина к западноевропейскому «опыту».

А. И. Солженицын с полной обоснованностью сказал в своем «Архипелаге ГУЛАГе»: «Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет... ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее?»[36]. Да, русская жизнь не готовила людей к столь массовому и беспощадному террору...

И еще одно необходимое замечание. В 1989 году Франция торжественным и восторженным празднеством встретила юбилей своей революции. Между тем трудно усомниться, что в России отныне, после — пусть и неполного — выявления истинной картины революции, будет когда-либо возможно ее восхищенное прославление (хотя, конечно, историография еще даст объективный анализ совершившегося), — так же, как невозможно в России «оправдание» Ивана Грозного.

* * *

И вот какой итог следует подвести предшествующим размышлениям. Говоря об отечественной истории, необходимо различать две принципиально разные вещи: реальное содержание и значение той или иной эпохи, того или иного явления и, с другой стороны, русское нравственное отношение к этим эпохам и явлениям, нашу этическую «оценку» их. Ничто не заставит русских людей «отменить» нравственный приговор тому же Ивану Грозному, но, изучая историю его времени, необходимо все же видеть в ней одно из (и не столь уж чудовищное на фоне его западноевропейских современников) проявлений всемирного зла, а не нечто исключительное, «чрезвычайное» и — что особенно возмутительно! — присущее именно и только русской истории.

Как ни прискорбно, в большинстве сочинений об отечественной истории, созданных и в прошлом, и в наше время, господствует тот заостреный моралистический «критицизм», о котором шла речь выше. Лев Толстой был совершенно прав в своей резкой характеристике «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, но то же самое и с еще большими основаниями следует сказать о множестве сочинений о русской история, изданных после 1917 года.

Моя книга опирается в основном на известные очень узкому кругу людей работы русских историков, изданные в последние десятилетия, — работы, которые в той или иной степени «объективны». С ними я неразрывно связываю и осмысление судьбы русского искусства слова, или, шире, русской словесности, или, наконец, просто русского слова.

Это тем более необходимо, что за последние десятилетия изучение истории искусства слова почти полностью игнорирует, как бы даже не замечает работы многочисленных современных историков и археологов, заслуживающие самого пристального внимания.

Известный историк Руси В. Т. Пашуто (1921—1983) писал в 1982 году, стремясь открыть литераторам глаза на тот факт, что от них как-то «ускользнул гигантский сдвиг, который произошел в исторической науке за последнюю четверть века (то есть с середины 1950-х годов. — В. К.), а сохранились в памяти со школьных лет лишь недостатки, рожденные историческим волюнтаризмом...»[37].

В том же году вышла (посмертно) книга виднейшего археолога П. Н. Третьякова (1909—1976), который обоснованно утверждал, что археологическое исследование Древней Руси «решительным образом изменилось за последние 50 лет, особенно в 50—70-х гг. текущего столетия»[38].

И эти оценки, безусловно, разделит каждый беспристрастный наблюдатель, если познакомится со всем объемом сделанного в историографии и археологии Руси за 1950—1980-е годы.

Однако от подавляющего большинства историков русской литературы эти достижения в самом деле «ускользнули». Выразительным примером может служить в этом отношении дискуссия «Фольклор и история», развернувшаяся в 1983—1985 годах на страницах журнала «Русская литература», — дискуссия, посвященная проблеме соотношения древнерусской истории и былинного эпоса. Она продолжалась три года, в ней приняли участие тридцать авторов, но за исключением одного из них — М. Б. Свердлова[39] — никто, в сущности, не опирался на новейшие (конца 1950 — начала 1980-х годов) исследования историков Древней Руси, хотя, между прочим, в первой же, открывшей дискуссию, статье недвусмысленно утверждалось, что с начала 1960-х годов «исследование вопроса об историзме былин застывает на мертвой точке... В чем же причины наметившегося застоя? Главная из них, на наш взгляд, заключается в том, что новейшие исследователи былин придерживаются традиционного взгляда на ход исторического развития средневековой Руси... Однако наука не стоит на месте, и ныне мы не можем довольствоваться тем, что удовлетворяло нас 30—40 лет назад»[40].

Совершенно верное, но, увы, почти не осуществляемое практически предложение. И речь идет, конечно, отнюдь не только об изучении исторических корней былинного эпоса: вся современная история русской литературы (за редкими исключениями) по сути дела не имеет существенной связи с исторической наукой, достаточно плодотворно развивавшейся за последние десятилетия. Во избежание недоразумений отмечу, что я имею в виду изучение не одной только литературы Древней (X—XIII вв.) и Средневековой (XIV—XVII вв.) Руси, но историю отечественной литературы в целом, то есть до XX века включительно.

И дабы преодолеть тот «застой», о котором — на примере изучения древнего эпоса — говорили И. Я. Фроянов и Ю. И. Юдин, необходимо, так сказать, открыть границу между исследованиями истории литературы и исторической наукой. В свое время этой границы как бы вообще не существовало, ибо такие историки литературы, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский или Н. С. Тихонравов, являли собой чуть ли не в равной мере и филологов и историков. Но всеобщая тяга к специализации, дифференциации знания привела в конце концов к отчуждению филологии и истории. Был бы, конечно, совершенно неосновательным призыв вообще отказаться от специализации, но так или иначе дальнейшее плодотворное изучение истории русской литературы, по моему убеждению, немыслимо без восстановления теснейшей связи литературной науки с современной исторической наукой.

В этом — одна из главных целей моей книги, которая, что вполне естественно, начинается с характеристики современных представлений об истоках и первых этапах истории Руси. Хотя имеются в виду вовсе не только эти ранние стадии, но соотношение истории и литературы вообще, начинать, я полагаю, следует с начала.

Но прежде одно необходимое пояснение. В предисловии к этой книге я стремился прежде всего показать, какая неразделеьная связь — пусть и далеко не всегда явная — объединяет всю тысячедвухсотлетнюю историю Руси. Этим обусловлены краткие «экскурсы» и в древность, и во времена Ивана Грозного, и в эпоху революции XX века.

Теперь же я перехожу к размышлению об истории Руси и русского Слова в ее временной последовательности.

Отечественную историю с достаточными основаниями можно разделить на три периода, каждый из которых занимает примерно четыре столетия: 1) от истоков государственности до Монгольского нашествия (то есть с конца VIII до второй трети XIII века), затем 2) до Смутного времени (то есть начала XVII века) и, наконец, 3) дальнейший период — до революции XX века, который, в сущности, еще не завершился.

Мы обращаемся теперь к начальному периоду, которому и посвящена первая часть книги.

Продолжение следует

---

[35] Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. — М., 1960, с. 339.

[36] Солженицын Александр. Архипелаг ГУЛАГ. — М., 1989, т. 1, с. 99.

[37] Пашуто В. Литература и история: пути творческого содружества. — «Литературное обозрение», 1982, № 7, с. 13.

[38] Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. — Л., 1982, с. 5.

[39] См.: Свердлов М. Б. Об историзме в изучении русского эпоса. — «Русская литература», 1985, № 2, с. 78—90.

[40] Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Об исторических основах русского былинного эпоса. — «Русская литература», 1983, № 2, с. 91, 92.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: уроки сопротивления

СТАТЬЯ V

РАЗБУДИ СПЯЩИХ!

Осенью 1611 года нижегородский староста Козьма Захарьевич Минин-Сухорук, стоя на ступенях собора Святого Спаса, объявил о бывшем ему видении. «Явился Св. Сергий и сказал мне: разбуди спящих».

Народ, расходившийся с обедни, обступил Минина, и он, вдохновляясь, произнес слова, которым суждено было войти в учебники отечественной истории: «Православные люди! Коли нам похотеть подать помощь Московскому государству — не пожалеем животов наших, да не токма животов, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу отдадим; будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную веру... Дело великое мы совершим, если нас Бог благословит, слава будет нам от всей земли Русской».

На исходе лета следующего, 1612 года русское ополчение, поднятое призывом Минина, увидело золотые главы московского Кремля. Еще не окончательная победа! Предстояла двухмесячная битва за Москву. Впереди была изматывающая борьба по всей России — с иноземцами, поляками и литвой, с московскими предателями. И все же судьба страны решилась тогда, летом 1612 года.

Ныне мы празднуем 380-летнюю годовщину подвига предков. Празднуем в обстоятельствах, слишком напоминающих Смутное время. Ту пору, когда нашу землю терзали чужестранцы: шведы с северо-запада (воспользовавшись смутой, они заняли тысячелетнюю твердыню — Новгород), татары с юга, черемисы с востока, совершали набеги и свои, украинцы. А в Москве, православной столице, сидели изменники-бояре и польское войско гетмана Ходкевича, осквернявшее церкви, убивавшее и мучившее русских.

Былое подернуто дымкой героики. нам кажется, что трудности превозмогли люди особенные — «богатыри, не мы». А между тем великое дело совершено вовсе не героями и не богатырями. Такими же, как мы, людьми, поначалу растерянными и покинутыми. Изведавшими горечь неудач. Еще вчера не знавшими, во что и кому верить. О них говорилось в летописях: человек, встретивший в лесу человека, спешил схорониться в чаще, ибо не знал, чего ждать от встречи.

Вот из кого формировалось ополчение. В разношерстном стане случались распри. Не только предводителям — престарелому ростовскому митрополиту приходилось утихомиривать буйство. Более полугода потребовалось войску, чтобы пройти недальний путь от Нижнего до Ярославля, а потом до Москвы.

И все-таки они спасли Москву, отстояли Россию. Что поддерживало Минина и Пожарского? Сила пробудившихся. Сбылось реченное Сергием: Россия будто очнулась от морока и с ужасом огляделась окрест. И потекли пожертвования на ополчение. Отдавали сами скопленное в течение всей жизни. Одна вдовица, сообщают летописи, пожертвовала почти все достояние — 10 из 12 тысяч рублей. У тех, кто не отдавал добровольно определенную на сходе пятую часть имущества, ее забирали силой — при общем одобрении. А те, кто не имел ничего, самих себя продавали в кабалу и давали деньги на дело освобождения.

И сегодня перед теми, кому дорога Русская земля, стоит та же задача: разбудить спящих. Может показаться, что ныне важнее другое — организовать поднявшихся. Посмотрите на московские демонстрации, проснувшихся немало.

Конечно, организовать тех, кто готов отстаивать свой национальный дом. И все-таки главное — достучаться до дремлющих. Ведь если бы вся Москва вышла на улицы, кто посмел бы встать на ее пути! И если сегодня новые кремлевские бояре пытаются диктовать свою волю десяткам тысяч людей, запрещают, разгоняют демонстрации — это оттого, что рядом с пробудившимися тысячами не встали пока миллионы.

Встанут — организационная воля сама родится в живом единстве, многократно усилив направляющие импульсы уже имеющихся структур. Так было в Приднестровье, в Нарве — всюду, где большинство очнулось от спячки.

Я храню газету «Новости» из Приднестровья. Номер от 14 декабря 1991 года, на первой странице которого портреты и некрологи двух мужественных молодых борцов за свободу своей земли. А на второй полосе под заголовком «Не отступать!» — письмо родителей юноши из Рыбницы, одного из тех, кто встал на место погибших: «Мой сын вчера вечером вместе с другими бойцами батальона «Днестр» уехал в эту горячую точку нашей республики (в Дубоссары, где произошло кровопролитное столкновение с войсками Молдовы. — **А. К.**). Никому не понять материнских тревог, когда знаешь, что в твоего сына, в твою кровинушку, нацелены дула автоматов. Но и отступать мы не можем».

Народ, охваченный таким порывом самопожертвования, уже внутренне, духовно организован. Тут не надо никого упрашивать, обзванивать, проверять. Встают сугубо практические вопросы: как одеть, что дать в руки, куда направить?

Не обязательно в сражение. В Приднестровье из-за провокаций Кишинева дело дошло до вооруженных столкновений, в Нарве в конце 1991 года обострилось нравственное противоборство. Не меньшего накала.

Воспользовавшись августовскими событиями в Москве, эстонское правительство разогнало Советы в городах с преобладающим русским населением — Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ. Новые выборы назначили на конец года. Лишенные полномочий депутаты подвергались дискриминации, их травила «независимая» пресса. В то же время таллиннское правительство понимало, что нереалистично рассчитывать на победу «народного фронта» в городах, где чуть ли не 90% населения — русские. Ставку сделали на русскоязычных «демократов», охотно ухватившихся за роль коллаборационистов.

Возник блок «Демократическая Нарва», двойник «Демроссии». Его кандидаты ничего лучшего не придумали, чем грозить землякам эстонскими полицейскими (именно тогда впервые обозначилась общая тяга «демократов» к полицейской дубинке как самому весомому аргументу; видно, недаром народ окрестил ее «демократизатором»).

Процитирую любопытнейший документ: «Результаты выборов фактически покажут степень лояльности нарвитян к Эстонской Республике. Если пройдут кандидаты от блока «Демократическая Нарва» — значит, нарвитяне подтвердят свою лояльность к Эстонской Республике и свой демократический выбор и вправе рассчитывать на поддержку эстонской общины, например в вопросах гражданства. Если же блок «Демократическая Нарва» потерпит поражение и в городской Совет пройдут те же люди... то это, несомненно, вызовет негативную реакцию со стороны эстонской общины и ее представителей в Верховном Совете и Комитете граждан со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Если мыслима квинтэссенция человеческой низости — вот она, перед вами. «Беседа с кандидатом в депутаты Нарвского городского Совета Юрием Виноградовым», газета «Эстония» (16.10.1991 г.).

Впрочем, стоит ли уделять столько места периферийным предвыборным страстям? Стоит! Сегодня Нарве грозят эстонскими карами, если она не поддержит «демократов». Завтра нам всем будут грозить — американскими. Способны и на такое. Из-за них нормальное слово «демократ» стало ругательством.

Как поведут себя москвичи в ситуации навязываемого им выбора? Наверное, задумаются в нерешительности. А жители маленькой Нарвы, не колеблясь, избрали всех депутатов прежнего, разогнанного эстонцами городского Совета.

Основной массе населения России еще предстоит пройти путь, выводящий лучших ее сыновей на защиту своей земли. Мы только очнулись. И, как это бывает, в сознании, не вполне освободившемся ото сна, фантастически искажаются очертания реальности, складываясь в причудливые образы. Общество проходит сквозь их череду. Сквозь стадию у т о п и й.

Первая из них — рыночная. Сейчас она как будто исчерпывает себя. Иллюзии сохранили только те, от кого газетный лист и телеэкран напрочь заслонили действительность. Съедены последние прошлогодние запасы, а они все талдычат о «светлом рыночном будущем»!

Забавный диалог двух почтенных матрон услышал я на митинге «Демроссии» у «Белого дома». «Мы-то знаем»,— не скрывая гордости, говорила одна. «Ну, мы-то давно знаем, — напористо перебила ее другая,— газета «Московский комсомолец» писала...» Меня поразило сознание собственной мудрости, прозвучавшее в ее словах. Удивил и источник знания: ну, «Талмуд» — это хоть как-то можно было бы понять, а то «газета (именно так, официально, с благоговением!) «Московский комсомолец». И уж совсем смешно — орган столичных недорослей (имею в виду возраст) стал оракулом пенсионерок.

Такую-то публику и удалось собрать у «Белого дома» 9 февраля. Как отличалась эта массовка от грандиозных манифестаций той же «Демроссии» в 1991 году! Всего удивительнее лозунги: в поддержку повышения цен! До такого не доходили даже в самую маразматическую пору застоя. При Брежневе пропагандисты официоза все-таки сохраняли остатки здравого смысла. Конечно, всякие правительственные меры, в том числе и понижавшие жизненный уровень, полагалось поддерживать и приветствовать. Но для этого использовались безымянные «трудящиеся», скромно излагавшие свои восторги корреспондентам «Правды» и «Известий». Тогда никто

(даже усердный Гейдзр Алиев) не додумался выводить на улицы людей, осчастливленных тем, что их посадили иа хлеб и воду. А у «Белого дома» я своими глазами видел лозунг: «Лучше сидеть на хлебе и воде, чем хлебать из командно-административного корыта».

Кстати, «демократические» вожди дружно перебрались в бывшие цековские дома, стало быть, «корытом» не побрезговали, оставив хлеб и воду на долю своим экзальтированным приверженцам. Естественно, число приверженцев от этого не возрастет. В результате в соревновании московских митингов 9 февраля демплощадка у «Белого дома» проиграла Манежной, гдв собрались противники правительства, с разгромным счетом 1 : 3. Тридцать тысяч к ста — таково было соотношение сил, по сведениям московского МВД (с тех пор «голоса площадей» окончательно отошли оппозиции; «демократы» еще раз отважились на открытое противоборство — 5 апреля на Манежной. После «бабуринского» митинга назначен был митинг сторонников правительства. Он не состоялся. Не пришел никто!).

Как бы то ни было, мне показалвсь знаменательной сценка у метро «Баррикадная», куда устремились расходившиеся от «Белого дома» демонстранты. Прямо передо мной остановились двое. Один низенький, в очках, с крючковатым носом. Хорошо одет, в руках держит свернутый российский триколор. Другой—длинная жердь, пожилой, в огромных болотных сапогах. Уж из каких забытых Богом мест пришел он на митинг, не знаю. Но чувствовал себя явно не в своей тарелке. Низенький принялся обращать его в «демокрвтическую» веру. И сразу начал с главного: «Но вы же соглвсны, что каждый должен стать собственником?». Собеседник с высоты двухметрового роста изумленно воззрился на коротышку. «Да где же такое было?» — только и спросил он и, не дожидаясь ответа, широко зашагал прочь.

А на другой площади — Манежной — реяли красные стяги. Виднелись портреты Ленина и даже Сталина.

Я слушал выступавших. Аплодировал вместе со всеми. Гордился, что нас — протестующих — много. Что нас не удалось запугать, заставить сидеть по домам, не удалось заткнуть рот ораторам — сорваиные голоса грозно разносились над площадью.

И все-таки я хочу сказать тем, с кем был — и буду! — рядом. Ленинские портреты и коммунистические лозунги — тоже утопия. Хотя бы потому, что страну, которую мы хотим возродить, развалил генеральный секретарь ЦК КПСС. Хотя бы потому, что форпосты капитализма — первые банки и биржи — созданы, по-видимому, на деньги компартии. Потому, наконец, что коммунистическвя номенклатура и сегодня правит нами.

В редакцию приезжал ученый из Калининграда. Он рассказал: бывший обком чуть ли не в полном составе вошел в аппарат главы администрации. Остались на тех же местах, только сменили вывески. Мудрено ли, администратор — свм кость от обкомовской кости, плоть от номенклатурной плоти. Не просто бывший обкомовец, подымай выше — член бюро.

Предатели! — отрежете без раздумий. А стоило бы задуматься. Что же это за партия, выдвигавшая в руководство одних предателей? Или честных, но недалеких служак, вроде Лигачева, бессильных бороться с «перерожденцами»? Что это за теория, фатально незащищенная от «искажений»? Ведь правление Горбачева — искажение коммунистической доктрины, не так ли? Брежнев, полагаю, тоже «исказил» И так далее — вплоть до Ленина. Дальше отступать некуда. Основоположник.

Человек, отдавший треть государства немцам после Брестского мира. Вынужденного? Пусть так! Когда германская революция обратила в ничто кайзеровские приобретения в России, Ленин положил в основу Федерации национальный признак, расчленил страну на республики. Только спесь и неблагодарность побуждает сегодняшних националистов Закавказья и Прибалтики сносить памятники Ленину. У них он стоял бы по праву. Но нам-то, русским, за что его благодарить?

Поймите мою горячность, я обращаюсь не к абстрактным собеседникам. К людям знакомым и дорогим. Я хорошо знаю одного из лидеров РКПР Алексея Сергеева. Мы сотрудничали с ним, когда он возглавил независимое профсоюзное объединение ОФТ. Я люблю его надтреснутый голос народного трибуна, его образ, от которого веет уверенностью и доброжелательностью. Я разделяю его неприязнь к «совбурам» Мне близок его яростный протест против народного обнищания. Когда Сергеев хотел реформировать КПСС снизу, я делом (публикацией в нашем журнале) поддержал эту попытку поставить авторитет и средства компартии, тогда еще всесильной, на службу массам. Но не могу понять, зачем теперь вливать новое вино народной инициативы в обветшалые, по швам расползшиеся мехи?

Верю, мои друзья в РКПР и других коммунистических организациях поймут: мои слова — это не речь врага. И если они порою резки, то лишь потому, что я должен быть искренним с друзьями. Да, коммунизм мне чужд. Но с коммунистами патриоты должны сотрудничать. Самая страшная беда, какая может сегодня случиться, — распря между «белыми» и «красными» в рядах противников правительства. У нас общий, злобный и коварный оппонент. Перед его лицом надо закрепить единство различных оппозиционных сил, возникшее на площадях Москвы.

Кроме того, далеко не все из тех, кто стоит на митингах под красными знаменами, приверженцы коммунистической утопии. Для многих — для большинства! — флаг — не более чем символ того мира, в котором прошла их жизнь, относительно стабильная и счастливая.

Признаюсь: мои надежды связаны прежде всего с ними. Они инициативны и начинают организовываться. Их идейная ориентация не определилась. Но ясно, что этих людей волнует не столько судьба идеологических мифологем, сколько их собственная судьба.

Однако власти (и контролируемая ими пресса) как будто все делают для того, чтобы затолкать, загнать общество именно в лагерь коммунистов. «Красно-коричневые» — изо дня в день мажут одним цветом всю оппозицию от христианских демократов В. Аксючица до мврксистской организации Н. Андреевой. Это признак болезни более серьезной, чем политический дальтонизм.

Правительство целенаправленно формирует образ в р а г а. В число противников зачисляют даже народных депутатов, решившихся на робкую критику триумвирата Ельцина—Бурбулиса—Гайдара. Глвввным оппозиционером объявляют Хасбулатова. Это Хесбулатов-то оппозиционер!.. Последняя стадия болезни, дальше — просто кидаются на прохожих с пеной у рта.

Приходится повторить сказанное в предыдущем номере: правительство не способно на сотрудничество с кем бы то ни было. На съезде в апреле оно демонстративно разорвало с силой, составляющей основу его социальной базы. С интеллигенцией. Вспомните, когда команда Гайдара покинула съезд — после того, как депутаты приняли декларацию о социальной защите людей умстввнного труда (врачей, учителей, ученых). Страшный жест! Правительство, не имеющее широкой опоры в обществе, непредсказуемо и безответственно. Оно перестает считаться с тем, как отреагирует народ на его действия. Сейчас оно провоцирует общественный взрыв, который завершится либо диктатурой триумвирата, либо революцией — во главе ее почти неизбежно окажутся коммунисты.

Куда качнутся человеческие множества? Теснясь, устремятся в тупик? Или найдут собственный путь — путь созидания? На мой взгляд, попытки реанимировать утопии, доказавшие свою нежизнеспособность, — бесплодны. Не менее бесплодно и голое разрушительство, яростно отбрасывающее всякие теоретические обоснования.

Дух разрушения — было сделано слишком многое, чтобы именно он воцарился в общественной атмосфере. Вся эпоха так называемого застоя готовила его триумфальный выход. Вспомните свидетельства зорких писателей — «Пожар» В. Распутина, «Человек убегающий» В. Маканина. Литература 80-х запечатлела носителя духа разрушения — человека без родины, без прошлого, без осмысленного труда. Архаровца.

Именно такие сыграли немалую роль в последовавшей затем «перестройке», особенно в ее фарсово-трагической фазе, приходящейся на 90—91-й годы. А рядом работала повивальная бабка всякой смуты — радикальная интеллигенция, направляя в нужное ей русло их слепую ярость. У «Белого доме», взявшись за руки, несли вахту академик Шаталин и проститутка из арбатского ресторана — захлебывались от восторга журналисты в августе 1991 года. Вот она, гремучая смесь, вдребезги разносящая все, что построено трудом многих поколений: теоретики-радикалы и человеческие отбросы с городского дна.

Сейчас взрывная мощь этого общественного контингента ослабла. Накапливается новый горючий материал — стремительно нищающие, потерявшие все, что приобрели в течение жизни, отчаявшиеся и обозленные люди. Тот, кто смотрит передачи Александра Невзорова, видел их крупным планом. Они совсем не похожи на архаровцев, они достойны сострадания и нуждаются в срочной помощи. Но бездумная жестокость правительства обрекает их на роль бунтарей.

Нетрудно представить, как поведут они себя, когде голод, унижения, безнадежность приблизят их к роковой черте. О том, как поступали в подобных случаях их румынские собратья по несчастью — шахтеры, поведал на наших страницех А. Борзенко.

Стихия разрушения — на какой бы социальной базе она ни возникла — характеризуется общим принципом: внутренней неуправляемостью. Ярость люмпена слепа так же, как ярость отчаявшегося ветерана. Зато она легко контролируется и направляется извне. В руках ловких политиков она оказывается то сокрушительным оружием, то спасительным клапаном, спускающим пар общественного недовольства.

Не нравится правительство Гайдара — его заменят. Запасные варианты готовятся. Резочаровались в «Демроссии» — найдется «альтернатива»: ДДР. Люди, направляющие процесс, радушно приглашают «демороссов» — переходите в новые структуры. И вот изумленный телезритель видит знакомые лица на новой трибуне. Не важно, что лица те же, главное — вовремя сменить вывеску.

Свалить кабинет сейчас не так уж трудно. Важно создать правительство, желающее и способное возродить Россию. Для этого иужны свои, выдвинутые снизу лидеры. И свои, понятные каждому цели.

Нам нужна Россия справедливая — не обрекающая на голод и унижения. Сильная Россия — способная защитить своих сыновей внутри границ и в тех республиках, где они обьявлены чужестранцами. Нужна русская Россия, управляемая не «лучшим немцем» и не «лучшим американцем», и не в интересах Германии и Штатов. Нужна нормальная зарплата и уверенность в завтрашнем дне.

Если все это даст нам «рынок» — да здравствует рынок! Обеспечит практика коммунистического строительства — приветствуем! Но мы ведь проходили то и другое. И остались у разбитого корыта.

Предстоит выбор между утопиями и трезвой практической деятельностью. Между стихиями разрушения и созидания. Самый ответственный выбор в отечественной истории XX века.

С тревогой и надеждой всматриваюсь в лица пришедших на митинги. И радостно отмечаю, как «повзрослел» народ всего за один год! Манежная образца 92-го года разительно отличается от Манежной-91.

Митинги «демократов» годичной давности были предельно политизированы. Добивались — власти. Не социальных гарантий, не хлеба — воцарения «Демроссии».

(даже усердный Гейдар Алиев) не додумался выводить на улицы людей, осчастливленных тем, что их посадили на хлеб и воду. А у «Белого дома» я своими глазами видел лозунг: «Лучше сидеть на хлебе и воде, чем хлебать из командно-административного корыта».

Кстати, «демократические» вожди дружно перебрались в бывшие цековские дома, стало быть, «корытом» не побрезговали, оставив хлеб и воду на долю своим экзальтированным приверженцам. Естественно, число приверженцев от этого не возрастет. В результате в соревновании московских митингов 9 февраля демплощадка у «Белого дома» проиграла Манежной, где собрались противники правительства, с разгромным счетом 1:3. Тридцать тысяч к ста — таково было соотношение сил, по сведениям московского МВД (с тех пор «голоса площадей» окончательно отошли оппозиции; «демократы» еще раз отважились на открытое противоборство — 5 апреля на Манежной. После «бабуринского» митинга назначен был митинг сторонников правительства. Он не состоялся. Не пришел никто!).

Как бы то ни было, мне показалась знаменательной сценка у метро «Баррикадная», куда устремились расходившиеся от «Белого дома» демонстранты. Прямо передо мной остановились двое. Один низенький, в очках, с крючковатым носом. Хорошо одет, в руках держит свернутый российский триколор. Другой—длинная жердь, пожилой, в огромных болотных сапогах. Уж из каких забытых Богом мест пришел он на митинг, не знаю. Но чувствовал себя явно не в своей тарелке. Низенький принялся обращать его в «демократическую» веру. И сразу начал с главного: «Но вы же согласны, что каждый должен стать собственником?». Собеседник с высоты двухметрового роста изумленно воззрился на коротышку. «Да где же такое было?» — только и спросил он и, не дожидаясь ответа, широко зашагал прочь.

А на другой площади — Манежной — реяли красные стяги. Виднелись портреты Ленина и даже Сталина.

Я слушал выступавших. Аплодировал вместе со всеми. Гордился, что нас — протестующих — много. Что нас не удалось запугать, заставить сидеть по домам, не удалось заткнуть рот ораторам — сорванные голоса грозно разносились над площадью.

И все-таки я хочу сказать тем, с кем был — и буду! — рядом. Ленинские портреты и коммунистические лозунги — тоже утопия. Хотя бы потому, что страну, которую мы хотим возродить, развалил генеральный секретарь ЦК КПСС. Хотя бы потому, что форпосты капитализма — первые банки и биржи — созданы, по-видимому, на деньги компартии. Потому, наконец, что коммунистическая номенклатура и сегодня правит нами.

В редакцию приезжал ученый из Калининграда. Он рассказал: бывший обком чуть ли не в полном составе вошел в аппарат главы администрации. Остались на тех же местах, только сменили вывески. Мудрено ли, администратор — сам кость от обкомовской кости, плоть от номенклатурной плоти. Не просто бывший обкомовец, подымай выше — член бюро.

Предатели! — отрежете без раздумий. А стоило бы задуматься. Что же это за партия, выдвигавшая в руководство одних предателей? Или честных, но недалеких служак, вроде Лигачева, бессильных бороться с «перерожденцами»? Что это за теория, фатально незащищенная от «искажений»? Ведь правление Горбачева — искажение коммунистической доктрины, не так ли? Брежнев, полагаю, тоже «исказил». И так далее — вплоть до Ленина. Дальше отступать некуда. Основоположник.

Человек, отдавший треть государства немцам после Брестского мира. Вынужденного? Пусть так! Когда германская революция обратила в ничто кайзеровские приобретения в России, Ленин положил в основу Федерации национальный признак, расчленил страну на республики. Только спесь и неблагодарность побуждает сегодняшних националистов Закавказья и Прибалтики сносить памятники Ленину. У н и х он стоял бы по праву. Но нам-то, русским, за что его благодарить?

Поймите мою горячность, я обращаюсь не к абстрактным собеседникам. К людям знакомым и дорогим. Я хорошо знаю одного из лидеров РКПР Алексея Сергеева. Мы сотрудничали с ним, когда он возглавил независимое профсоюзное объединение ОФТ. Я люблю его надтреснутый голос народного трибуна, его образ, от которого веет уверенностью и доброжелательностью. Я разделяю его неприязнь к «совбурам». Мне близок его яростный протест против народного обнищания. Когда Сергеев хотел реформировать КПСС снизу, я делом (публикацией в нашем журнале) поддержал эту попытку поставить авторитет и средства компартии, тогда еще всесильной, на службу массам. Но не могу понять, зачем теперь вливать новое вино народной инициативы в обветшалые, по швам расползшиеся мехи?

Верю, мои друзья в РКПР и других коммунистических организациях поймут: мои слова — это не речь врага. И если они порою резки, то лишь потому, что я должен быть искренним с друзьями. Да, коммунизм мне чужд. Но с коммунистами патриоты должны сотрудничать. Самая страшная беда, какая может сегодня случиться, — распря между «белыми» и «красными» в рядах противников правительства. У нас общий, злобный и коварный оппонент. Перед его лицом надо закрепить единство различных оппозиционных сил, возникшее на площадях Москвы.

Кроме того, далеко не все из тех, кто стоит на митингах под красными знаменами, приверженцы коммунистической утопии. Для многих — для большинства! — флаг — не более чем символ того мира, в котором прошла их жизнь, относительно стабильная и счастливая.

Признаюсь: мои надежды связаны прежде всего с ними. Они инициативны и начинают организовываться. Их идейная ориентация не определилась. Но ясно, что

этих людей волнует не столько судьба идеологических мифологем, сколько их собственная судьба.

Однако власти (и контролируемая ими пресса) как будто все делают для того, чтобы затолкать, загнать общество именно в лагерь коммунистов. «Красно-коричневые» — изо дня в день мажут одним цветом всю оппозицию от христианских демократов В. Аксючица до марксистской организации Н. Андреевой. Это признак болезни более серьезной, чем политический дальтонизм.

Правительство целенаправленно формирует образ в р а г а. В число противников зачисляют даже народных депутатов, решившихся на робкую критику триумвирата Ельцина—Бурбулиса—Гайдара. Главным оппозиционером объявляют Хасбулатова. Это Хасбулатов-то оппозиционер!.. Последняя стадия болезни, дальше — просто кидаются на прохожих с пеной у рта.

Приходится повторить сказанное в предыдущем номере: правительство не способно на сотрудничество с кем бы то ни было. На съезде в апреле оно демонстративно разорвало с силой, составляющей основу его социальной базы. С интеллигенцией. Вспомните, когда команда Гайдара покинула съезд — после того, как депутаты приняли декларацию о социальной защите людей умственного труда (врачей, учителей, ученых). Страшный жест! Правительство, не имеющее широкой опоры в обществе, непредсказуемо и безответственно. Оно перестает считаться с тем, как отреагирует народ на его действия. Сейчас оно провоцирует общественный взрыв, который завершится либо диктатурой триумвирата, либо революцией — во главе ее почти неизбежно окажутся коммунисты.

Куда качнутся человеческие множества? Теснясь, устремятся в тупик? Или найдут собственный путь — путь созидания? На мой взгляд, попытки реанимировать утопии, доказавшие свою нежизнеспособность, — бесплодны. Не менее бесплодно и голое разрушительство, яростно отбрасывающее всякие теоретические обоснования.

Дух разрушения — было сделано слишком многое, чтобы именно он воцарился в общественной атмосфере. Вся эпоха так называемого застоя готовила его триумфальный выход. Вспомните свидетельства зорких писателей — «Пожар» В. Распутина, «Человек убегающий» В. Маканина. Литература 80-х запечатлела носителя духа разрушения — человека без родины, без прошлого, без осмысленного труда. Архаровца.

Именно такие сыграли немалую роль в последовавшей затем «перестройке», особенно в ее фарсово-трагической фазе, приходящейся на 90—91-й годы. А рядом работала повивальная бабка всякой смуты — радикальная интеллигенция, направляя в нужное ей русло их слепую ярость. У «Белого дома», взявшись за руки, несли вахту академик Шаталин и проститутка из арбатского ресторана — захлебывались от восторга журналисты в августе 1991 года. Вот она, гремучая смесь, вдребезги разносящая все, что построено трудом многих поколений: теоретики-радикалы и человеческие отбросы с городского дна.

Сейчас взрывная мощь этого общественного континента ослабла. Накапливается новый горючий материал — стремительно нищающие, потерявшие все, что приобрели в течение жизни, отчаявшиеся и обозленные люди. Тот, кто смотрит передачи Александра Невзорова, видел их крупным планом. Они совсем не похожи на архаровцев, они достойны сострадания и нуждаются в срочной помощи. Но бездумная жестокость правительства обрекает их на роль бунтарей.

Нетрудно представить, как поведут они себя, когда голод, унижения, безнадежность приблизят их к роковой черте. О том, как поступали в подобных случаях их румынские собратья по несчастью — шахтеры, поведал на наших страницах А. Борзенко.

Стихия разрушения — на какой бы социальной базе она ни возникла — характеризуется общим принципом: внутренней неуправляемостью. Ярость люмпена слепа так же, как ярость отчаявшегося ветерана. Зато она легко контролируется и направляется извне. В руках ловких политиков она оказывается то сокрушительным оружием, то спасительным клапаном, спускающим пар общественного недовольства.

Не нравится правительство Гайдара — его заменят. Запасные варианты готовятся. Разочаровались в «Демроссии» — найдется «альтернатива»: ДДР. Люди, направляющие процесс, радушно приглашают «демороссов» — переходите в новые структуры. И вот изумленный телезритель видит знакомые лица на новой трибуне. Не важно, что лица те же, главное — вовремя сменить вывеску.

Свалить кабинет сейчас не так уж трудно. Важно создать правительство, желающее и способное возродить Россию. Для этого нужны свои, выдвинутые снизу лидеры. И свои, понятные каждому цели.

Нам нужна Россия справедливая — не обрекающая на голод и унижения. Сильная Россия — способная защитить своих сыновей внутри границ и в тех республиках, где они объявлены чужестранцами. Нужна русская Россия, управляемая не «лучшим немцем» и не «лучшим американцем», и не в интересах Германии и Штатов. Нужна нормальная зарплата и уверенность в завтрашнем дне.

Если все это даст нам «рынок» — да здравствует рынок! Обеспечит практике коммунистического строительства — приветствуем! Но мы ведь проходили то и другое. И остались у разбитого корыта.

Предстоит выбор между утопиями и трезвой практической деятельностью. Между стихиями разрушения и созидания. Самый ответственный выбор в отечественной истории XX века.

С тревогой и надеждой всматриваюсь в лица пришедших на митинги. И радостно отмечаю, как «повзрослел» народ всего за один год! Манежная образца 92-го года разительно отличается от Манежной-91.

Митинги «демократов» годичной давности были предельно политизированы. Добивались — власти. Не социальных гарантий, не хлеба — воцарения «Демроссии».

Показательно проигнорировали первое, павловское, повышение цен. Теперь понятно, почему лидеры «демокретов» не собрали народ в начале апреля: планировали, дорвавшись до власти, провести еще более жестокие реформы. Но ведь десятки тысяч москвичей, приходивших поддержать Ельцина, и не требовали от него вести их на борьбу за свои реальные нужды!

Митинговали не только за чужие интересы — против своих. Требовали приватизации — каждого десятого она оставит без работы. Жаждали краха Союза, а это развал хозяйственных связей, спад производства, нехватка товаров. Получили то, что желали, и стонете от ночных кошмаров.

Манежная-92 возвышенно прагматична. Да, она стоит под красными флагами. Хотя тут же императорский штандарт и андреевский стяг. Но основные ее требования рождены не в офисах политических партий — у пустых прилавков, у остановившихся станков, в домах, где родители зачастую не знают, чем накормить ребенка. Манеж научился бороться за собственные интересы.

Пробуждается здравый смысл. Достоинство.

Как не раз уже случалось, простые люди оказались благороднее, достойнее тех, кто претендовал на избранность, именовал себя не иначе, как «интеллектом нации». Депутат и бизнесмен С. Федоров заявил по ТВ: «Первая мысль человека — как удрать отсюда. Как канал прокопать, тоннель» (1-я программа, 25.01.1992). Почему же — человека, С. Федоров? Это мысль ваша и ваших друзей. Один из них, В. Коротич, успел прокопать свой «тоннель». Не сомневаюсь, за ним побегут и другие.

А вот жителям Южных Курил никуда и бежать не требовалось. Оставаясь в своих домах, они могли без хлопот поменять подданство. Япония решила осчастливить курильчан: объявила, что после возвращения «северных территорий» русское население может получить японское гражданство. Видимо, в Токио судили о нашем народе по депутатам, рвущимся туда, где жизнь получше, кусок пожирнее. Подумать, какое счастье свалилось на жителей островов — они могли оказаться за границей, и где — в Стране восходящего солнца, самой передовой, самой богатой! В японском МИДе, похоже, ожидали увидеть ликующих гонцов. А увидели митинги протеста против закулисных игр «российского» правительства, стремящегося сбыть острова вместе с людьми иноземцам.

Не слышно восторгов и в Поволжье. На окрестных землях заботливые бундесдойчи вознамерились учредить Республику немцев Поволжья. С ходу пообещали миллиардные кредиты. В валюте! — перед этим словом депутаты распластываются в благоговении. Как отреагировали на посулы приволжские деревни? Пикетами, гневными протестами в печати. Правда, местной — московская не позволяет русским людям высказать свою точку зрения.

Что же, возьмем районную газету, названную показательно — «Наше мнение». Она издается в поселке Степное Саратовской области. «Жителей нашего региона беспокоит не социально-экономический аспект, — пишут сельчане, — а политический. Мы все прекрасно понимаем, что в экономическом плане с созданием в наших районах немреспублики будет выигрыш. А в психологическом? Нельзя же, чтобы регион стал оазисом благоденствия на российских развалинах. А во-вторых, надо думать о наших потомках. Кем они станут на этой территории?» (№№ 9—10, 1991).

Рассуждения не просто оскорбленных в своих национальных чувствах людей. Хозяев, не желающих закладывать землю кому-либо, отвергающих подачки с чужого стола.

Все чаще и чаще проявляется это самосознание хозяина. На сельских сходах, на столичных митингах, в питерских пикетах. Пожалуй, это самый главный итог пробуждения народа.

Первое побуждение хозяев: не дать распоряжаться на своей земле людям случайным, для которых народное благо и честь нации — звук пустой. Выразительные кадры телехроники: косая побежка директора и депутата Югина, встреченного у здания петербургского ТВ демонстрацией в поддержку «запрещенного» им Невзорова. Я уверен, придет время, когда эти кадры обойдут все телеэкраны мира. Ибо они запечатлели факт эпохальной значимости — народ осознал свою силу.

Совсем еще недавно казалось, что бюрократия всесильна. Директор отстранил ведущего телепрограммы — дело с концом. Однако на этот раз народ не согласился смотреть то, что покажут, и тех, кого прикажут. Невзоров стал голосом «наших» — миллионов униженных, обобранных. И лучшие из них вышли защитить ведущего «600 секунд».

Не просто защитили. Добились большего — указали бюрократу его истинное место. Он должен быть слугой общества. При любом строе: коммунистическом и капиталистическом. Конечно, народ не может каждый день контролировать своих слуг, но когда их уже чересчур заносит, он приходит и указывает: место!

Случайный всплеск эмоций толпы? О нет! Спустя несколько месяцев нечто подобное повторилось у Смольного, после того как мэр вознамерился выселить из дворца газету «Народная правда» (она достойна своего названия!). Рабочие со всего Питера собрались у Смольного и не пустили работников мэрии в здание. Вызвали милицию. Но что могут сделать патрули, когда сотни крепких мужиков встанут живой цепью? Приехал мэр и, срываясь на крик, потребовал: пропустите меня, я — Собчак! Господи, что же это за порода такая, даже чуть-чуть трогательная в своем ослеплении блеском власти! Был уверен в магической силе своего имени, должности, не сообразив, что его, конечно же, узнали, но исключения не сделали. Нарвался не резонный вопрос: ну и что, что Собчак? Хлопнул дверцей белой «Волги» — и укатил.

[illegible] на службу мэра. А «Народная правда» в тот же день [illegible] официальные заверения, что никто и не покушается на ее помещения.

Меня всегда [illegible] роковой [illegible] «предается в руки [illegible]». О народах, об отдельных [illegible] актуальны они сегодня. И впрямь: не по воздуху же летают наши начальники, в отличие от западных коллег они еще не обзавелись вертолетами. Значит, доступны для нас и обречены [illegible] наши суждения о своей деятельности. Предаются в руки наши...

Кажется, мы сами еще не поняли вполне, какой мощный рычаг воздействия на власти обрели! Руководитель любого ранга должен помнить — либо он учитывает интересы всех социальных групп, либо каждый день ему придется сталкиваться лицом к лицу с ненавистью народа. В любом месте: у парадного подъезда, у дверей дома, в пути (в том же Питере Ельцин и Собчак вынуждены были менять маршрут поездки в морской порт, опасаясь, что демонстранты перегородят Большой проспект). Либо честное служение людям, либо косая побежка к служебной машине. Истерические просьбы об охранниках — сотнях (ставшее известным заявление М. Горбачева) и тысячах (вспомните Б. Ельцина 23 февраля), чтобы отгородиться... от соотечественников.

Другой ряд фактов, также свидетельствующих об изменении в сознании людей. Стойкость русского населения в противоборстве на окраинах. Несгибаемость дубоссарцев (вот он, истинный, а не объявленный по указу Город-Герой!). Мужество тираспольских женщин, которые не сходили с рельсов дороги Москва—Кишинев, пока не добились освобождения президента Приднестровья Игоря Смирнова, коварно захваченного властями Молдовы.

Напомню о событиях в Душанбе в 1990-м: русские погромы вольготно катились по таджикской столице. И тогда в какой-то семье, в каком-то доме решили — не прятаться, выйти и встать на страже у своих дверей. Оружия не было, брали палки, лопаты и выходили на улицу. Очевидцы рассказывают: в конце проспекта показалась галдящая восточная толпа. Она нарастала неудержимо, готовая к убийству и разбою. И вдруг увидела молчаливую цепочку людей. Двинулась было вперед, но звериным чутьем поняла — эти не отступят! Побесновались, топчась на месте, и повернули на другую улицу. А там новая цепочка! И так — повсюду. На следующий день волнения в Душанбе прекратились...

Сегодня паникеры бьются в истерике: пока не поздно, бежать из Средней Азии, из Прибалтики, Молдовы. Прекратите! Если каждый будет вести себя так, как русские в Душанбе, ниоткуда бежать не придется.

И снова — от вооруженного противоборства к политическому. С окраин — на московские митинги. Еще год назад как легко швырялись на них словом «забастовка». Кого только не призывали остановить работу «демократические» лидеры! Кончили призывом Ельцина о всеобщей стачке в августе 91 го. Сравните — как стойко держатся митингующие сегодня. Понимают: в забастовках расточается не чужое, бросовое, — свое, кровное, что им, рабочим, придется наверстывать собственным трудом.

Вот что отличает хозяина от быдла. Чувство ответственности, способность к прогнозу, расчет, мысль. И хотя ангажированные журналисты по-базарному бранят рабочие митинги 1992 года, им никого не удастся обмануть. Быдло раскачивало державу, не думая о последствиях. Ныне на улицы вышли хозяева.

Это слово много десятилетий было под запретом. Если и произносили, то с ненавистью, прибавляя с издевкой уменьшительный суффикс: «хозяйчик». Разумеется, репрессировали не только слово — весь богатый и сложный мир, отобразившийся в нем. Мир, где смелость, инициатива, ответственность определяют поступки человека. Репрессировали и самого хозяина, объявив «классово чуждым элементом», врагом.

Теперь подоспела амнистия. Масс-медиа с пеной у рта воспевают хозяина. И опять в клакерском реве слышны фальшь и жестокость.

Рекламируют биржевика. Удачливого спекулянта. Нет ничего более далекого от подлинного хозяина. Хозяин — прежде всего производитель. Его задача — накормить, одеть, обуть.

Простейший — материальный — уровень понимания. А над ним величественная иерархия смыслов, на которой держатся человеческое общество, цивилизация, культура. От ремесленника до Творца мироздания.

Раскройте Новый Завет — Христос не раз уподобляет Бога хозяину. В притчах о владельце виноградника, о сеятеле. И конечно же, в каждом Его поступке воплощена удивительная свобода хозяина всего сущего.

В трех из четырех евангельских книг запечатлена буколическая сцена: Христос с учениками в субботний день идут засеянными полями. Проголодавшись, ученики срывают и жуют на ходу спелые колосья. Одна из тех бытовых картин Нового Завета, которые особенно глубоко западают в сознание. Видишь поля, сбегающие с холмов, фигуры людей, бредущих по пояс в колосьях. Но и куда более широкие духовные горизонты открываются здесь. Фарисеи спешат уличить Христа в нарушении правила субботнего дня. Ответ Спасителя придает этой сценке неожиданно высокий смысл: «Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы».

С духовных высот перейдем на уровень более доступный. Хозяин страны. России посчастливилось увидеть наглядное воплощение этого образа — Петра Столыпина. Беспримерная смелость, дерзость реформ — все определялось позицией хозяина державы.

Чего нам бояться в своем отечестве? — эту поговорку мы слышали от отцов. Чувство хозяина еще долго теплилось в русском народе. Казалось бы, их лишили всего, само слово поставили вне закона, а они все-таки говорили о *своем* отечестве, ощущали его *своим*. Даже вождя, столь не похожего на Столыпина, добродушно называли: хозяин. И он, боевик-экспроприатор, попросту — грабитель с большой дороги, запасшийся идеологической индульгенцией, *вынужден* был играть эту роль.

Еще один уровень: хозяин-предприниматель. Тут тоже есть не только материальная, но и духовная сторона. Это сейчас нам навязывают образ безжалостного рационалиста, акулы большого бизнеса. На самом деле у русских фабрикантов был сложнейший кодекс чести, основанный на крестьянской нравственности, незыблемых понятиях долга и ответственности. Патриарх русских промышленников XIX века Мальцов, когда его дела пошатнулись, продал имение, но не уволил ни одного рабочего! Предание старины глубокой? Но и в современной супериндустриальной Америке выдающийся авиаконструктор Сикорский не лишил работы ни одного русского сотрудника. Настоящий хозяин, он отвечал не за одни станки и здания, прежде всего — за людей.

Хозяин — не только деньги и власть. Безвестные сподвижники Козьмы Минина, продававшие себя в кабалу, чтобы дать деньги на ополчение, — тоже хозяева. Люди со столь же твердыми представлениями о долге и чести, как и военачальники, купцы, премьеры.

Я с радостью вижу: чувство хозяина вновь пробуждается в народе. Да, рядом сколько угодно примеров разгильдяйства, цинизма, нравственной разрухи. Но из-под всех напластований грязи и мусора пробивается живое человеческое стремление к делу, творчеству, созиданию.

Завершая цикл статей о русском сопротивлении, о борьбе с угрозой национальной катастрофы, я хочу поделиться надеждой. Она неотделима от процесса, который я стремился запечатлеть в своих заметках. Процесса пробуждения. Медленного, мучительного и все-таки — пробуждения русского самосознания.

Нас спасет возрождение идеологии хозяина. Возрождение той сложной духовной (и материальной одновременно!) иерархии, о которой я писал. Объединение на основе патриотизма всех, кто обеспокоен судьбой России. Миллионов тех, кто почувствовал себя хозяином национального дома,— демонстрантов с Манежной, писателей-патриотов, политиков, опирающихся на традиционные идеалы, и хозяев-предпринимателей, таких, как В. Неверов, с их финансовыми возможностями, с их талантом, напором, инициативой.

Скажете: невозможно, пустая затея. Ничего общего нет между миллионером и пролетарием под красным флагом. Если пролетарию «нечего терять», а предпринимателю все равно, в какой стране жить, тогда согласен — точек соприкосновения нет. В таком случае путь один — разворовывание России сверху и разрушительный взрыв снизу.

Но ведь тот же неимущий нижегородец времен Минина не уходил, сунув за голенище нож, воспользоваться всеобщей смутой! А впрочем, пожалуй, и уходил, и разбойничал — сколько буйных ватег бродило тогда по стране, но однажды понял: все, точка, дальше — общая гибель. От голода, мора, притеснений иноземцев. Хмельным, быть может, темным сознанием — понял. И пробудился.

Пора и нам. Если попытаться осмыслить положение в терминах концепции национального единства — мы все братья по духу и крови, соединенные общей судьбой. Если принять циничные правила «войны всех против всех» — мы опять-таки связаны: классы и отдельные люди, мы все заложники друг друга.

Впечатляющие примеры социального партнерства в достижении общенациональных целей не так уж редки в современном мире. К сожалению, не у нас. В Японии, в Испании времен синдикализма. Де Голль положил эту концепцию в основу своего политического завещания — проекта французской конституции (я писал о ней в предыдущей статье).

Вступая на этот путь, мы призваны противопоставить:

всеобщему иждивенчеству — личную инициативу,

всеобщему озверению — сознательность,

всеобщей обдираловке — взаимопомощь,

всеобщему разброду — единство.



КРИТИКА



НИКОЛАЙ СКАТОВ

ЗА ЧТО МЫ НЕ ЛЮБИМ НЕКРАСОВА

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».

Швырнул далеко книгу я.
Ужели мы с тобой
Такого века сыновья,
О друг — читатель мой?..

Некрасов.

Не любим мы Некрасова. Да, по-видимому, мы сейчас и должны его не любить. Некрасов: сразу наползает с полдюжины фраз-формул: «Поэтом можешь ты не быть...», «Сейте разумное, доброе, вечное...», «Вынесет все — и широкую ясную грудью дорогу проложит себе...». Конечно, сама эта способность дать общенациональные афоризмы — признак великого поэта, в этом смысле Некрасов пока что последний наш великий поэт. И все равно: ныне даже они способны, наверное, только раздражать. Тем более что ныне для нас Некрасов, пожалуй, только такими остекленелыми формулами и исчерпывается. Потому же и из них уже ничего не черпается. Как и из всего облика со всех сторон гладко обструганного поэта, «революционера-демократа».

И если бы мы только за это его не любили, то была бы не только беда, а — благо. Но, увы, кажется, мы, еще не отдавая себе страшного отчета, может быть интуитивно, не любим его за то, что́ мы в нем не знаем и что́ узнать чуть ли уже и не способны. А все же мы обречены узнавать и разгадывать *это*. Потому что без *этого* мы будем обречены вообще. Недаром великий разгадчик русских душ— Федор Достоевский писал о загадочности двух русских поэтов: казалось, такого ясного и открытого — Пушкина, и такого декларативного и простого — Некрасова. Впрочем, не потому ли самому он, Федор Достоевский, приблизился и к разгадкам роли их в русской жизни — провидческой и мессианской. И Пушкина. И Некрасова: «Лично мы сходились мало и редко... было между нами несколько мгновений, в которые раз навсегда обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всей страстной, страдающей поэзии его потом на всю жизнь».

> Я призван был воспеть твои страданья,
> Терпеньем изумляющий народ!
> И бросить хоть единый луч сознанья
> На путь, которым Бог тебя ведет.
>
> Некрасов.

Кажется, подходя к Некрасову, мы начинаем не с того конца. Дело не в том, что он писал о народных страданиях, пусть даже как угодно ярко и выразительно. Этого было много и до него, и вокруг него, и после него. Поэт не «отражал» страданья народа. Он сам всем организмом нашей истории и жизни нашей рожден был как особый и в своем роде единственный орган страданья. Некрасов — поэт, так сказать, излил *самоё* страданье. Некрасов — один во всей русской литературе, пожалуй, во всем русском искусстве, а тем и в русской жизни, так пострадавший: за всех. Единственный, кто, по словам Бальмонта, постоянно напоминает нам, что вот пока мы все здесь дышим, есть люди, которые задыхаются. Но потому, что задыхался *сам*. В этом все дело. Некрасов был именно *призван* к страданью. И когда судьба, испытывая до конца, послала долгое и мучительное умирание, то у него, умирающего, крик прерывался стихами и — снова — стихи переходили в крик, окончательно подтверждая истинность и, так сказать, страшную натуральность его «страстной страдальческой поэзии».

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что Чехова часто, как бы оп-

---

СКАТОВ Николай Николаевич родился в 1931 году. Окончил Костромской педагогический институт. Доктор филологических наук. Автор книг «Поэты некрасовской школы» (1968), «Некрасов, современники и продолжатели» (1973), «Русские поэты» (1977), «Кольцов» (1983), «Русский гений» (1987), «Я лиру посвятил народу своему» (1985), «Пушкин» (1991) и других. Живет в Санкт-Петербурге.

ределяя главное в нем, называют автором «Каштанки» — рассказа о какой-то дворняге.

Лишь на первый взгляд может показаться странным, что, пожалуй, «главную» свою картину страданья Некрасов написал в страдании лошади, избиваемой лошади-калеки: по спине, по бокам, по лопаткам, а наконец, и по глазам, «по плачущим, кротким глазам».

Из-под страшного морока этой, казалось бы, всего лишь уличной сцены долго не выпутается русская литература и русская жизнь. Чуть ли не до того, нашего, времени, когда начнут уничтожать и самих лошадей, в какой-то оголтелости безумия перевыполняя «планы по мясу», а резвящаяся молодежь — воруя полубесхозных покататься (об этом не раз писали), мучая, а затем бросая умирать, загнанных.

Наваждение во сне Раскольникова у Достоевского — это несколько страниц прозы, расцветившей, раскрасившей и, так сказать, расцарапавшей до крови несколько строк этого некрасовского стихотворения. Герой увидит себя во сне переживающим избиение («по глазам, по самым глазам») и убийство лошади Миколкой, и после этого уже не во сне, а только как во сне пойдет сам убивать — человека. Из принципа — разъяснит ему следователь. «Этого же кто не видал. Это русизм», — скажет об этой же некрасовской сцене избиения («по глазам, по кротким глазам») Достоевский устами Ивана Карамазова. А через много лет, снова доказывая, что это «русизм», такой чуткий к страданию молодой Маяковский напишет «Хорошее отношение к лошадям»:

Подошел
И вижу
глаза лошадиные
. . . .

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плача вылилась из меня
и расплылась в шелесте.

И вдруг почти сразу, может быть, и поэтому же этаким Миколкой завопит в революционной одержимости: «Клячу историю загоним!» («Левый марш»). Из принципа? И — загоняли. И — забивали. Да, русская литература в самых больших своих проявлениях засвидетельствовала, какой силы сгусток страдания заключила одна лишь уличная сцена Некрасова.

А эти «глаза лошадиные»?

«Никогда, — писал русский философ Владимир Соловьев, — не увидишь на лице человеческом того выражения глубокой безвыходной тоски, которая иногда без всякого видимого повода глядит на нас через какую-нибудь зоологическую физиономию». Так это без повода.

Почему же поэт, представив, может быть, самую страшную из своих картин страдания, может быть, самую страстную свою, человеческую жалость излил на лошадь, на животное.

«Это начало, — писал тот же Владимир Соловьев, — имеет глубокий корень в нашей природе, именно в виде чувства жалости общего человеку с другими живыми существами. Если чувство стыда выделяет человека из прочей природы и противопоставляет его другим животным, то чувство жалости, напротив, связывает его со всем миром живущих».

Сейчас этот глубокий корень в нашей природе если не прогнил, то поврежден. Мы встаем к миру все в то же двоякое отношение, но уже обратное. Так, чувство жалости сейчас все меньше связывает нас со всем миром. Его отсутствие как раз и удалило нас от всего мира других живущих. Чувство же стыда, наоборот, ныне уже почти не выделяет человека из прочей природы. Его отсутствие, иначе говоря, бесстыдство, как раз и опустило человека до прочей природы, до других животных. Естественно, что любовь к поэзии Некрасова — с его чувством стыда и чувством жалости — была бы сейчас состоянием самым неестественным.

Скажем, разнообразнейшие публичные виды сегодняшнего политического срама чуть ли не есть лишь другая сторона откровеннейшего и наглядного бесстыдства физической жизни. Не вправе ли мы говорить, в частности, и об особом типе переживаемой нами сексуально-политической революции?

Кстати сказать, видимо, не случайно нет осененной даже дуновением какой-то идеи и цели, кроме задачи хоть кое-как выжить и через очень длительный период, может быть, подтянуться к так называемым передовым (в сфере производства) странам или, как полагают экономисты, хотя бы собственного 1985 года и к богатствам того времени: пишут, что национальный золотой запас, например, сократился с той поры от 2500 почти до 240 тонн.

Не потому ли сама смена символики, обычно столь насыщенная и героическая в переломные эпохи, воспринимается сейчас так вяло и равнодушно. Кстати сказать, нынешний, довольно красивенький флаг России в качестве государственного имеет у нас гораздо меньший исторический стаж, чем красный. И если последний значим уже той кровью — и жертв и защитников, — которую он впитал, то первый ныне не трогает ничем и за ним, в сущности, ровным счетом ничего не стоит. Хотя сейчас возвращение не к издревле историческому государственному знамени, но именно к этому, изначально-то коммерческому флагу — не случайно. То же с гербом. Старый державный (и страшноватый) орел в новой редакции стал похож на плохо общипанную курицу (правда, тоже двухголовую).

Все это знак того, что в числе многих вакуумов, дыр и прорех образовался, может быть, самый страшный — идеологический. Во всяком случае, не видно идеологий, отчетливо выговоренных, формулированных и — главное — объединяющих национально, а не разъединяющих националистически: последние сами в себе уже несут обреченность. Недаром разгул политического национализме никак не сопровождается и никогда не сопроводится расцветом национальной культуры.

Сейчас страшна даже не физическая бедность сама по себе. Давно у нас выношено: «Бедность не порок». Но нищета (поясняет один из героев нашей классики), нищета — порок. А мы (страна, государство) уже ушли от трудовой бедности именно к пороку — к нищенскому вымогательству. Кстати, нищий далеко не всегда бедняк. Мы ведь вот тоже все заримся на чужие урожаи, оставляя, как сообщают, свой неубранным на миллионах гектаров. Бедность не обязательно выморочна. Нищета неизменно сопровождается духовным одичанием. Не потому ли страна в сфере образования за короткий срок откатилась от места в первой тройке стран мира в пятый десяток? То же в медицине. Почему возможность для взрослого свободно (пусть и за бешеную цену) прочитать Николая Бердяева сопровождается невозможностью для детей свободно (не за бешеную цену) получить в руки хорошую детскую книгу, а теперь вот даже и учебники и тетради.

Наш народ простой, смирный, терпеливый народ, я тебе скажу, его можно грабить.
(А. Островский. «Горячее сердце»).

Думаю, что наше неприятие Некрасова может определяться не только его устарелостью, но и его злободневностью, иногда до жути. Скажем, поэма «Современники» и о наших современниках. Подчас кажется, что только подставляй нынешние имена и сегодняшние факты. Не то поэт стремительно и неожиданно догнал будущее, не то мы столь же стремительно и внезапно оказались в прошлом. Как будто, пробивая какие-то исторические этажи, кувырком пролетаем вниз: вот уже и удельные княжества проступают, а дальше, с остановкой основных производств, очевидно, поползем в пещеру. Так что не обернется ли иллюзорный «научный» социализм при содействии отнюдь не научного «дикого» капитализма реальным первобытным коммунизмом? Ну, прямо какая-то безумная машина времени, да и только. Прогресс наоборот. Впрочем, полюбуйтесь: вот некоторые фрагменты и голоса некрасовской поэмы:

Кто не знает? Пророни событий,
Пролагатели новых путей,
Провозвестники важных открытий —
Побиваются грудой камней.
Двинув раньше вперед спекуляцию,
Чем прогресс узаконит ее,
Потеряете вы репутацию
И погубите дело свое.
Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца.
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца...

Вот это завтра наступило сегодня, и стало ясно, что ведь это сегодня всего лишь вчера.

Я заснул...
мне снились планы
О походах на карманы
Благодушных россиян.
И, ощупав мой карман,
Я проснулся...
Шумно... В уши
Словно бьют колокола.
Гомерические куши,
Миллионные дела,
Баснословные оклады,
Недовыручка, дележ,
Рельсы, шпалы, банки, вклады —
Ничего не разберешь!..

Вот и мы так — проснулись. И «ничего не разберешь». А когда экономический хаос в сочетании с финансовой неразберихой накладывается еще и на политическую смуту, на время, по словам того же Некрасова, «государственных нерях», то тем более «ничего не разберешь». К тому же если в пору «застоев» большинство просто прикрепляется к определенному месту, а в эпоху революций некоторые находят своё место, то именно в период смут многие почти всегда оказываются не на своих местах.

Слыл умником и в ус себе не дул,
Поклонники в нем видели мессию;
Попал на министерский стул
И — наглупил на всю Россию!

В общем:

Полно! Мы с тобой не детки,
Нынче — царство подставных,
Настоящие-то редки,
Да и спроса нет на них.

«Ничего не разберешь» и потому, что смута есть время бесконечных перевоплощений, перевертываний, а точнее — мимикрий и мистификаций. Это и ренегаты-партократы, оборачивающиеся ожесточенными демократами. И монументальные бюрократы, вдруг разворачивающиеся суетливыми расхристанными охлократами. И демократы-ренегаты, быстро-быстро превращающиеся в непреклонных бюрократов. Неподдельные же герои времени и триумфаторы — плутократы. Они покрывают все, и сводят к себе, и давят собой или превращают в себя все и всех: и партократов, и бюрократов, и демократов. Особо отметил поэт «ренегатов из семьи профессоров»:

Под опалой в оны годы
Находился демократ.
Друг народа и Свободы,
А теперь он — плутократ!
Спекуляторские штуки
Ловко двигает вперед
При содействии науки
Этот старый патриот.

Или еще:

Он машинным красноречьем
Плутократию дивит;
Никаким противоречьем
Не смущаясь, говорит
В интересах господина.
Заплати да тему дай,

Говорильная машина
Загудит: поднимет лай,
Будет плакать и смеяться,
Цифры, факты извращать,
На Бутовского ссылаться,
Марксом тону задавать.

Соответственно промываются мозги и вымываются сердца. Что же, ведь, по словам нашего поэта, «не у нас — во всей Европе Прессой правит капитал». Недавно вот доморощенные капиталисты пригрозили лишить строптивые газеты рекламы. То есть: или — язык за зубами, или — зубы на полку. И уже только потом «правит» сама пресса. Тотальная, и часто лживая и бесстыдная, пропаганда «коммунизма» сменилась столь же тотальной и, может быть, еще более бесстыдной и лживой пропагандой капитализма. «Более» — потому что совершают это действо часто одни и те же «агитаторы, горланы-главари». Идеалы же и д о и п о с л е формирует какой-нибудь телевизионный зазывала, как-то удивительно соединивший в себе ухватки трактирного полового с манерами дамского парикмахера. Вообще для всякой теле-, радио- и газетной агитации и пропаганды дело у нас неизменно — и сейчас тоже — облегчается тем более, что мы во многом остаемся при одном и том же принципе: цель оправдывает средства. И — все во имя... Было: в с е (!) во имя коммунизма. То есть во имя его было дозволено все: произвол, беззакония, репрессии, подавление, коллективизация, голод... Наконец, как многие его называют, п у т ч (видимо, неудавшийся) с отстранением, каков бы он ни был, президента и устранением, каков он ни есть, парламента.

Стало: в с е (!) во имя капитализма. То есть во имя его стало позволено все: произвол, беззаконие, обман, грабеж, деколлективизация, голод (?)... Наконец, как опять многие его называют, путч (кажется, удавшийся), и опять с отстранением, каков бы он ни был, президента и разгоном, каков он ни есть, парламента.

Мы оправданье найдем!
Нынче твердит и бородка:
«Американский прием»,
«Великорусская сметка!»

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготеет сердечно...
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?.. Конечно!

Что ни попало тащат,
«Наш идеал, — говорят, —
Заатлантический брат:
Бог его — тоже ведь доллар!..»

Правда! но разница в том:
Бог его — доллар, добытый трудом,
А не украденный доллар!

Станут ли неумелые созидатели социализма умелыми строителями капитализма? Впечатление такое, что из жизни вместе с символами труда — серпом и молотом — вылетел и сам труд. А может ли вызвать у нашего зрителя что-нибудь, кроме тупого равнодушия или пока еще оцепенелого бешенства, неизвестно к кому обращенная реклама, по которой жизнь наша человеческая состоит из двух половин: деланье денег и пребывание в удовольствиях. В очередной раз телега поставлена впереди лошади. И — поехали. Раз нет производства, то все силы брошены на растащиловку еще оставшегося, на бесконечное его распределение, перераспределение и многократно усилившееся овладение «привилегиями». Потому же деньги, и только деньги, сами по себе, безотносительно к труду и производству, стали страстным ожиданьем и окончательным вожделением, кумиром, целью — всем.

Горе! Горе! Хищник смелый
Ворвался в толпу!
Где же Руси неумелой
Выдержать борьбу?

. . . .

Плутократ, как караульный,
Станет на часах,
И пойдет грабеж огульный
И — случится крах!

И — пошел. И — случился. А ответственные политики безответственной политики, подбросив страну и убедившись в с в о б о д н о м ее падении, как-то подразбежались в разные стороны. Сейчас ясен уже и смысл призывов к личной инициативе: высокопарный лозунг «каждый кузнец своего счастья» скрывает всего лишь у кого пугливый, а у кого злорадный визг: «спасайся, кто может». И, в общем, чудовищный приговор — «кто не может — не спасется» — уже, судя по всему, вынесен. Ведь регулярно разыгрываемые благотворительные комедии (наверное, в них вовлекаются и искренние настроения и намерения) не только не спасают. Они, если воспользоваться одной из привычных формул, убивают человека в самой его жизненной основе. Недаром так нередки отказы от этой помощи.

Конечно, я позволил себе лишь самым поверхностным образом указать на внешние аналоги, прямые совпадения и т. п. У Некрасова же даже и «Современники» — это глубокая трагическая поэма о судьбе ограбленного народа и его страдании. То есть о том, чем нам сейчас Некрасов и не интересен, и, так сказать, не люб. Как, пожалуй, чуждо нам сейчас и большинство народных писателей и поэтов. На авансцене ныне в основном демократическая литература. Особенно — публицистика. Я не стану, как это сейчас принято, сопровождать слово демократия кавычками или ироническим курсивом: наряду с корыстным, демагогическим, прямо шутовским она родила немало умного, честного и дельного. Сложнее с народностью. Позвольте, но разве демократия и народ не одно и то же? Разве демократизм чужд народности? Здесь Некрасов тоже наводит на размышления. Именно Некрасов.

В столицах шум. Гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.

Н е к р а с о в.

Под глубиной России мы, наверное, часто склонны понимать то, что называют «российской глубинкой». А ведь посмотреть на эту глубинку — да вроде уже только и рукой махнуть: выморочность и вымирание. Но глубина России — это и глубина ее характера. А вот что там? Общее место в истории нашей передовой мысли — представление об «отсталости» ее особенно близко стоящих к корню народной жизни писателей, будь то Крылов или Гоголь, Достоевский или Толстой. Да и Пушкину от передовой критики доставалось постоянно. Прямо рок какой-то: как великий, так отсталый. Все резво вперед бегут, а он все отстает, не поспевает. Кстати, традиция унаследована. И ныне немало наговорено об отсталости, реакционности, чуть ли даже не о фашизме (Господи, прости!) авторов «Матренина двора», «Привычного дела», «Последнего срока». Шукшин как-то успел вывернуться. Смерть спасла? От коммунизма все отставали, теперь за капитализмом никак не угонятся.

Но Некрасов-то уж, казалось бы, передовой, демократический, революционный. Любопытны, однако, отношения великого н а р о д н о г о поэта и даже выдающихся д е м о к р а т и ч е с к и х публицистов его журнала: Добролюбова, Чернышевского, не говоря уже о прочих.

Некрасов энергично «использовал» их опыт в своем журнале, восхищался (не всегда) многими их личными и общественными достоинствами, а позднее и преклонился перед ними, написал о них ряд стихотворений. Но на его, так сказать, народное творчество они нисколечко не повлияли. Да и в целом тоже. Что и понимали прекрасно: «Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я?» (Чернышевский). Это понятно, ибо (если воспользоваться известной формулой) — «страшно далеки они от народа». В отличие, например, от тех же декабристов, прошедших вместе с народом сквозь Отечественную войну, а не наблюдавших за ним из потемок петербургских подворий. Не потому ли, когда демократическая критика и литература преисполнялась, глядя на народ, «исторического оптимизма», Некрасов обращался к нему с мучительным вопросом: неужели же ты «духовно (!) навеки почил»? Но позднее, в пору, когда демократия объединилась в нападках на народ, завершившихся мучительным выкриком Чернышевского: «нация рабов», — Некрасов уверенно и спокойно заявил: «вынесет все». Ничего другого и не мог сказать поэт, в котором к тому времени народ сказался поэмой «Мороз—Красный нос» и «Коробейниками». Народ, который, конечно, ничуть не сказался в справедливо знаменитом романе «Что делать?».

Кстати, и сейчас — «что делать?», когда, как нас уверяют, — «иного не дано». Между тем всякий более или менее широкий исторический разлив как раз предполагает — дано и н о е. Да и сам этот ставший знаменитым афоризм приобретает разные смыслы. Одно дело — освобождающий из старого общественного стойла лозунг «Иного не дано»: так понимая, объединились тогда почти все хотя бы в молчаливой поддержке. Другое — «иного не дано» — пришибеевский окрик, загоняющий в новый (а по сути, ветхий, как мир) исторический загон. Так понимая, тоже объединились сейчас почти все (кроме, естественно, телевизионно-газетных челядинцев) в пока еще угрюмом молчании.

Так что же народ? Не все ли еще в вековой тишине? Не потому ли столь часто от его имени могут говорить столь многие, столь уверенно и столь разное, даже противоположное. И не потому ли наше общее положение столь гадательно. В общем, по Гоголю: «Русь, дай ответ! — Не дает ответа». Конечно, выборы, выборы.. Но Грузия показала вдруг ошеломляющий пример того, как мало такие выборы могут стоить. Да и сколь часто сами эти выборы дезавуируются, отменяются и передвигаются на карте политических игрищ. Остается гадать: будем ли мы выброшены в обреченную на гниль и вымирание историческую канаву, или мы окажемся вовлеченными в безумную историческую гонку остального цивилизованного мира с его бессмысленной расточительностью (у нас — тоже, но иная и еще более бессмысленная), с его чудовищными контрастами (у нас тоже, но — другие) и уничтожаемой культурой: мы как-то все еще до конца не осознали, что цивилизация и культура ныне могут быть вещами несовместными. И, кстати, не потому ли освобождаем себя уже даже от остатков общественной и государственной заботы о культуре и ответственности за нее. Нас все уверяют: «Иного не дано». И уверяют люди, которые еще толкуют о свободе. Но ведь свобода-то это прежде всего — свобода в ы б о р а.

А ведь перед страной сейчас в силу многих исторических причин открывается, может быть, уникальная возможность выбора сбалансированной жизни: в о з д е р ж и в а я с ь, н о н е г о л о д а я, д е л я с ь, н о н е р а з о р я я с ь, н е у г р о ж а я, н о з а щ и щ а я с ь. Мы же, видимо, полагаем, что перестраиваться (простите: слово сейчас звучит уже как неприличность), разрешать противоречия нашей жизни можно только впадая в другие, и более тяжкие.

Обнажилось и еще одно: агрессия вовне направленного национализма довольно быстро оканчивается внутринациональной распрей. И вот: в благородной, рыцарственной Грузии грузин убивает грузина. Думаю, что до тех пор, пока Россия удерживается от первого, она может спастись и от второго и сохраниться как объединяющее начало. Тотальный централизм не более чудовищен, чем тотальная децентрализация. Всепоглощающее частное не менее страшно, чем всеуничтожающее общее. И здесь важен — баланс.

Спасемся ли мы в этот решающий трагический час, зависит не только от солидарности на почве экономических интересов (дело, конечно, важное), правовых установлений (ныне, впрочем, уже почти не существующих из-за изобилия и взаимоотменяемости), политических партнерств (самих по себе достаточно ничтожных, но и от них никуда не уйдешь).

Все решит другое: откроются ли источники нравственной жизни — подлинные, вековечные, окончательные. То есть явятся ли они не как догмат, принцип и правило, а как последняя и сейчас единственная возможность человеческого выживания.

В одном — редчайшем по откровенности — письме обычно скрытный Некрасов написал Льву Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к существованию других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же. Жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — странного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука (...). Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу— и Вы придете в отчаяние».

Здесь очень личный исток знаменитой народности Некрвсова. Кажется, Достоевский единственный ощутил этот истинный исток скорбного народного начала его поэзии, когда сказал, что скорбь Некрасова о народе была лишь исходом его скорби по себе самом. Но и больше. Кажется, мы, так намаявшиеся под гнетом давившего личное общего, кинулись сейчас в такое утверждение индивидуального и частного, которое оказалось новым неподъемным гнетом.

Народ и жизнь его несет в себе массу, как теперь говорят, моделей, свойств и возможностей. Некрасов нешел ту, которая утверждает человека в другом, личное в коллективном, разрешает частное в общем. И (пусть, так сказать, в идеале) доказал это, ибо истинное искусство и есть, может быть, самое абсолютное доказательство самых разнообразных истин. Вот почему для Некрасова слова: «цель и смысл жизни — любовь» — не фраза.

Еще, — и в последний раз, — Владимир Соловьев: «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение». И так, как сказал поэт: «круговая порука». Вот почему для Некрасова слова «цель и изведениях является в своем роде единственным у нас поэтом действенной любви, если угодно, в данном случае именно христианской.

Конечно, сейчас такой Некрасов нам чужд и любим нами — потерявшими «круговую поруку» — быть не может. Менее всего я хотел бы быть понят в том смысле, что вот-де обратимся мы к Некрасову и — просветимся, и — спасемся.

Но, кажется, отношение к поэзии Некрасова может быть одним из знаков того, обретем ли мы себя друг в друге, найдем ли мы человеческую «круговую поруку», или мы будем рассматривать себя «как единицу». И — придем в отчаяние. И — сойдем с ума. И — окончим самоубийством.